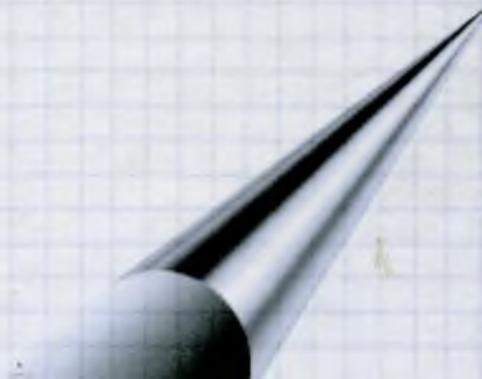


РА 1532234

Александр
СИДОРЕНКО

*Невольник
чести*



*Александр
Сидоренко*

**НЕВОЛЬНИК
ЧЕСТИ**

Рассказы

Череповец
2005

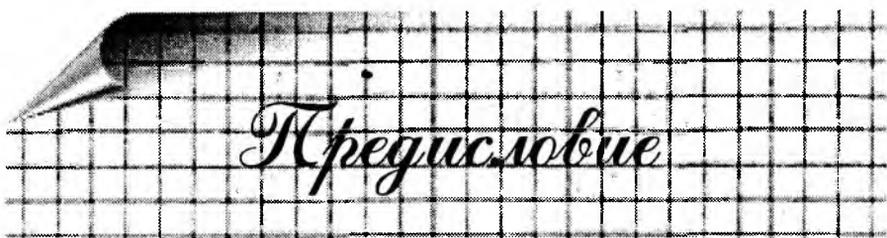
**Автор выражает огромную благодарность
Президенту Норвежской компании «Телемарк Трейд»
ЯБКО СЕМЕНУ БОРИСОВИЧУ
за спонсорскую поддержку
в издании этой книги.**



СИДОРЕНКО

Александр Михайлович

Родился 25 сентября 1957 года в городе Ейске Краснодарского края. С 1963 года живет в г. Череповце. Учитель-филолог, журналист, член Союза писателей России, автор поэтического сборника «Чужой» и прозаического — «Наши дети».



Есть книги простые и ясные. Читать их легко, и после прочтения остается чувство глубокого удовлетворения оттого, что все так хорошо и правильно на свете.

Эта книга не из таких — в ней все тревожно и смутно. И это не случайно: она — о детстве, отрочестве и юности — о поре жизни, когда в душе царит беспорядок, когда все только еще строится, созревает — и строится в нашу эпоху, которую не назовешь гармоничной.

О детстве и юности писать честно, без замалчивания — трудно. Меня могут упрекнуть в том, что я специально сгущаю краски, занимаюсь подглядыванием и вообще нескромен, повествуя о целомудренной поре нашей жизни — ее начале. Увы, я более двадцати лет проработал в школе и не понаслышке знаю, сколько бунтарства, агрессии и отнюдь не целомудренности скопилось в душах наших детей. Об этом принято молчать, поэтому я долго решался на публикацию этого сборника, предвидя возможные упреки и обвинения. Но решился...

В основу большинства рассказов положены реальные факты, а герои имеют свои прототипы, так что все честно.

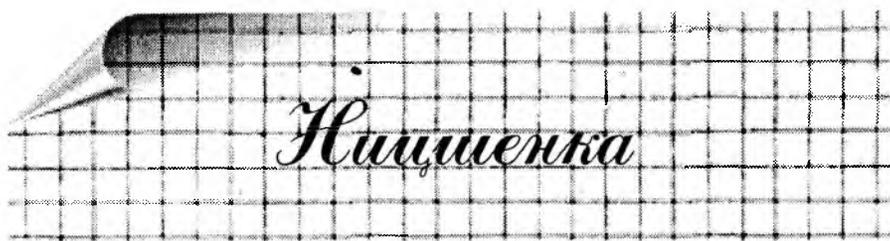
Многие герои и ситуации, представленные в сборнике, экстремальны, но, на мой взгляд, это естественно, ибо и экстремизм, максимализм и парадоксальность столь же присущи началу жизни, сколь дряблость и пассивность — ее закату.

Может быть, и стоило сделать на обложке предупреждающую надпись: «Детям до шестнадцати!..», но (не будем лукавить) слишком рано взрослеют наши дети. Мне бы хотелось, чтобы основными моими читателями были те, кому 15 — 19 лет, а также их родители.

Основные темы сборника — борьба личности подростка с самим собой и обществом; разлад между мечтой о совершенстве и несовершенной реальностью — одним словом, ломка и становление природы.

Автор





Предисловие

Эта повесть о том, что вызревает в душах наших детей. Встают ростки свободы, которую новое поколение восприняло как безусловное утверждение СЕБЯ, как право на насилие. Мы у истоков молодежного фашизма, корни которого оказались такими живучими. Эта повесть — тем, кто еще не до конца понял, насколько запущена болезнь, и тем, кто уже заразился ею — повесть-предупреждение.

Не убий (заповедь)

Мы должны освободиться от морали, чтобы суметь морально жить.

Ф. Ницше

1.

— Нищенкова!

Вика чуть дрогнула, и карандаш в её руке сделал неверное движение, отчего на вздернутой фуражке остроглазого, скуластого офицера появился «вжик», похожий на цветочек, и мужественное лицо стало похоже на физиономию похотливого деревенского ухаждёра.

— Вика! Что ты там всё рисуешь? А ну-ка расскажи нам о характере Андрея Болконского, а мы послушаем. Давай-давай!

Анна Викторовна села за учительский стол, подперла кулачком щечку, всем своим видом показывая, что не двинет урок с места, пока не услышит ответ.

Вика еще несколько секунд сидела молча, а потом, резко отбросив на левый висок черную челку, прямо посмотрела в глаза учительнице и спросила:

- А можно я его нарисую?
- Кого?
- Болконского.

Анна Викторовна заморгала, кулачок превратился в «пальчики», которые спасительно заискали на столе красную ручку.

— Ну... нарисуй.

Вика встала из-за парты, бросила по юбке вдоль бедер руки, расправляя и будто что-то стряхивая с нее, и подошла к доске.

Класс замер, даже Павлов Юрка вытащил из ушей магнитофонные наушнички и Иволгина оторвалась от журнала «Мен». А яблоко Синичкиной так и осталось на полпути ко рту. Такого еще не было!

Через минуту на доске появился Андрей Болконский. Причем в фас и профиль, как в уголовной хронике. В фас он был остроносый, остроглазый, с впалыми от раздумий щеками и квадратным подбородком. На голове у него была лихая офицерская фуражка с гитлеровским орлом. А в профиль он задира малenький носик, круглил глаза, и щеки у него были ничего себе, а ротик будто лез целоваться. С лысеющего черепа Андрея до плеч свисали лирические букли в виде небрежных спиралей.

— М-да... — протянула Иволгина. — Теперь я понимаю Наташу: или прирежет, или залюбит. Я бы от такого еще раньше сбежала.

— А ведь что-то есть! — прищелкнул пальцами Федька Самин. — Не пойму — что, но точность поразительная, я его таким во сне видел. Тебе бы, Вичка, в режиссеры или гримеры.

Анна Викторовна пришла в себя и педагогически правильно решила не взрывать благородным негодованием, а принять участие в этой игре:

— Допустим. Вот тебе, Вика, указка — расскажи нам по этим... портретам о натуре князя Андрея — очень интересно.

Класс в предвкушении забросил все подпартные игры и, кажется, весь подался вперед: что буде-ет!

А Вика спокойно взяла указку и, не глядя ни на ребят, ни на Анну Викторовну, уколола Андрея в фас:

— Он фашист — они не боятся умирать за идею, как не боялся он под Аустерлицем и Бородино. Он смотрит не на людей, а сквозь людей, они для него — строительный материал идей, поступков и желаний.

— Позволь! — перебила Анна Викторовна. — А подбородок? Князь миловиден.

— Это — снаружи. Внутри он бульдог: вцепится — не разжать, раз решил — сделает, и ничто ему не помеха. Отменил же он бар-



щину, хотя вокруг все возмущались. Сказал — совершу подвиг, и совершил. Захотел Наташу — пожалуйста. Это (она щелкнула по орлу на фуражке) — его сущность, ее только глаза в глаза разглядеть можно.

— А здесь (указка уперлась в курносый профиль Андрея) он себе врет — это когда ему, вроде, и Россию, и солдат, и Наташу, и себя жалко. Никого ему не жалко: он что — о родине перед смертью думает, когда Наташа его холодные пальцы пожимает? Ничего подобного. А думает он о том, что пожить бы еще — уже без выкрутас: вот с красавицей этой переспать и тому подобное. Я изобразила его таким в профиль потому, что профиль всегда врет. У меня всё. Разрешите садиться?

В классе повисло молчание. Оно именно висело и не знало, как ему взорваться. Юрка Павлов прищурил свои умные глаза и, глядя на доску, незаметно для себя легонько кивал, будто соглашался и сам удивлялся этому. Маленькая Танечка Буланова смотрела на портреты так, будто ее обманули и ничему она больше верить не будет. Иволгина опустила глаза в свой журнал, повела глазами со страницы на страницу и громко усмехнулась:

— Точно, Нищенкова, — вот тут (Иволгина ткнула пальцем в красивый мужской профиль) — он тебя любит. А вот тут (ткнула в фас) — он тебя просто трахнуть хочет.

Хлоп! — Анна Викторовна изо всех сил ударила ладонью на столу, мотнула кистью от боли, вдохнула, как будто хотела бросить в класс большое-пребольшое слово, но, не найдя его, схватила журнал и вышла из класса.

А Вика спокойно положила указку на место, взяла тряпку, неспешно убрала за собой доску и села за парту, не слушая восторженных «о-о!» — «здорово!» — «ну и молодчина» и прочего славословия.

2.

Урок литературы был последним, до звонка оставалось еще минут пятнадцать, но класс, почуяв каким-то звериным чутьем, которое вырабатывается годами, что дальше ничего уже не будет и Анна Викторовна не вернется, собрал манатки и ускользнул до прихода классной руководительницы Татьяны Петровны. Ругать будут завтра, а сейчас — свобода и к черту все рисования стенгазет, записи объявлений в дневниках и выслушивание итогов недельной успеваемости с планами на потом.

Первым смылся Иванов, крикнув уже у дверей: «Вика, спасибо!» За ним — Иволгина, помахав по-кошачьи: «Вичка, браво и — чао!» Последним, небрежно набросив на плечо свой рюкзачок, неспешно вышел Павлов. Уже в дверях он задержался, снял круглые, черные, как смоль, очки, с легкой усмешкой вскинул правую руку и сказал: «Хайль, Вика!»

Через пять минут прозвенел звонок и в класс впорхнула Татьяна Петровна, озаренная педагогическим беспокойством и с пачкой проектных бумаг в обеих руках.

— Ой! А где все? — опешила она.

— Ушли, — сказала Вика, собирая сумочку.

— А ты?..

— И я уйду.

— Ой, Вичочка, подожди — у меня к тебе дело есть (Татьяна Петровна задвигалась, зашевелила бумагами): надо вот...

— Я не хочу, — Вика дособирила вещи и направилась в выходу.

— Но, Вика, ведь... надо.

— Нет. Мне не надо. — И она вышла, затворив за собой дверь.

У поворота от школы, прислонясь к дереву и потягивая «Камел», стоял Павлов. Когда Вика проходила мимо, он красиво стрельнул окурок и окликнул: — Вика.

Она остановилась: — Что тебе?

— Можно тебя проводить. Без намерений — просто поговорить хочется.

— Без намерений — пошли.

Мимо них с веселым матком пронеслась ватага шестиклассников. Они гнали толстого, как колобок, мальчугана с таким же толстым ранцем за спиной. Разукрашенный грозными покемонами ранец прыгал по его плечам, и было видно, что пацану не удрать. «Хома, хома толстопузый!» — радостно кричали преследователи и покидывали в него мелкими камешками и кусочками затвердевшей грязи. Но догнать его не спешили — наоборот, давали ему задыхаться от бега и страха, сохраняя дистанцию броска.

— Я их сейчас! — Юрка хотел рвануться на помощь толстячку, но Вика крепко взяла его за запястье:

— Не надо.

— Почему?

— Во-первых, ты их сейчас разгонишь и лишишь удовольствия, а они, когда тебя уже не будет рядом, это удовольствие на этом же толстяке в три раза больше поймут — дай им дорадоваться, а ему



отстрадаться. Во-вторых, он мог защищаться, а выбрал бегство. Это его выбор — не мешай.

— А в-третьих?

— А в-третьих, мне жаль эту свору: он потом каждому в отдельности какую-нибудь гадость сделает.

— Он же трус.

— Вот поэтому и сделает. Труссы обычно очень умные и мстительные. А мстительные потому, что себя презирают и презрение это хотят как-нибудь изжить. Как-то и за что-то себя уважать хочется — вот он и отгеройствует исподтишка.

— Какая ты, однако, умная. И откуда ты все это знаешь?

— Такая же, — Вика кивнула вслед толстячку, — была. Только в другой школе. Тоже гоняли. Сначала бегала и злилась на себя дома. И мстила втихомолку.

— А потом?

— А потом взяла палку и сломала двоим руки, а одному нос. Остальные сами разбежались. Потявкали вокруг и разбежались.

— А еще потом?

— А еще потом я поняла, что не надо никого бояться, надо защищать себя, а также свое пространство и тех, кто тебе дорог — быть свободной.

— Поэтому ты так сегодня — у доски?

Вика кивнула:

— Ага. Ты знаешь, кто самые бесстрашные?

— Ну, наверное, те, у кого адреналина больше?

— Нет — те, у кого всего мало, особенно лишнего.

— Не согласен. Если у тебя всего много: вещей, денег, любви — ты это будешь защищать. А что защищать бедняку?

— Когда много вещей, денег и, как ты говоришь, любви, — то боишься, что и вещи, и деньги, и любовь не успеют тебе послужить — надо спасать себя для их служения тебе. А если всего ровно столько, чтобы на потом не было, — то легко и свободно.

— А жизнь? Ее много никогда не бывает.

— По-моему, самая большая свобода — избавиться от страха смерти. Пожалуйста, скажешь себе, хоть сейчас.

Юрка покачал головой и решил сменить тему:

— Ты сегодня специально над Анной поиздевалась или потому что свободна? Вышло вполне убийственно: теперь даже Верка Копейкина ни во что литературное верить не будет.

— Ничуть — просто показалось так правильно, что мне так будет проще.

— И не испугалась?

— Чего?

— Смотри, Вика, наша Анна — баба из прошлого: она теперь тебе такой ГУЛАГ сделает — из «троек» не вылезешь. А на сочинении от тебя ни на шаг не отойдет — не прошпоришься.

Вика остановилась, прямо, не мигая посмотрела Юрке в глаза и сказала:

— Ни одной «тройки» ни в тетради, ни в полугодии, ни в аттестате у меня не будет. Ни по литре, ни по чему другому. «Тройки» — это вот они (Вика проводила взглядом мирных усталых прохожих, неспешно идущих по тротуару). «Тройка» — это «удовлетворительно», а я не б..дь, чтобы удовлетворять кого бы то ни было. Всё — пока.

Она ровной походкой пошла дальше, а Юрка оторопело остался стоять и смотрел ей вслед. Он видел, как четко, будто идя по невидимой линии, ставит она ногу; как не по-девичьи — кокетливо, вразвалочку — а ритмично-упруго подергиваются в такт шагу ее ягодицы. Черная сумка на правом боку слегка прижата рукой — не шелохнется, как маузер в кобуре. Простая прическа, открывающая тонкую, но крепкую шею; короткая черная куртка, в которых ходит полгорода, — но почему, почему хочется просто идти за ней, просто идти по этим шагам?

— Я влюбился? — подумал Юрка и сразу же ответил себе: — Нет! — Он пытался представить себе Вику обнаженной рядом с ним, но не получилось — становилось жестко и неудобно.

Что же это такое?

3.

Вика зашла в свой заплеванный, размалеванный до потолка подъезд, вызвала лифт. Он вздохнул где-то высоко-высоко и медленно, поскрипывая старческими таями, пополз к ней.

Вика любила ездить в лифтах — они отгораживали ее от большого мира на какой-то необходимый для переключения от сценки к сценке миг. Эти 30 секунд медленного движения в маленьком замкнутом пространстве один на один с собой были как полет в невесомости, когда все вокруг меняло свою значимость: предметы становились малосущественными, а оставались только ты и движение. И ничего лишнего — ты и движение. Так легко!



Когда у кабинки собирались попутчики, Вика оставалась ждать, чтобы он вернулся только для нее. Свой лифт она любила особенно: сейчас он вздохнет, замрет на миг, отползет в сторону дверца и — вперед, домой, где никто не мешает.

Дверца открылась, и Вика увидела напротив, на полировке стены, надпись, сделанную черной краской из баллончика — «Нищая сука».

Дернулось веко — раз, два, и Вика вдруг почувствовала, какие у нее сильные пальцы. Они не сжались в кулак, нет — просто по каждому суставчику прокатилась злая, упругая сила. Эта сила пробежала по всему телу приятной волной и вылилась из глаз. Вика спокойно нажала кнопку «12» и растворилась на минуту в движении медленного подъема. Но в ней тек вопрос: «Кто?» Кличка «нищая» давно прилипла и к ней, и к маме, только маленькую Любку так и звали во дворе и садике — Любка — не шло к ее пухленьким щечкам, розовым пальчикам и добрым, с искоркой глазам это прозвище. Веселый бантик в русых кудряшках — какая же она «нищая»? Только раз она прибежала домой зареванная, бросилась к маме, вытянулась перед ней и, вся в слезах, обожгла ее своими глазами: «Мама, мамочка! Я не хочу быть нищей! Не хочу!

— Что ты, доченька, какая же ты нищая? Вот, смотри: у тебя и кровать, и куклы. А вот — наши телевизор, магнитофон, вот — твои игрушки. Смотри! — Мама засуетилась, стала распахивать перед Любкой дверцы шкафов, холодильник, зачем-то взяла в охапку три ее куклы. — Вот! Какая же ты?.. Ты богатая!

— А зачем у нас такая фамилия? Давай ее сменим. Мне Витька с первого этажа сейчас сказал, что я нищая-нищенка и плюнул мне под ноги. — И Любка снова заревела, схватила одноглазого мишку и скаталась с ним в калачик на кресле.

Тогда Вика была дома и все слышала в своей комнате. Она встала из-за стола, где делала уроки, ничего не говоря, вышла во двор и через минут десять вернулась.

— Люба, иди ко мне, — позвала она сестренку в свою комнату.
— Иди, не бойся.

Та, уставшая от слез, прыгнула с кресла и подошла.

— Вот, это тебе, — Вика раскрыла ладонь, на которой лежали семь пуговиц. — Это тебе от Витьки. Он тебя больше обижать не будет.

— Ты это... от него оторвала? — Любка восторженными глазами смотрела на сестру.

— От него. Свяжи эти пуговицы ниткой и положи в свою шка-тулку. Остальные учишь добывать сама.

— Сама... — чуть слышно прошептала Любка, кажется, пони-мая смысл этих слов. — Сама я не умею. Но... попробую.

Тогда же вечером мама робко постучалась в Викину комнату:

— Доченька, можно?

Войдя, она с ужасом, как будто впервые, глянула по поясной портрет Гитлера, занимавший полстены, и, прижав руку «кулач-ком» к груди, сказала:

— Мне сейчас Любочка пуговицы показала... И сказала, что те-перь будет сама... Не учи ее этому, Вика, не надо. Люди злые и сильные, а она добрая и слабая — пусть этим в жизни и берет. Надо как-нибудь по-другому меж людьми жить, а так... съедят.

Не поднимая глаз от книги, Вика ответила:

— Я не хочу, чтобы моя сестра была рабыней. Как ты, мама. Прости.

Это было год назад, и теперь в Любочкиной шкатулке лежали не одни только Витькины пуговицы.

...«Кто? Наказать!» — два эти слова мешали Вике радоваться покою этого медленного движения.

На нее косились давно. Ребята и девчонки со двора, сидя вече-рами в подъездах на грязных батареях и подоконниках, чередуя «фанту» с пивком, нет-нет да и вспоминали ее. И тогда в разуха-бистую, сбрызнутую расслабуху вползала нервозность и непонятное ожесточение. Обычная злость на всех и вся: на «предков», не даю-щих денег, на необходимость зачем-то учить формулы, на то, что у Петровых «вольво» и «опель», а у тебя — задрипанный велосипед, на то, что внутри живет и разрастается скука и тяготень, — при ее име-ни эта скучная, обыденная злость становилась ожесточением: сво-лочь, такая же, а хотя бы раз прижалась рядышком к батарее, поси-дела на ступеньках с баночкой пива, поблудила бы за мусорным стояком. Почему — нет?! Выделяется? Так, вроде, не похоже. И тем больше копилась в них эта злость.

Когда Вике было 15, парни «тормознули» лифт, высчитав, когда она возвращается из школы, зажали ее на 10 этаже и потащили к мусорке — «крестить». А девчонки помогали, ассистировали — дер-жали ей руки и голову и подбадривали: «Не бось, не бось — тебе понравится». Ей уже сдернули трусики, раздвинули ноги, и кто-то сел ей на живот, покачиваясь, целясь. Но хватка одной из девиц ослабла, и тогда в руке Вике блеснула половинки зажатой в ладони



бритвы. В пять-шесть взмахов она расчиркала того, кто был сверху и тех, кто рядом, освободилась, ударила локтем в окно, схватила, не обращая внимания на боль, длинный, похожий на нож осколок и с двух рук, метаясь в лица, проложила себе дорогу к лестнице.

Парни зажали девчонкам рты. С порезанными куртками, забрызганные кровью, они понимали, что кричать нельзя, что это может обернуться большой «статьей». Они сгрудились на площадке десятого этажа и смотрели на Вику. А она, так и не выпустившая осколка и бритвы, стояла над ними через пролет, стояла бледная, замазанная кровью — своей и их — и не спешила бежать. Чуть дрожащим, задыхающимся, но холодным голосом она сказала: «Вы все — покойники. Я обещаю», — и пошла вверх, домой.

Через два дня у подъезда ее встретил Славка — один из этих.

— Погоди, — сказал он. — Дело есть.

Вика остановилась, держа руку в кармане куртки. Славка как замороженный смотрел на эту руку, и в глазах у него жил страх.

— Что тебе? — спросила Вика.

— Ты — бешеная. Мы договорились: никто во дворе тебя больше пальцем не тронет. Только давай так: ни мы тебя, ни ты нас. И Любку твою — никто и никогда. Лады?..

Вика прямо смотрела ему в глаза, будто держала на мушке. Славка сначала пытался было держать этот взгляд, но глаза его сами собой стали юлить. Он повторил, уже тише:

— Лады?

— Лады. Но чуть что — ты будешь первым.

Он хотел было дернуться, сказать что-то гордое, но Викины глаза не выпускали его из прицела.

— Черт с тобой, — он плюнул и ушел.

...«Нет, это не наши, это кто-то другой», — подумала Вика. Вот уже более двух лет этот договор имел абсолютную силу, и ни разу ни одна из сторон даже не пыталась его нарушить, помня тот кровавый вечер.

4.

Лифт доскрипел до 12-го этажа и вымученно вздохнул. Вика открыла квартиру, не спеша сняла куртку, туфли, поставила их рядышком по стойке «смирно» (даже Душка — вечно беременная мамина кошка боялась сдвинуть их с места хоть на сантиметр, так как знала, что после этого бывает мучительно больно).

Даже не глянув в зеркало, Вика прошла к себе. Да, именно «к себе» — здесь, в этом пространстве четыре на два был ее мир, ее тайна. Ни Любка, ни мама не смели даже думать о том, чтобы без Вики зайти сюда. Если Любке было скучно и хотелось поиграть не только с куклами, она скреблась в Викину дверь и канючила: «Вичка, а Вичка, давай поиграем в шашки, а? Выходи...» Однажды Любка, не спросясь, в поисках приключений и тайны, с бешено бьющимся сердечком прокралась в эту комнату (Вика никогда не запирала ее) и через пять секунд вылетела оттуда пулей. А потом, вечером, шепотом рассказывала маме на кухне: «Я вошла, а на меня со стенки большой дядька со страшными глазами как глянет! И как рукой мне махнет — пошла вон! Я и вылетела. Ох, страсти! И как она там живет?..»

Мама сюда тоже не входила вот уже года три, с тех пор как Вика поставила ультиматум: или без моего разрешения к ней никто не входит, или она будет жить в другом месте. Тогда мама только посмотрела на нее, согласно кивнула и ушла в свою комнатку — лежать на диванчике и тихо страдать. Не плакать — слезы были выплаканы давно, еще при муже — нет, просто лежать и страдать, чувствуя, как чугунной гирькой сжимается сердце.

...Вика вошла в комнату, посмотрела на фюрера и вскинула в ответ ему руку: «Хайль!» И тут же в ее голове мелькнуло: как Юрка догадался тогда, в классе. Странно — будто подсмотрел.

Она сняла с себя школьное и аккуратно повесила его в маленький самодельный шкафчик, где висели два темные платья, черные джинсы и черная эсэсовская униформа, почти уже дошитая — черный приталенный пиджак с погонами обер-лейтенанта, черная юбка, крахмально-белая рубашка и черная острая пилотка с белой окантовкой. Вика провела по костюму рукой и немного постояла так — от него исходила какая-то сильная, упругая энергия.

Закрыв шкаф, оставшись в одних трусиках, она легла на старейший ковер и, заложив руки за шею, начала качать пресс: «Десять — пятнадцать... тридцать». Отдых. И снова: десять — пятнадцать — тридцать. Отдых. Потом отжимания: десять — пятнадцать — тридцать — отдых. И — снова.

Она разработала свою систему физической подготовки два года назад, и теперь каждый день, утром и днем, — укрепление мышц; вечером — метание ножа в заброшенном уголке парка, а дома —



стрельба из пневматического пистолета в форточку, в створе которой на леске качалась фигурка из пластилина или маленькая фотография. Полгода она копила на этот пистолет, а с самой-то покупкой сколько проблем было! Она добыла парик у тети Оли — маминой подруги, научилась старить макияжем и тенями лицо, до хрипоты тренировала голос, пока из зеркала на нее не посмотрела не пятнадцатилетняя девчущка, а «опытная» дама лет двадцати пяти. И — ей продали, безо всяких, записав данные выдуманного паспорта, который она — ох! — забыла «у него».

Что пневматика — игрушка. Но из этой «игрушки» Вика научилась с пяти метров, с разворота простреливать голову пластилиновому человечку. А нож уже не падал бессильно на землю, а намертво вонзался в дерево.

Зачем ей это было надо — она не знала, но знала точно — надо. Это было ЕЁ, оно ласкало душу, успокаивало. Когда, вся в поту, с бьющимся сердцем, Вика выскрипывала зубами, отжимаясь от пола: «Шестьдесят...» и падала на ковер — это был миг блаженства. Когда лезвие — шух! — впивалось в ту самую ветку — блаженство. Когда все пять пульек — одна за другой — отбивали всё лишнее человечку — блаженство. Но не только это.

Странное чувство впервые она ощутила в свои четырнадцать, когда смотрела фильм «Александр Невский». Её поразил черно-белый правильный клин крестоносцев, отточенное совершенство строя, четкие ряды копий. Она плакала, когда все это тонуло подо льдом Чудского озера, плакала от непонятной жалости к утраченной красоте. Потом — военные фильмы и военная хроника времен Второй мировой. Ей нравились тупорылые «тигры» и черные цепи немецких солдат, пикирующие «мессершмиты», трассы очередей и взрывы. И в самой гортанной немецкой речи было что-то, отчего глаза ее становились ясными и холодными. Все это жило в ней, снилось ночами. В этой жестокой волне была упругая, вольная сила, не считавшаяся ни с какими скучными правилами. Веселая, злая сила, разрешившая себе все.

И вот когда Вика увидела четкие, черно-белые колонны, однообразно и мощно марширующие на экране телевизора, и ЕГО со вскинутой рукой — она впервые подошла к зеркалу и представила себя в таком же черном костюме: начищенных до блеска сапогах, острой пилотке, перчатках — во всем черном — и что-то решилось в ней.

5.

Душ окончательно сбил школьную усталость и довершил тренировку — теперь тело горело, покалывало, по нему быстрыми змейками струилась сила. Насухо вытершись жестким полотенцем, Вика подошла к зеркалу, по-хозяйски тщательно осмотрела свое тело. Ничего лишнего: ни жиринки, ни слабинки — порядок.

Это слово с недавних пор стало командным в ее жизни. Порядок — это когда все готово к бою: начищенные с вечера туфли, сделанные уроки, приготовленный завтрак, ясность в голове. Случайное — враг разумного, эта мысль пришла к ней недавно. Светка Васильева из 35 билетов по химии выучила 34, попался тридцать пятый. Мама «случайно» захлопнула дверь и просидела до ее прихода на лавочке, а в это время вода из ванной заливала соседей снизу. Машка Вичелова тихонько плакалась Соне: «Понимаешь, он случайно лопнул, а теперь тест говорит «да». По радио сообщали: «По нелепой случайности...» Нет никакой случайности, тем более нелепой: есть разумное и неразумное. Разумное надо предвидеть и готовить, чтобы не было лишних проблем. Любой порядок разумен, ему надо подчиняться, как бы неразумен он ни казался, даже если он мешает. И — по мере возможности — вносить в него свои исправления. Порядок — сидеть до конца урока, беспорядок — задерживать на перемену. Порядок — иметь деньги на то, что хочется купить, в любой момент; беспорядок — не иметь их. Само слово «порядок» рисовалось в сознании Вики в виде комнаты с прямоугольными предметами: прямоугольным диваном с прямоугольно заправленной постелью, прямоугольным столом, на которых лежат прямоугольные книги. Закругленность, асимметрия раздражали ее — от них веяло ненадежностью, будто бы сейчас один край перевесит, и вся конструкция рухнет. Прямоугольная гармония почему-то была в сознании Вики черного цвета. Да, случайность — она овальная, причудливая, разноцветная, а порядок — он черного цвета.

После душа в 19-00 ужин: бутерброд с ветчиной (Вика любила мясное) и апельсиновый сок. И только теперь можно позволить себе отдых. Вика открыла балкон, накинула халатик и достала сигарету.

Город громоздился перед ней большими и маленькими прямоугольниками: то выросшими вверх, то лежащими на боку, и в этих больших прямоугольниках находились маленькие: окна, витрины, сочленения рам, кирпичи. Вдалеке, возле школы, — большой прямоугольный стадион, прямоугольные ворота. Вике нравилось стоять



здесь, высоко над возней людей и машин, и видеть перед собой эту однообразную величественную гармонию линий.

Только солнце, которое по медленной дуге уходило за дома, было круглым. Но это не мешало — даже оно сопрягалось в правильные углы на ЕГО повязке — в свастику — символ солнца.

Да — порядок и стройность, и ничего лишнего, никаких выступов и бугорков.

...В коридоре послышалась возня и причитанья: мама обреченно отчитывала кого-то. Вика аккуратно затушила сигарету в пепельнице и вышла узнать, что случилось.

— Вика! Опять Душка! Теперь пятеро, и все разные. Что мне с ними делать? — она с неуверенной просьбой в глазах посмотрела на дочь. — Не раздать — никто уже не берет, в тот раз Любка намучалась, и то Петровы грозятся до сих пор вернуть черного.

Вика поняла, и брезгливая усмешка дернула ее губы:

— Ты хочешь, чтобы я их убила?

Мать ступевалась, заперебирала руками, заискала глазами по комнате:

— Ну что ты — не убила, а как-нибудь... пристроила, избавилась.

— А почему сама не избавишься?

— Я... не могу. Ты сильная.

«Пять котят. Они лишние. Они мешают. Они непорядок. Любка еще не пришла из школы — надо успеть, потом не даст. Больше некому: мать — тряпка, а тряпки всегда трусы и лицемеры — всю дерьмовую работу сваливают на злых и сильных и их же за это ненавидят. Котята. Ну и что? На такое хочу пойти, а тут просто котят. Что ж, заодно и отрепетуруем», — эти мысли молнией пронеслись в голове Вики. Она бросила матери:

— Всех — в пакет.

— Ты их...топить будешь? — мама с жутью и жалостью посмотрела на Вику.

— Нет, топить — мучительно. Я сделаю так, что они ничего не почувствуют. Давай быстро — сейчас Люба придет.

— А что мы ей скажем: Душка толстая ходила, а теперь — ничего. Любка все ждала котеночком поиграться, — заволновалась мать.

— Оставь одного — пусть поиграет.

— Да-а, а потом вырастет — и куда его? Лучше уж забирай всех.

Вика брезгливо посмотрела на мать и спросила:

— А следующую партию кто будет?

— Там видно будет, там видно — чего уж загадывать, — и она поспешила готовить котят.

«Противно. И страшно. Но нужно. Потренируемся. А ну-ка, не юлить!» — приказала себе Вика, понимая, что стоит перед чертой, переступив которую, обратно не возвращаются. Она вошла к себе в комнату, открыла ящик, достала свой «вальтер», вставила новые баллончик и обойму. «Им не будет больно, это даже гуманнее, чем топить. Гуманнее... Слово-то какое длинное и пустое — как насиловать с презервативом. Тьфу!» Вика засунула пистолет за джинсы за спину и достала мягкие, быстрые кроссовки, которые еще ни разу не надевала.

«В них и пойду. В них как кошка».

...Пакет уже был готов. Душка, закрытая в маминой комнате, просяще мяукала ему вслед, царапая дверь. Мать держала пакет на вытянутой руке и смотрела куда-то наискосок.

— Давай его. — И Вика захлопнула за собой дверь.

...Через полчаса она вернулась, и мать впервые увидела, какие у нее острые скулы и тонкие губы. Раздеваясь, Вика только и сказала:

— Объяснишь Любке, что они родились мертвыми и были уродами.

— А почему уродами?

— Ей не так будет жалко.

...«Раз-два-три-четыре-пять... Раз-два-три-четыре-пять... Дерг-дерг-дерг-дерг-дерг...Ни одного промаха. Ни одного».

Вику била дрожь, мелкая, противная дрожь. Пистолет лежал перед ней, пяти шариков в нем не доставало. «Не дрожать! Не сметь! Ты сильная. Они были лишними, они мешали — они беспорядок. Успокойся. Все нормально». Но дрожь не прекращалась, она шла откуда-то из солнечного сплетения и рассыпалась по всему телу. Вика рванула с себя рубашку, упала на ковер и начала отжиматься: раз — два — десять — пятьдесят... Вот она обессилено упала грудью на ковер и замерла. «Всё — сейчас всё будет хорошо». Но хорошо не было. Тогда она резко вскочила с пола, схватила пистолет и одну за другой выпалила все шарики в форточку — только пластилиновый человечек дергался из стороны в сторону.

Полегчало — как-то сразу. Тело обмякло и потребовало покоя. Не выпуская пистолет, Вика легла на диван и взглянула ЕМУ в глаза.

«Хайль, Вика! Все правильно» — говорили эти глаза. Они были спокойны и ясны. И Вика ответила там, в себе: «Хайль!» И свалилась в сон.



...Проснулась она оттого, что кто-то царапался в дверь.

«Душка! — вздернулась Вика и разом вспотела. — Ищет. У меня. Или — меня. Почему — меня, ведь их забирала мать? Неужели поняла?»

— Вичка-а-а... — всхлипнулось за дверью, — Впусти-и-и.

«Фу... Это Любка» — облегченно обмякла Вика и ответила: — Сейчас.

Пистолет все еще был в ее руке, будто врос в нее. Вика взяла его за ствол, положила в ящик стола и вышла к Любке.

— Чего тебе, Любочка? (она никогда не добавляла ни ОЧКОВ, ни ЕНЬКОВ, обращаясь к сестре, но сейчас это было нужно — было правильно).

— Им было... больно? — Люба во все глаза смотрела на нее.

— Больно? Нет — они родились без жизни.

— Как это: родиться — и без жизни? Разве так бывает, они же... родились?

— Бывает. И у животных, и у людей. Им не хватило силы жить.

— А ты их...не утопила, ты не обманываешь?

— Нет.

— А где они сейчас?

— Я их... похоронила?

— А где? Можно я схожу к ним на могилку и положу цветы и миску молока? Ты покажешь — где?

Могилки не было. Какая там могилка — Вика не могла даже собрать котят, чтобы как-то спрятать, даже мысль об этом не мелькнула — через секунду после последнего выстрела она чуть не бежала через пустырь, запихивая на ходу пистолет за спину. Какая там могилка?

— Покажу.

— А когда?

— Завтра. А ты подготовь цветы и молоко, ладно? А Душка еще котят принесет, ты не бойся.

Любка ткнулась Вике головой в живот и не заплакала, а загоревала где-то внутри себя.

«На что собираюсь, на что! А тут рассиропилась. Ничего — сейчас все пройдет». Но снова из груди выкатилась дрожь и разбежалась по телу.

— Любушка, ты иди — иди к маме.

— Не хочу к маме.

— Почему?

— Не знаю. Хочу к тебе. Можно? — Любка подняла глаза.

— ...Можно, только ты мешать мне не будешь?

Любка отрицательно замотала головой. Они вошли в комнату, и Любка сразу посмотрела на Гитлера:

— Ты его любишь?

— Уважаю.

— Но он же страшный — я его боюсь.

— Не бойся: он не страшный, а правильный. Не будем об этом.

Я почитаю, а ты полепишь.

— Из чего?

— Из чего?.. Ну, хотя бы из этого, — Вика сорвала измочаленного пульками человечка, сжала его в комок и подала его сестре.

— А что слепить?

— Что просится. Знаешь, нужно делать что просится, тогда это будет правильно.

— Даже если просится плохое?

— Даже если плохое.

— Но ведь плохое неправильное?

— Если это плохое твоё, если оно от души — оно самое правильное.

Лицо Любки просияло, она заплясала на месте, захлопала в ладоши:

— Ура! Я всегда это чувствовала: правильно то, что я хочу. Но я боялась, что оно неправильное, потому что плохое. Я боялась, что и я неправильная, потому что хотелось плохого. А значит — так и надо. Ура! Спасибо, Виченька! — Любка повисла на шее Вики и поцеловала ее в щеку.

— Ну ладно-ладно, лепи что-нибудь.

Вика взяла с полки том Ницше — «Веселая наука». Это было ее лекарство, когда неуверенность становилась болезнью и начинала есть, грызть изнутри душу. Вика наугад стала открывать закладки.

«Беги, мой друг, в свое уединение: я вижу тебя искусанным ядовитыми мухами... Ты жил слишком близко к маленьким, жалким людям. Беги от их невидимого мщенья».

И снова перед глазами Вики мелькнула черная надпись: «Нищая сука». Но вопрос «кто?» уже не прозвучал. Какая разница: кто-то из них, каждый, кто угодно. Ядовитая муха. А что делать с мухами, если они мешают?.. «Мне все позволительно, но не все полезно».

Вика усмехнулась про себя: «Да уж — какой смысл дразнить собаку, если в руке нет палки. Или сбежать с уроков, если за это



можно получить по шее? Нет пользы. Надо выбрать момент, когда моя позволительность встретится с пользой. Хотя — что для меня польза? Свобода? Наверное, да. Самое главное — свобода, прочее — пустяки. Свобода и спокойствие. И ради этого можно все. Даже котят. Даже... (она представила себе что-то, и рука сама собой обняла невидимую рукоятку, а указательный палец сделал два движения).

«Воспитывающая среда хочет сделать каждого человека несвободным, ставя всегда перед ним наименьшее число возможностей».

«Именно так, — подумала Вика, вспомнив мать. — Этот город и эта жизнь сделали из нее ничтожество, трусливо предлагающее другому убийство. И это ничтожество еще и скулит оттого, что оно слабо и трусливо, и предлагает другим жить так же. Да, трус и слабак — всегда предатель. А наши ребята в подъезде — перед ними что, весь мир открыт. Они заготовки для будущих рабов: или рабство на заводах, или в семье, или и то, и другое. А потом — пьянка как протест против себя-раба. Нам кричат на уроках: «Перед вами все пути распахнуты!» Куда распахнуты? Уже: в классе не отдежурил — по шее, на уроке громче крикнул — по шее. На пляже лифчик сняла, чтобы просто позагорать, — стерва. Вот тебе рамки и будь в них свободным. Я так не хочу».

«Человек должен освободиться от морали, чтобы морально жить».

«Да, да, да! Я не хочу в их рабство, где, как салат, ложь и предательство, где правду от лжи не отличишь. Жить морально — жить свободно, как Любка сейчас сказала: правильно то, что я хочу».

«Меня мучила жажда среди людей, и ничего ее не утоляло. Тогда я ушел в одиночество и сотворил сверхчеловека».

Вика оглядела свою комнату. Ничего лишнего — того, что связывает с людьми: ни телевизора, ни магнитофона, на радио, — только пространство, где можно отдохнуть от движения, не утомляя себя чужими судьбами из книг ли, с экрана ли — все равно. А «сверх» или не «сверх» — это мы еще посмотрим. Да, стать выше и вне мира — это и есть стать человеком, обрести истинную свободу.

— Готово! — Любка спрыгнула с дивана и на ладошке поднесла Вике какую-то фигурку. — Это — барелина!

— Не «барелина», а балерина.

— Все равно! Это тебе. У тебя подоконник совсем пустой — пусть на нем стоит. И твоему, этому, уважаемому (она покосилась на фюрера), здесь одному теперь скучно не будет. Они познакомятся. А я пошла играть во двор.

Любка еще раз на прощание чмокнула Вику в щеку и, успокоенная, выбежала из комнаты.

«Да, — подумала Вика, глядя на угловатую фигурку, с тоненькими ножками, ручками вразлет, маленькой головкой со вздернутым носиком и юбочкой «колокольчиком», — да, уж это точно — барелина».

И, чего давно уже не было, Вика улыбнулась. Так среди острых камней, не способных к рождению живого, вдруг, казалось бы из ниоткуда, ни из какой почвы, появляется маленький цветок.

Вика поставила «барелину» на подоконник и подумала, что еще полчаса назад в ее тело со свистом вонзались пули, а она равнодушно дергалась из стороны в сторону. И Викой овладело странное чувство размягчение, неперемного желания сказать что-то ласковое и погладить кого-нибудь по головке. Она вдруг вспомнила о Юрке: «Он интересный. Я бы с ним...» — быстрая мысль ласточкой пролетела в ее голове.

6.

Этой ночью Вике приснился странный сон. Обычно сны пролетали в ней стремительным потоком, не оставляя ни картинок, ни сюжетов на память. Но этот...

Она, в черном пиджаке, сапогах, пилотке стоит на берегу озера, закованного до горизонта льдом. Вокруг — ни души. И вот вдали показывается точка, она растет, ширится, и это уже вовсе не точка, а правильный «клин» немецких рыцарей. Они, опустив копыя, в квадратных рогатых шлемах, с черными крестами на белых плащах, уже совсем близко. Вот-вот они пронесут свою тяжелую силу мимо Вики. А она заворожено смотрит на эту неостановимую, правильную лавину и чувствует, как легко и глубоко ей дышится. Слиться бы вот так с этим железным потоком, ощутить всем телом уверенный холодок лат и в руке — тяжелое, направленное вперед, пронзающее пространство копые.

Рядом с ней появляется Любка с беременной Душкой на руках. Любка смотрит на рыцарей и говорит: «А твой дяденька со стенки здесь главный?» — «Что ты, его еще...» Вдруг Душка выскальзывает из Любкиных рук и бросается наперерез «клину». «Ду-ушка!» — пронзительно кричит Любка и кидается вслед за ней. «Куда?» — кричит Вика. Сейчас, через минуту тяжелые кони втопчут Любку в лед, разорвут на куски, и ее платышко повиснет на одном из копий



и забьется на ветру. «А-а-а!» — кричит Вика и кидается за сестрой, догоняет, хватая ее вместе с Душкой в охапку. Нет, обратно не успеть — во всю ширь, только покачиваются в такт движению перья на шлемах, — лавина, бездушная, неостановимая. Она — совсем рядом. За сто, за пятьдесят метров. Вика держит Любку одной рукой, а другую выставляет вперед ладонью — как щит и кричит: «Стойте, мы свои!» Но понимает — не спастись.

За двадцать. За десять. Сейчас...

Вика вскрикивает и просыпается. Сердце еще колотится у горла, она еще чувствует, какая тяжелая Любка и видит перед собой черное копы с белым флажком и толстую морду коня.

— Ф-фу... — Вика откидывается на диван, разбросав в стороны руки. Сон. Только сон. А если бы они... еще пять шагов? Нет, ей не хочется, она не может увидеть это. Это только сон.

Вика долго лежит с открытыми глазами и не может, не хочет уснуть — впервые ей страшно нырять в эту черную безвестность, где от тебя ничего не зависит.

Но вот глаза ее закрываются, и последнее, что она успевает подумать: «Он тоже был там...»

7.

Анна Викторовна вошла в класс и, поколдовав с журналом, объявила:

— Сегодня завершающий урок по теме: «Роль личности в истории». Прошу записать вопросы и быть сегодня предельно внимательными. Итак, первый вопрос — «Кого можно назвать личностью?» Второй — «Может ли личность влиять на ход истории?» Третий — «Наполеон и...»

Дальше Вика не слушала. Ей захотелось встать и уйти: как может, как смеет эта безлика, усталая училка рассуждать о вещах, к которым не имеет никакого отношения: личность, свобода. Для того чтобы рассуждать об этом и, тем более, учить этому, надо по крайней мере самой быть личностью. А что может знать баба, особенно русская, о свободе и личности? Скажут ей: ложись и ножки врозь — пожалуйста, скажут: брани Булгакова — пожалуйста. Скажут: хвали Булгакова — пожалуйста. Причем за одну и ту же цену. А дома эту «личность» мужик и так и эдак — как отец мать когда-то. Баба в школе, баба — учителем свободы — бред!

Анна Викторовна, поддерживая рукой раскрытую книгу, то и дело поглядывая в нее, вещала о том, что «личность не может вполне

управлять ходом истории, ибо история — это устремление миллионов и миллионов судеб и воль». Управлять не может, а так — только чуть подправлять.

— Анна Викторовна, — раздалось с задней парты.

«Юрка?! Что ему нужно?» — подумала Вика.

— Что тебе, Павлов? — раздраженно спросила Анна Викторовна.

— Извините, но вы — личность?

Анна Викторовна заморгала:

— Я?.. Ну да, конечно...

— Ага. А мы — ваш народ, который вы куда-то ведете. Но если по вашему и толстовскому утверждению, надо диктовать волю народу в рамках естественного исторического потока, как тот самый Кутузов на Бородинском сражении, который сидит, закусывает и ни черта не делает, то — пардон! — зачем вы нам диктуете. Получается парадокс: вы нам, народу, говорите: делай так и то, что тебе сказано — пиши, слушай, отвечай. А сказано и записано: лучше если народ сам решит, как ему вести бой, то есть записывать, слушать, отвечать. Это все равно что сказать: «А ну-ка, будь свободным, и немедленно. А то я тебя!»

Анна Викторовна заморгала еще больше:

— Юра, тебе не нравится, как я веду урок?

— Ну... как бы вам сказать, чтобы не обидеть. Тема такая — деликатная, а вы — «записывайте, записывайте». Давайте поговорим — все-таки личность, свобода, народ и все такое — величинь-то ого! какие.

— Ну, давайте, — она закрыла книгу и села.

— А я вот считаю, — Иволгина тоже закрыла своего «Мена», — что личность сегодня переводится — ее почти нет.

— Почему? — спросила Анна Викторовна.

— А что такое «личность»? Это что-то свое, собственное, независимое. А у нас: одно и то же. К кому ни придешь — стенка, мягкая мебель, импортный телевизор, музыкальный центр и кошка на диване. И весь город в черных куртках, и думают все об одном: как достать — как потратить — как быть не хуже остальных. Все!

Иволгина стукнула ладошкой по слащавой мужской физиономии на обложке, будто дала пощечину: — Что — не так?

— И что же в этом плохого? Это — цивилизация, сообщество. Представь себе, если все будут совершенно разными — или подеремся, или вообще перестанем понимать друг друга.



— А я лучше перестану понимать, чем буду смотреть на все это. Вот, гляньте (она открыла журнал снова и подняла его над классом): и мышцы, и прическа, и позы, и выражение глаз, и размеры — все одно и то же. Не мужики — манекены. Вот, девочки, кого мы должны обожать и к кому в постель ложиться. И вы нам то же самое: подражайте, вот вам план, по нему и пишите, а то в институт не поступите.

— Точно, Светка, у меня вот задница узкая — никак себе джинсы купить не могу — висят сзади, — крикнул Федька Малышев, — Стандарт гонят.

— И на дачах у всех одно и то же: картошка и всего остального понемножку. Я предложила бабушке вереском участок обсадить — так она запричитала: где это видано, чтобы землю зря тратить! — вставила Синицына.

— Анна Викторовна, а мне сейчас жарко, — сказал Зайцев, — До трусов раздеться мне у вас спрашивать или можно самому?

— Пожалуй, лучше спроси, Сережа.

— Почему? Жарко-то мне, а не вам. Это насилие.

— Вот-вот, — вставила Курочкина. — Там, где личность, тут же и насилие. Вот у меня бабушка — никакая она не личность, а как все: сериалы эти дебильные смотрит и плачет, вареники тоннами варит на нас и на семью брата, за всеми убирает, слова плохого никогда никому не сказала — а так с ней уютно и приятно. А дед — тот личность, во всем свое мнение имеет: тот вор, этот дурак, прав только он. Вроде, по существу, и прав, да никому с ним жить не охота. Личность — она больше для разрушения. А так — течет все своим чередом и пусть течет.

— Но ведь, Таня, кроме разрушителей, есть еще личности-созидатели, ведущие за собой в лучшее.

— Да-да, это они сами для меня решили, что лучше, что хуже. Да пошли они все! Я вот терпеть не могу школу, я вязать, шить, готовить люблю и с малышами возиться, а вы мне — учись, учись, умнее будешь. Не надо мне умнее, мне и так хорошо.

— Зачем в таком случае ты здесь? — спросила Анна Викторовна.

Курочкина пожала плечами:

— Не знаю. Наверное, потому что я не личность. Да и не хочу я быть ею — суетно: что-то доказывать, разрушать, вести. Пусть вон Вика ведет и разрушает.

— А почему Вика? Она сегодня вообще молчит.

— Молчит-то она молчит, да если посмотрит — взглядом танк остановит. А молчит потому, что нас всех ни в грош не ставит.

Павлов крикнул:

— Тебя что ли, клушу, в герои?! Вам, пельменникам, что скажешь — то вы и делать будете. Марионетки!

— Да, — спокойно согласилась Курочкина, — марионетки. Я — марионетка и проживу долго и счастливо, никого не обидев. А ты и Нищенкова столько всем шишек наставите и очень будете этому рады и горды собой.

Иволгина подняла руку:

— Анна Викторовна, можно мне к Юре пересесть — он такой умный и личностный. Мне скучно с этими журналами и, кроме этого, тут курятиной пахнет.

— Ну вот — пожалуйста, — пожала плечами Курочкина, — и эта с ними. Обидеть — раз плюнуть.

— Нет, Света, я не разрешаю. Ты сама заметила, что личность сама решает что хорошо, что плохо. Так вот, моя личность решила, что не стоит вас смущать друг другом — сиди на месте.

— Да-а, — картинно вздохнула Иволгина, — вы личность. Насильница.

Класс заржал, смеялась и сама Анна Викторовна.

— Ах, ребята, вы бы знали, как мне сейчас хочется домой — лечь, взять книгу...

— Так идите и берите! -- чуть ли не хором закричали все, а Павлов прибавил: — А народ сам потечет по естественному историческому руслу. Правда, народ?

— Правда-а! — согласился класс.

— Да-да, вот я уйду — Сережа разденется до трусов, Иволгина засмущает Павлова. А где-то там рабочий решит, что ему хочется пива, а не за агрегатом следить. А шофер оставит автобус. И всё — конец обществу. Увы, дорогие мои, мы все в одной упряжке, и тянуть нам ее вместе, хотите или нет. Так, Вика?

Вика подняла глаза от листочка, на котором были нарисованы пять фигурок и перечеркнуты крест — накрест. Она секунду помолчала и спросила:

— Анна Викторовна, так вы идете домой?

— Нет, не смогу.

— А ты, Сережа, раздеваться будешь?

— На фиг — перебьюсь.



— А ты, Света, пересаживаешься к Юре?

Иволгина вздохнула:

— Хотелось бы.

— Кто сможет сделать то, что он хочет сейчас, чтобы не писать и не длить этот скучный урок?

Класс замолчал, тяжело замолчал, как будто сразу прекратилась увлекательная игра, а на ее месте выперла жизнь.

— Не можете? — продолжала Вика. — Тогда сидите смиренно и не стройте из себя свободных. Свободный человек — человек действия.

— А ты, Вика, свободна? — спросила Анна Викторовна.

— Нет. Но буду.

8.

Юрка стоял там же и ждал. Вика поравнялась с ним и спросила:

— Без намерений?

Он усмехнулся:

— Почти.

— А я вот сегодня — с ними.

Юрка опешил от неожиданности:

— Ты о чем?

— Пива хочу. Тут недалеко маленькая кафешка есть — пойдем. У меня с собой пятьдесят, а у тебя?

— Есть «сотня». Пошли.

...На столики падала узорная тень от тополей и чуть пошевеливалась. Листва еще только начинала проклевываться, и самые первые почки раскрыли зеленые ротки, прося солнца. Конец апреля выдался такой теплый, что даже мошкара пьяно завозилась и заползала, удивляясь тому, что уже можно жить.

Расторопные палаточники выставили на улицу пластиковые столики и кресла, зазывая народ в расслабуху и предвкушение скорых летних отпусков.

— Сядем здесь, — Вика показала на красный столик под веткой тополя.

— Идет, — послушался Юра.

Молоденький официантик подбежал сразу:

— Молодые люди, чего изволите? — в его полунагибе были подобострашие и ирония.

— Мне два бокала светлого и сыр, — сказала Вика.

— Мне — тоже, только с рыбой, — дозаказал Юра.

Официантик кивнул, исчез, и через минуту холодные тяжелые бокалы с горками пены стояли на столике.

— Не люблю пиво «на ходу». Как-то смотрела по телевизору, как негритянка таскает своих детенышей на особом поясе, а они то и дело ее посасывают. Автопоилка. Когда вижу, как идут вполне приличные люди и пьют на ходу — вспоминаю ту негритянку. И думается только одно — жвачные.

— Но это модно. И удобно. Кстати, как ты думаешь: мода для удобства или удобство для моды? Что первично? — Юра не знал, как быть оригинальным, и это было первым, что показалось ему возможным для завязки беседы.

— Н-не знаю. Мода — это что-то вроде распущенного павлиньего хвоста или извивавшейся в чем-то пахучем собаки — вот я какая! Будешь модным — будешь выделяться — будет выбор — выбор выгоден. Тут все просто. Мода функциональна.

— А ты (извини) почему в одном и том же платье уже второй год? Тебе не нужен выбор? — спросил Юра.

— Выбирать можно по-разному. И предлагать себя по-разному. Вот сегодня ты заварил эту кашу на уроке, конечно, не для Курочкиной или Булановой (для них можно было как-то более оригинально одеться), а заварил ты ее для меня и Иволгиной, так?

Юрка покраснел и сделал хороший глоток пива:

— Твоя взяла — так. Но, однако, ты и цинична — зачем так «в лоб»; раз догадалась, можно это иначе использовать — поиграть как-то, пококетничать.

— Кокетничать я не умею. Теперь второй вопрос: почему ты сейчас пьешь пиво со мной, а не с Иволгиной — с ней пить веселее? Она и смущать не будет, и в рот тебе смотреть будет, и многое простит — с ней легче, она «готова».

— Знаешь, с тобой не то чтобы интереснее, а... ты как удав — притягиваешь. Да, Светка красивая, умная, но она игрушка, не больше. Это как звезды: одна маленькая, но такая плотная, что сам свет к ней льнет; а вторая большая, красивая, но внутри пустая. Та маленькая черная звезда — ты. Это, Вика, не мне одному понятно — слышала, как тебя сегодня Танька обласкала. Так что, на самом деле, тебе не нужно каждый день менять платье — у тебя другая мода. А так (Юрка чуть охмелел) ты даже очень ничего.

— Хочешь — поближе?



- Хочу, но, если честно, я тебя немного боюсь.
- А ты не бойся. У тебя сейчас дома есть кто-нибудь.
- Нет, до вечера свободно.
- Тогда пошли. Официант — счет.

Молодой человек возник так же легко, как и исчез, глянул на них и обратился не к Юре, а к Вике:

- Сто рублей, мадмуазель.

Юрка засуетился, достал «сотку» и почему-то передал ее не официанту, а Вике. Она рассчиталась, и молча, как будто перед «делом», они допили пиво и ушли.

9.

«Какой он неловкий. Дурачок, думает, что надо казаться сильным: надувает пресс и бицепсы. И стесняется оттого, что почти ни того, ни другого нет. Стесняется, и от этого сплошная маета, почти ничего не получается. Павлинчик. Приходится опять все брать на себя».

Вика лежала на диване у себя в комнате и вспоминала «пивное похмелье». Да, Юрка явно оказался не на высоте — слишком много лишних движений: он как-то напряженно «наласкивал» ее, будто боялся, что сделает что-то не так.. Видно было, что кое-какой опыт у него имеется, но во всем, что он ни делал, ощущался сплошной напруг — будто он сдавал ответственный экзамен и очень не хотел «провалиться». И — почти провалился. «Троечник, — подумала Вика, — В одежде и на словах он лучше. Все на словах лучше. А одежда — ширма».

Она вспомнила пляж. Как меняются люди, когда остаются голенькими, какими уродливыми становятся. У одного широкие плечи, но короткие ноги; у той — на красивой шее отвратительная бородавка; у этого живот бугрится и ворсится. Как мало по-настоящему красивых. Был, правда, один такой.

Он лежал на короткой подстилке, подложив крестом руки под голову, и, не шевелясь, загорал. Вика долго подглядывала за ним в щелочку под темными очками. Загорал он классически: как на вертеле подставляя солнцу всего себя, и раз в полчаса купался. И плыл ровно, без брызг, сильно и неспешно выбрасывая руки. Выходил, растирался полотенцем и снова загорал. Так продолжалось с неделю, на том же самом месте и в то же время. Вика специально приходила на полчаса раньше, чтобы полюбоваться, и уходила на полчаса позже — чтобы не подумал... Он сворачивал подстилку, одевал шорты

и уходил, всегда один, ни на кого не косясь и никому себя не показывая, хотя посмотреть было на что.

На восьмой день он скатал подстилку, оделся, подошел к Вике и сказал:
— Пошли.

Она, повинуясь этому приказу, собралась и через два часа вышла из его квартиры, а после этого почти месяц вечерами ходила возле его подъезда в надежде — может, позовет. Он проходил мимо, кивал ей, как старой знакомой, но так больше ни разу и не позвал к себе, хотя других женщин Вика у него не видела.

Пожалел? Поучил? Так Вика и не поняла. В его квартире было тихо и странно: ничего лишнего, кроме старинного арбалета на стене. И голоса его Вика не помнила, да он и не говорил почти ничего. А помнила она только сильные, спокойные руки и такие же сильные, спокойные глаза.

«Да, Юрка — «павлинчик». Скоро Любка придет... — подумала Вика. — Зачем я об этом? Ах да — могилка!»

Все, что было до этого, вылетело у нее из головы. Она быстро собралась: достала из ниши отцовскую складную лопатку, старые перчатки и коробку из-под туфель. «Может, просто нарыть где-нибудь холмик — пусть Любка думает, что они там? Какая разница? Нет, нужно правильно. Нужно».

...Они лежали там же, все пятеро. Вороны и собаки не успели их разнохнуть. Вика надела перчатки, выбрала укромный уголок под осинником, вырыла глубокую, почти на полметра ямку во влажной осенней земле. Чувствуя тошнотворный комок стыда у самого горла, подобрала их, сложила в коробку и накрыла крышкой. Опустила гробик в ямку и забросала землей, сделав могилку прямоугольником. Потом зачем-то срубила лопаткой длинную толстую ветвь, отломала сучья и воткнула ее глубоко в изголовье. Сняла перчатки и забросила их далеко в кусты.

Но ни сегодня, ни завтра, ни вообще Любка не вспомнила о котятках.

10.

Новая неделя началась отвратительно. На уроках все шло шиворот-навыворот: еле-еле Вика сдала зачет по физике, заныл зуб, на литературе появился Ф. М. Достоевский и, наконец, Курочкина потеряла 1 000 рублей, которые ей дали дома, чтобы заплатить за квартиру и телефон. Потеряла или украли — теперь уже было все рав-



но: Таня сидела у окна и не хотела жить. Слезы она выплакала на двух последних переменах, когда обнаружилась пропажа. Тогда она вытрясла из сумки на парту все-превсе и, размазывая по щекам слезы, бессмысленно в который раз перебирала вещи: какие-то записки, фотографии, бумажки, — не стыдясь того, что на парте среди этого добропорядочного девичьего барахла лежала пачка гормональных контрацептивов. Потом она по листику пересмотрела все учебники, тетради, взрыла карманы и, убедившись наконец — нет! — ничком упала на парту и взорвалась слезами.

Девчонки столпились вокруг нее и, как могли, утешали.

— Да ладно тебе — я вон в прошлом году часы золотые утопила, — гладила ее по голове Буланова, — и ничего, забылось. И у тебя забудется.

— Скажешь дома — украли. Ворья сейчас — немерено, — помогала Кругликова.

— Господи! Что такое в наше время 1 000 рублей. Вот нас в том году обокрали, пока мы в Италии отдыхали — это да! И еще записку оставили: «Спасибо — хорошо живете», — утешила Лебедева.

Но Танька выла:

— М-мне т-теперь дед г-голову от-торвет. Не поверит. Скажет — себе взяла. Я у него теперь на год «вороной» и «дурой» буду.

Вика стояла поодаль. Утешать она не умела, но какое-то странное, правильное чувство копилось у нее в груди.

И Иволгина стояла невдалеке и смотрела на эту сценку, не вмешиваясь в сочувствия и как будто на что-то решалась.

Парней не было. Когда грянул первый взрыд, Юрка сразу замал руками:

— Ухожу, ухожу, ухожу. Бабы плачут — ничего не значит. Дома — вода, здесь — вода, да что вы все — сговорились? — И мальчишки поспешили за ним.

Когда страсти улеглись и от них осталась одинокая Курочкина у окна, Вика подошла к ней и протянула 200 рублей:

— Возьми, когда-нибудь отдашь. — И сразу вышла из класса.

За ней открыла сумочку Иволгина, которая на последней парте переписывала алгебру, — открыла, подошла к Тане, чмокнула ее в щеку и протянула «сотню»:

— Бери. Больше нет. А я сегодня какого-нибудь красавчика охому-таю — за тебя отомщу, Танька. Пока! Не дрейфь — все будет путем.

И Иволгина ушла, оставив в руках растерянной Курочкиной деньги.

11.

...Юрки у дерева не было. Да и не могло быть — Вика понимала это. Она только невесело усмехнулась и не спеша пошла домой, чуть тверже ставя ногу и жестче придерживая сумочку.

Во дворе гулял Славка со своим «боксером». Он как-то странно, тревожно и быстро, глянул на Вику и резко переменял поводок из руки в руку. Но было поздно — Вика скользнула по его руке взглядом и заметила черное пятно на тыльной стороне ладони.

Лифт донес ее сегодня до дома как-то особенно нехотя, даже не донес, а дотащил, будто ему не хотелось быть с ней, и радости движения не было вовсе — была усталость и какое-то нехорошее чувство в груди. Вика подошла к дверям и вздрогнула: над ними той же черной краской была сделана надпись «Нищие». И сразу же перед глазами мелькнуло пятнышко на Славкиной руке.

«Война? Никто не забыт, ничто не забыто? Прекрасно! Как раз то, что нужно!» Адреналин в крови кончался — Викам чувствовала это — а последние три дня так рассиропили кровь, что сейчас само слово «война» приятно заставляло подтянуться. И Вика снова почувствовала ту самую злую, упругую волну, которая, пройдя по телу, выплеснулась из глаз на эту надпись.

«Война!»

...А дома была мама. Она как-то непривычно громко суетилась на кухне, и пахло вкусным: кислыми жирными щами, жареными котлетами и острым соусом.

«Что за праздник?» — подумала Вика, раздеваясь. Душка уже не встречала ее, она даже перестала нюхать ее туфли и, завидя Вику, с коротким «р-мяу» бежала в мамину комнату.

— Вика! — мама вышла из кухни с праздничным лицом, но комкая полотенце. В глазах у нее жили тревога и радость. И непонятно, чего было больше. — Вика, нужно поговорить. Давай сядем. У меня... друг появился, ну... мужчина. Он хороший, на стройке работает, почти не пьет, в общежитии живет. Вот мы с ним и решили, что теперь он у нас жить будет. Ты же сама видишь — трудно без мужика в доме. А Любочку к тебе в комнату переселим, там места много, ладно? — она тревожно заглянула Вике в глаза. — Не с нами же ей спать. Мне плохо одной, доченька, я ведь еще не такая старая.

Вика похолодела. Всё. Враг и тут вторгся на ее территорию. Не Любка, конечно, нет. И мать — какой же она враг? И этот мужчи-



на — она его вовсе не знает. Но Вика точно знала — враг уже наступает, он пришел разрушить ее мир. И имя ему — жизнь... Так вот, значит, почему щи и котлеты.

— Когда он переселяется к нам?

— Скоро. На той неделе. Я с тобой посоветоваться хотела.

«Ничего ты не хотела. Хитрая, трусливая. Я ей уже не нужна. Она меня боится. Она знает, прекрасно знает, что если здесь будет мужик — меня здесь не будет. Посоветоваться...»

— Нет, через неделю я не могу — через две недели.

— Почему через две?

— Мне нужно время, чтобы найти жилье и работу.

— Что ты, Вика, -- мать сразу же успокоилась, — что ты, доченька, тебя же никто не выгоняет.

Вика ушла к себе, на ходу думая: «Две недели... две недели... Откладывать нельзя».

12.

«Да-да, откладывать уже нельзя. Нужны деньги, много денег, может быть, тысяч двести или больше. Снять квартиру на год-два, до совершеннолетия, потом купить квартиру. А там подать на раздел этой и получить от отца по наследству — что-то там есть, но мать пока не говорит. А она все правильно рассчитала: знает, что я жить вместе с ними я не стану. Вроде бы, всё правильно и культурно, и даже логично — одинокая женщина хочет изменить свою жизнь. Имеет право. Но матери теперь у меня нет — она меня предала. Так, по крайней мере, даже лучше — все ясно».

Вика встала с дивана и подошла к портрету. ОН смотрел на нее и все понимал.

«Хайль, Вика! Все будет хорошо, только не бойся и борись», — говорили ЕГО глаза

И Вика ответила: «Хайль!»

«Первое — наказать Славку. Второе — вставить замок в комнату. Третье — сходить на разведку».

13.

Утро было бесподобно: на небе ни облачка, легкая прохлада — еще апрель, только апрель. Дворники недавно дочикрали дорожки, и кое-где чуть дымились кучи прошлогодних листьев, разнося по ветру прело-пьяный дымок. Утренние звуки доносились выпукло,

ясно. Вот тугой, «толстый» звук первого автобуса; вот — будильника в чей-то квартире, будто его положили в стеклянную банку и он пищит сверху лапками; и по всем дворам слышен перелай собак, выведших хозяев на утреннюю прогулку.

Славкин Джей — трехгодовалый боксер — пометался по двору и, пока хозяин выкуривал свою «приму», нашел то самое, единственно желанное место. Сделав дело, он кинулся было в другой край двора, чтобы продлить прогулку, но хитрость не прошла:

— Джей! Домой! — И собака нехотя подбежала к Славке. — Домой, я сказал! — И пес исчез в подъезде.

Славка нехотя поплелся за ним. Башка гудела от вчерашнего пива и какой-то тревожной мысли, будто вчера что-то произошло, но что — непонятно, эта мысль никак не хотела становиться словами и бродила где-то глубоко в сознании. И только Славка поднялся на второй этаж (лифт как назло опять не работал), как с восьмого, где он жил, раздался пронзительный визг Джея. Славка рванул через две ступеньки и через полминуты увидел страшную картину: Джей лежал в лужи крови перед дверью квартиры и сучил лапами. В левом боку у него торчала маленькая рукоятка ножа. И Славка вдруг понял: «Нищая! Убью суку!» Он рванул на двенадцатый и забарабанил кулаками в дверь Нищенковых.

Открыла мама. Славка рванул на себя дверь и влетел в прихожую:

— Где она? Где?

— Кто?.. Вика? Спит, наверное. Что с тобой, Слава? Ви-ка! К тебе.

— Кто там? — и Вика вышла, запахивая на ходу халат и щуря заспанные глаза: — Чего тебе?

— Ты!.. Это — ты! — задыхался Славка — Ты — Джея?

— Что тебе надо? Какого Джея? — она проколола Славку взглядом. — Иди отсюда и не мешай спать. — И пошла на него грудью.

Славка выпятился из квартиры, не отрывая от Вики ненавидящих глаз:

— Это ты! Нищая! Нищенка! Все вы сговорились! Нищие!

— Давай-давай отсюда, а то сейчас ментовку вызову. — И Вика захлопнула дверь.

Джей умер, в ветеринарке спасти его не смогли. Пожали плечами, предложили подать заявление в милицию, но — на кого? На факт убийства животного? Факт не привлечь, да и кто будет с этим сейчас связываться — своих трупов хватает. Какой-нибудь бомж, или кореец, возжелавший свежатинки, или кто из соседей — не дока-



жешь. Единственный вещдок — нож с коротким и тяжелым лезвием и маленькой ручкой. Таких много.

Славке стало страшно. «Ты будешь первым», — вспомнил он. Если эта сучка так спокойно зарезала собаку и потом пошла досыпать — с ней лучше не связываться, это машина. Да, он понял, что зря объявил эту дурацкую войну. Его сразу же предупредили, страшно и однозначно: так же будет с тобой.

«Как она догадалась? — подумал он и вдруг вспомнил ее быстрый взгляд на его руки, чуть закапанные краской.

«Ведьма. Сразу поняла. Хорошо, что я не пошел дальше, а то бы... Да, она меня предупредила. Бедный Джей, может быть, ты меня спас».

И все же Славка нашел в себе силы дожидаться Вики утром у дверей подъезда. Они стояли друг против друга и смотрели друг другу в глаза.

— Я знаю, это — ты. Но причем здесь он? — сказал Славка.

Вика молчала, держа руку в кармане и соглашаясь взглядом: «Да — это я».

— Ты зверюга. Уезжала бы ты куда-нибудь. Мы сволочи, я это знаю, но до тебя нам далеко.

Она подошла к Славке вплотную и свободной рукой легонько ткнула в ребро:

— А ты щуплый, Славик, очень щуплый, — И ушла, не вынимая руку из кармана куртки.

Славка зачем-то потрогал то место, куда ткнули ее пальцы, и вдруг понял: именно над такими же ребрами торчал нож у Джея.

«Щупленький... На что она намекает? Господи!..» — И Славка опрометью бросился домой. Да, он проиграл войну, так по-настоящему ее и не начав.

14.

«На какое дело покуситься хочу, и в то же время каких пустяков боюсь...» — голос Анны Викторовны доплыл до Вики.

«Каких пустяков?.. Ах, да — сочинение по Толстому. Анна сказала, что не может решиться поставить мне оценку: надо или «двойку» или «пятерку». Я не хочу «двойку». А еще она сказала, что ей хочется поставить «пятерку», но тогда надо бросать работу или пересматривать все взгляды на Толстого. А если ставить «двойку», то ничего пересматривать не надо, но работать в школе ей тогда не хочется. И еще она согласилась с теми моими портретами. Так чего

же ей нужно: и программе угодить, и мне, и заодно самой перед собой чистенькой остаться? Она будто меня спрашивает: «Вика, какую оценку ты хочешь? Скажи — поставлю, только избавь меня от этого решения». А я не хочу «двойку» — это неправильно. Хотя что мне сейчас «двойка» — пустяк, у меня «дело» впереди. Осталось 12 дней — два «проходила». И собака эта... Зачем я ее? Или нет — нельзя разрешать обижать себя безнаказанно. Обида — это маленькая война, а войну надо стремиться выиграть. И все средства хороши, всё позволено, на все право имею...»

«Тварь ли я... или право имею?» — опять до Вики донесся далекий голос Анны Викторовны.

«А этот мамин «друг», боров строительный, жрет так, что в моей комнате за закрытыми дверями слышно. Когда в гости ходят, подарки с собой берут, а он — ничего, кроме водки. Хотя бы Любке шоколадку или матери цветочек. И эта скотина будет ходить в трико и с голым пузом по нашей квартире и командовать только потому, что он мужик? Ну мать и дура! А может, проще — его?.. Ну и что: не он, так другой появится, с таким же пузом. Раз приспичило ей — до конца пойдет. И через 12 дней мне некуда будет идти...»

«...вспомнил, что идти больше некуда», — подтвердила Анна Викторовна.

«Ну уж нет — я подготовлена получше, чем этот студентик: уже шестеро на счету. Привыкаю. И рука позавчера не дрогнула — с пяти-то метров и так точно. И подготовочка — класс! Матери вечером в чай — феназепам (вон его спокойно без рецептов в любом киоске продают); в замок — масло, чтобы утром не скрипел, не разбудил; на ноги кроссовочки — те самые. Лифт — шелк, как они мне когда-то. А потом уже дело техники: ясно, что Славка спросонья за своим кобелем вприпрыжку не побежит. Резерв «от» и «до» — три минуты. Так и вышло. И — никаких случайностей.

Что со мной — почему так спокойно? Мне не жаль пса?.. Нет, не жаль. А если бы это был Славка?» Вика представила, как Славка хватается за бок и с ужасом смотрит на нее, а изо рта у него кровь. Сердце стукнуло чуть сильнее — раз-два — и опять забилося ритмично, ровно. «Никого не жаль. Я на войне, и в моей армии я одна. А на войне не жалеют». Теперь «я не человек, я динамит» — и Вика увидела эти строки так четко, будто перед ней лежал томик Ницше.

«Итак, я спокойна и мне все позволено, я ничего не боюсь. Последнее — надо исключить случайность. Пора на пробу...»



«Он шел... делать пробу своему предприятию», — качнулся вдали голос Анны Викторовны.

Вика усмехнулась.

— Чему ты, Нищенкова? Смешного тут мало? — раздался рядом голос Анны Викторовны.

— Мало, — отозвалась Вика.

15.

В первой палатке-павильончике за толстым пластиковым окошком сидела худощавая женщина лет двадцати пяти с усталыми, скучными глазами, в которых угасали недавние ум и живость. Но лбу ее бисерками блестели капельки пота — было душно, народ покупал все, что льется, и женщина механически принимала деньги, отсчитывала сдачу и подавала товар. Но как-то не связывались в одно ее тонкие пальцы с короткими ноготочками и одиноким тоненьким колечком на левой руке с пузатыми «клизмами» «Волны», «Янтарного» и «Медового». Вот на минуту очередь рассосалась, женщина села на стульчик и стала бессмысленно смотреть перед собой.

«Еще год такой работы — и она станет молодой старухой. Видимо, из бывших студенток. Не замужем, уже и не надеется. Мужиков заманивать не умеет, но никому не отказывает, хотя мало кто просит. Живет с матерью в однокомнатной. Мечтает о ребенке и работе на воздухе. Вечерами просто ложится на диван и смотрит телевизор. От жизни уже почти ничего не хочет. Отдаст сразу и тут же описается от страха. Но потом завизжит так, что заглушит любую сигнализацию. Все делает необдуманно — как душа просит», — заключила Вика, глядя на продавщицу из хвостика очереди.

Она попросила жвачку, женщина подала. И тут Вика заметила, какие все-таки у нее красивые глаза: серые, чуть раскосые, с глубокой грустинкой, как с угасающей искоркой.

«За что ты здесь? Кто тебя сослал?» — невольно подумала Вика.

Во втором, довольно большом павильоне командовала быстрая дамочка с хронической улыбкой на лице, в джинсах и с мальчишкой лет семи, который всю помогал мамаше:

— Сашка, носи три белых по четыре!

Он отодвигал створку холодильной камеры и нес три мороженых-«Морозко» по четыре рубля, не забыв закрыть холодильник.

— Сашка, пятая «Балтика».

И в руках малыша тотчас возникала нужная бутылка.

«Блин! — подумала Вика. — Веселая рабыня с рабёнком. А ведь им не скучно — они вдвоем».

И народ из очереди вовсю оставлял сдачу — Сашке, особенно добрые подвыпившие мужики, которые вставляли насколько можно свои рожи в окошко и кричали: «Сашка! Мне две водки! Сашка!...»

Третий павильон стоял в очень удобном месте — за ним был целый лабиринт, состоящий из строительных будок, деревьев и всякого недостроя. В павильоне заправляла грудастая толстуха с пальцами-сосисками. У Вики появилось такое чувство, что этот большой павильон строился специально для этой хозяйки — она не работала, а именно жила здесь, творила и царствовала, а покупатели, бутылки и пакеты были ее слугами, которыми она манипулировала, как хотела. Покупая очередную жвачку, Вика кинула ей взгляд в глаза и вполне убедилась, что мысль в них никогда не жила и уже никогда не поселится. Этой толстухе хватает в жизни всего, да и сама жизнь сделана под нее: с вечерними наклюкавшимися алкашами и утренними похмельниками, с хрустящими «чупсами» и бразильскими сериалами. И никого она не боится, потому что сама она часть этого потока — и его регулировщик, и жертва. Само понятие счастья настолько стерто в ее сознании, насколько стерто и понятие несчастья, и жизнь в этом пространстве два на три ее вполне устраивает.

«Кусок мяса, — неприязненно подумала Вика. — Даже Славкин Джей был живее. Ладно — хватит, везде одно и то же. Пора выбирать».

...Весь следующий день пролетел быстро и нервно. Перед Викторой, как в калейдоскопе, одно за другим мелькали лица, глаза, руки.

«Студентка? Зачем ей жить — она здесь лишняя и сама знает это. Она?» — И Вика снова шла к павильону заглянуть в глаза продавщице, чтобы уже окончательно убедиться — она. И снова не получалось там, в воображении, сделать ЭТО именно с нею.

Мамашу с Сашкой Вика освободила сразу: она представила себе, как Любка стоит над лежащей матерью и не понимает, почему она не может встать. Нет! Нет.

«Мясо»? К ней Вика испытывала полное равнодушие, но она была самой опасной из всех — нервы у нее отсутствовали, а также она была органической частью этого мира, а когда из организма дерут что-то, то он кричит, и весьма сильно. Та, «маленькая», даже не пикнет — ей здесь всё чужое, а эта будет драться до конца, так что лучше — «маленькая». Но какие у нее глаза! А у «мяса» глаз и



вовсе нет — шелки, заплывшие жиром или еще какой гадостью. Но с ней справиться трудно — подозрительная и опытная.

Вика обошла еще несколько «точек» и убедилась, что павильонное человечество достаточно однообразно, и основной принцип сохраняется: или равнодушные грустные глаза, или хозяйские «щелочки-амбразуры». Но решать было нужно, как тому древнеримскому прокуратору, дарующему жизнь одному из преступников в день Пасхи по своему усмотрению и капризу.

«Да, трудно быть богом, — подумала Вика. — Завтра утром и решу».

16.

На следующий день, часов в пять дня, когда народ устало валил с работы, затекая в киоски и павильончики неспешным, но постоянным потоком, в один из них, в заднюю дверь, раздался требовательный стук. Продавщица заметалась и, отпустив покупателя, пошла открывать.

— Кто? Сергей Петрович, это вы?

— Это СЭС, ревизия по письму из общественности, — раздался приятный, с властинкой женский голос.

Услышав магическое «СЭС», продавщица дернула крючок, ничего не опасаясь — в палатке полно народа, середина дня, женский голос и — к тому же — «из общественности».

Перед ней стояла молодая особа с сумочкой на боку и бумагами в руках.

— Здравствуйте, я Нилина Татьяна Петровна, инспектор СЭС, вот мои документы, — и она протянула красное удостоверение. — А у нас жалоба по поводу пищевого отравления из вашего ларька. Закрывайте палатку и приглашайте хозяина — будем составлять акт и брать пробы.

Продавщица растерялась окончательно: хозяин будет вот-вот, минут через пятнадцать — обычно он появляется в 17-30, чтобы забрать выручку. Там — очередь, тут — это «отравление». Вернув «корочки», даже не взглянув в них, она пошла объяснять покупателям, что — «ревизия». Закрыла окошечко, вывесила табличку и вернулась в склад, где ее ждали. Дама стояла в той же спокойно-выжидательной позе.

— Вы знаете, — начала «маленькая», — я здесь совсем недавно рабо...»



В руках у дамы вдруг появился черный предмет, и тут же раздались два хлопка. Глаза «маленькой» лопнули, и она замертво упала на пол.

17.

«Сто пять тысяч... Сто пять тысяч... Я смогла. И ничего страшного. Это — война. Вокруг — война. Все — против меня, и она тоже была против. Надо просто привыкнуть, надо привыкнуть».

Знакомая дрожь разрывала тело на кусочки. Никаких отчетливых мыслей и чувств — только дрожь. Вика предвидела и это: замок был вставлен заблаговременно, и сейчас дверь в ее комнату была заперта. Рядом с диваном стояли бутылка прихваченной из палатки водки и тоник, а также, на всякий случай, тазик, если будет тошнить.

Треть бутылки была уже пуста. Вика привсталала, отвинтила пробку и сделала еще глоток, запив тут же тоником. В голове мелькнула фраза из вчерашнего урока: «...на какую, однако, грязь способно мое сердце». Но сквозь дрожь в Вике звучал голос, и она не понимала — ее это голос или нет: «Она не последняя, она первая, только первая».

Водка вдавила Вику в диван и растворила в себе дрожь. На месте дрожи обосновалась пустота, черно-белая пустота, без звуков и смысла. И Вика спасительно нырнула в эту пустоту.

18.

— А мне кажется, что все это выдумки, все искусственно: и идея, и сюжет. Так не убивают, чтобы только проверить — «сверхчеловек» я или тварь. Убивают ради корысти: денег, мести — чего угодно, но только не из-за идеи. Если чувствуешь в себе «сверх» — не нужна никакая проверка — достаточно и этого, чтобы себя уважать и все позволять. На мой взгляд, Достоевский путает две вещи: идею и корысть. Щи отдельно, мухи отдельно, — завершил свой спич Павлов.

— А я не понимаю, чего это он так вообще расстроился после убийства — он же был готов, и ситуация уже была «прокручена» в голове сотню раз. Я, Анна Викторовна, наверное, ужасно испорченная, но мне жаль не этих двух «вшей», а его — дело-то сделано, так и живи, как задумал: помогай бедным и все такое, — добавила Иволгина.



- Но разве человек — вошь?
- Как с нами, так и мы с ними, — резюмировал Павлов.
- С кем — с ними? — спросила Анна Викторовна.

— А со всеми! — Иволгина хлопнула по столу ладошкой. — Спать ложишься и дырки на себе считаешь: сколько раз тебя укусили за день. В магазине обсчитали — укусили; в школе до конца чего-то там не доучила — «пару» поставили и выругали — укусили; дома за невымытую посуду головомойку устроили — укусили; в автобусе нахамили и ногу сдавили — укусили; у Таньки вон деньги украли — укусили. Вот так весь обкусанный спать и ложишься. И это еще только начало. А этого студентика обкусали полностью — вот он и взбрыкнулся. Насилие рождает только насилие, так что он прав, — распалилась Иволгина. «Мена» на ее парте не было...

— В чем прав — в убийстве? — контратаковала Анна Викторовна.

— А хотя бы и в этом! Раз сделал так — значит, прав. А что ему еще оставалось?

— Ладно, — Анна Викторовна обратилась к классу. — Кто согласен с Иволгиной и Павловым?

Половина класса подняла руки.

— А кто согласен с Достоевским, и человек, даже самый скверный, не вошь, которую можно раздавить между прочим?

Булапова и Курочкина неуверенно подняли руки.

— Ясно — остальные думают. А что ты скажешь, Вика. Смогла бы, например, ты, чтобы стать свободной, поднять топор и...

Вика молчала. Дрожь прошла еще ночью, теперь она чувствовала, что стала деревянной, тело жило как-то отдельно от нее. Все, что происходило в классе, было как сцена в театре, а она смотрела этот спектакль из зала, где никого не было — только она.

— Вика, ты меня слышишь? Смогла бы ты?

Вика медленно поднялась из-за парты.

— Я... Наверное... Не знаю...

Тяжелый, противный туман застил глаза, и все поплыло в сторону: Анна Викторовна, классная доска, учительский стол с журналом.

— Извините... мне... — И Вика начала сползать на пол, теряя сознание.

— Что с тобой? — Анна Викторовна успела подхватить Вику обеими руками. — Ребята, помогите. Это обморок. Буланова, быстро за медиком! Света, намочи полотенце! Юра — открой окно.

Вика лежала ничком на парте. Через пару минут здесь уже была Нина Петровна — школьный фельдшер, с нашатырем и прочей неотложкой. Вике закатали руку. Пульс? Давление?

— Может быть, «скорую»? — спросила Анна Викторовна.

— Пульс — 50, давление 90 на 60. Обморок. Или переутомилась, или возрастное, или то и другое плюс авитаминоз. Это бывает. Лучше — домой в постельку на пару дней, «скорая» по девичьим обморокам не ездит.

Вика дернула головой и открыла глаза. Из тумана выплыли лица докторши, Анны Викторовна, ребят. «Зачем они надо мной? Они узнали? Нет, этого не может быть. О чем это она? Смогу ли встать? Смогу. Зачем Анна спросила меня об этом?»

Лица стали резче, контрастнее, и Вика очнулась окончательно.

— Далеко живешь? — спросила Нина Петровна.

— Нет — рядом.

— Сейчас я тебе пару укольчиков сделаю, и тебя отведут, а если хочешь — отнесут, кавалеров у вас хватит. Отлежишься, апельсинчиков поешь — и снова за парту.

Вике закатали рукав рубашки, она почувствовала острый запах спирта.

— Ну, вот и все. Возьми с собой нашатырь. Завтра вызовешь врача на дом. А пока — гей! кавалеры — где вы? Дайте ей, Анна Викторовна, парочку провожатых.

— Нет, я сама, — Вика попыталась встать.

— Куда там сама — еще упадешь по дороге.

— Так, — сказала Анна Викторовна, — Юра и Сережа — поняли?

Парни кивнули и, поддерживая Вику под руки, вышли из класса, преисполненные мужской гордости.

...Урок кончился поведствовательно, на какой-то постной, пустой ноте. Все думали о чем угодно, но только не о судьбе бедного студента. Какое-то странное смятение, томление — черт-те что наполнило и ребят и Анну Викторовну, как будто произошло что-то неопределенное, странное — НЕ ТО. После звонка все быстро разошлись по домам, только Иволгина задержалась на минуту — сломалась застежка на туфельке. Она нагнулась, чтобы починить ее, и вдруг увидела у парты Вики черную сумочку. «Забыла, подумала Света. — Надо отнести». Но какая-то озорная, девичья мысль догнала ее. «Посмотрим, что носят в сумках свободные люди. Очень занятно. Конечно, гадко, но занятно. Я же красть не буду — я только по-



смотрю. Так — чисто бабский интерес. И сразу отнесу. Где живет — знаю. Вот и доброе дело сделаю, да?» Она поправила застёжку, подошла к Викиной парте и положила сумочку в пакет, вышла из школы и направилась к скверу, где стояли две полуразвалившиеся скамейки — бомжовый ресторанчик.

Света села и, убедившись, что вокруг никого нет, открыла сумочку. Ничего особенного: блокнот, ручка, ни зеркальца, ни пудреницы, ни духов, ни расчески — м-да! А это что? Она вынула плотный пакетик-кирпичик, завернутый в газетную бумагу и перехваченный резинкой. Развернула. Деньги... Сколько их! Пересчитала — десять тысяч!

«Откуда у нее такие деньги? Позавчера она отдала последние Таньке, последние — это точно, было бы больше — больше бы и дала. Они ведь бедно живут, одно слово — Нищенкова. Странно». Света аккуратно завернула деньги в бумагу — так, как они и были завернуты, перехватила резинкой и пошла к Викиному дому.

Распахнулась дверца лифта. «Нищая сука», — прочитала Света. — Это о ней». Над дверью квартиры была та же надпись. «Гонят. Травят. Потому что не такая, не подыгрывает, — и Света снова подумала: — Но откуда у нее такие деньги?»

Дверь открыла сама Вика. Она была еще бледна, но глаза уже смотрели привычно прицельно.

— Привет, — улыбнулась Света. — Ты сумочку забыла. Вот, возьми, — И внимательно посмотрела на Вику.

Та на секунду окаменела, встретила Светин взгляд, но он был мягкий, добрый, и Вика успокоилась:

— Спасибо, ты извини, что не приглашаю.

— Что ты! Тебе лежать надо. Выздоровливай, а я пойду.

«Нищая, нищая, нищая...» — она читала и читала черную надпись на стенке лифта. — Откуда у нее десять тысяч?»

19.

«Как я могла? Как могла? Зачем я взяла с собой эти проклятые деньги? И как могла забыть сумку? Она наверняка посмотрела. А может, нет? Теперь надо и ее... Нет, нет! Надо все спрятать, и не здесь. А где? Все предусмотрела, и вдруг этот проклятый обморок. Даже если Светка видела — она не поймет, не свяжет, ей такое в голову не придет. А если и догадается — доносить не пойдет, я знаю — она не такая. Мы с ней чем-то похожи, хотя очень разные.

Так разные или похожие? А девать все это некуда — пусть здесь и остается, рискну. Надо поменять на «пятисотки» — их легче спрятать. А пистолет?..»

Вика не сказала матери об обмороке, впрочем, они почти уже не общались — так, по необходимости, ничего не значащими фразами о еде и погоде. Это началось после посещения «борова». Вика не вышла к гостю, даже не открыла дверь на приглашение матери, и им обоим стало ясно — их нет друг для друга.

К вечеру совсем полегчало, и Вика решила выйти на улицу.

«Нищая!» — крикнула ей надпись над дверью. «Нищая!» — крикнул лифт. «Нищая!» — вспомнила она Любкин плач. «Нищая!» — кричал ей Славка в лицо. «Нет, теперь я не нищая и не буду ей больше», — подумала Вика.

Слегка пошатывало. Вика медленно, будто опираясь на невидимую палочку, прошла весенним сквериком, где всего четыре дня назад сидела с Юркой и пила пиво. Четыре дня назад — как четыре года, или века. Ажурные тени на столиках стали богаче, они ласково шевелились по красному, пропуская мягкие солнечные пучки. А вокруг подрастала молодая травка, похожая на зеленую шерстку.

Когда она проходила мимо кафе, молоденький официант узнал ее, чуть кивнул и вопросительно-пригласительно выбросил руку в сторону столика с краю. Вика также улыбнулась краешками глаз и согласилась. Она села за тот самый столик.

— Ваше любимое светлое, мадмуазель, — официант снял с красного подноса точеный тяжелый бокал и придвинул к Вике. — И ваш сыр (я помню). Всё — за счет заведения.

У Вики удивленно дернулась бровь, но ей стало так приятно — впервые, вот так, как совсем взрослой. Она благодарно улыбнулась.

— Мадмуазель сегодня не в духе. Ее оставить одну или развлечь беседой? — официантик не уходил и не напрашивался, и это было также необычно и приятно.

— Благодарю вас, я побуду одна.

— Как угодно, — он улыбнулся и исчез.

Пиво и тень освежали, возвращали к жизни. И не только они. Этот молодой человек, такой несовременный, будто из кино пятидесятых! «Мадмуазель, что угодно?» — повторила про себя Вика. — Нет, не нужно об этом. Вчера ты, мадмуазель, двумя точными выстрелами убила беззащитного человека и ограбила. Интересно, что бы



он сказал, узнав об этом? А я знаю — что: он сделал бы удрученно-понимающее лицо и вздохнул: «Бывает, мадмуазель, все на свете бывает. Вы не огорчайтесь». Да-да, так бы и сказал. Станный тип. Так о чем я? Ах, да: я, «нищая» вчера совершила своё первое (те шесть не в счет) убийство. Никто меня не найдет и не вычислит. У меня есть деньги, и это мне все больше нравится. Сейчас мне плохо, но это пройдет. Будет все легче и легче, а еще потом — привычно и совсем легко, надо только немного потерпеть. Я просто учусь убивать. Мне это выгодно.

— Официант!

— Да, мэ, — Он будто стоял рядом.

— У вас есть молоко и какая-нибудь плошка?

— Есть, мэ.

На красном подносе — пакет молока и пластиковая плошка из-под сыра.

— За счет заведения?

— Сегодня — да.

20.

Вика заметила могилку издалека, по толстой палке в изголовье и большому кусту рядом. Вокруг вовсю шевелилась жизнь, и куст жил своим независимым мирком: вот черный, как смоль, как будто одетый в смокинг, жучок съехал на невидимой паутинке на соседнюю веточку; вот желтая, золоченая пчелка жужжит, будто боится опоздать на свидание, и прихорашивается у маленькой лужицы. И весь куст оваян зеленой дымкой, он будто дышит зеленым, свежим воздухом.

«Как я правильно выбрала место», — подумала Вика. Она поставила на могилку плошку, открыла коробку с молоком, налила доверху, а остальное вылила на черный прямоугольник.

Повсюду из земли вылезали желтые маленькие одуванчики. Вика нарвала букетик и положила рядом с плошкой. Потом постояла немного и пошла прочь, шурша прошлогодними листьями, уже подсохшими в эту теплынь.

Из скверика она вышла на улицу и медленно пошла в потоке, глядя в лица. Что переменилось в них со вчерашнего дня? Как утверждает классик, должно перемениться. Вика искала в себе что-то новое к человеческому материалу, но эти люди, как вчера, как год назад, оставались такими же чужими, и только чужими.

Она не испытывала ни страх, ни стыд, ни ненависть — как всегда, просто люди. Она искала внутри себя вину перед ними — и не находила. Нет, ничего не изменилось, просто в этом потоке не стало одной песчинки — маленькой сероглазой песчинки. Ну и что? Вон у той — тоже серые глаза, и у этой — тоже.

Вика вспомнила, как Николай Ксенофонович — школьный историк — рассказывал, что за двадцать пять послевоенных лет наблюдалась потрясающая рождаемость, и вскоре сорокамиллионный дефицит населения страны был закрыт. Даже в голодные 46—47, когда на одного мужика приходилось девять — десять женщин, рождаемость росла. Как будто и не было войны, не было потерь. Что это — чудо? Нет, скорее, закон: материал человеческий восстанавливается неизбежно, так почему не черпать из этой бездонной бочки? Двадцать пять лет и сорок миллионов. Сколько потребуется на восполнение дефицита «сероглазой»? Пара секунд — не больше. Она снова жива, но уже в другом теле. Эта мысль совершенно успокоила Вику, она смотрела на прохожих уже как-то иначе, совсем иначе.

«Куда я иду? А! Ясно: как в банальном детективе — «ноги сами принесли его на место преступления». Что же — вот и оно...

Вика вошла в павильон, где за окошком суетилась сероглазая маленькая женщина с выцветающими глазами и методично отпускала товар. Вика взгляделась в нее — как похожа! И что изменилось вокруг? Ни-че-го. Та же очередь, те же бутылки и пакетики, мороженое и шоколад — как будто и вовсе не было той, «сероглазой», «маленькой».

«Да, кинешь в воду камушек, он — плюх! — и сразу зализывается речка — ровненько, гладенько, как будто и не было никакого «плюха». И на твоём месте сразу кто-то другой».

Но вдруг Вике очень захотелось еще раз, хотя бы еще раз взглянуть в те серые раскосые глаза. Именно ТЕ, только ТЕ, которых уже НЕТ и НЕ БУДЕТ.

Она вышла из очереди и, выбросив невидимую палочку, пошла домой.

21.

Света завтракала, посматривая вприкуску телевизор. Без него завтрак казался скучным и пресным. Со вчерашнего дня в ней неотвязно болела мысль: «Откуда у нее десять тысяч?», и перед глазами стояло черное слово «нищая».



«Подрабатывает? Нет — это как-то бы выплыло. А если и подрабатывает, то на тысячу-полторы. Такие деньги не держатся, они как вода. Как я, под мужиков ходит? Вика?! Ни за что — слишком гордая. Да и от таких глаз любой мужик убежит. А сумма крупная, будто не копила, а сразу получила. И этот обморок. О чем ее спросила Анна? Кажется, смогла бы она, как Раскольников, взять топор и... Да-да, именно после этого. Господи! Неужели?.. А ведь, пожалуй, она смогла бы. Больше — никак. Если предположить, что я права, то все сходится: затравленная горячка, которой нужны деньги и свобода».

Диктор «12 канала» произнес: «А теперь криминальная хроника. Продолжается поиск преступников, совершивших дерзкое ограбление торгового павильона. В результате нападения пострадала продавщица: неизвестный произвел два выстрела из пневматического оружия в глаза жертве и, взяв выручку, скрылся. Предположительно в состав банды входит женщина среднего роста, двадцати пяти — тридцати лет, блондинка, представляющаяся работником СЭС. Всех, кто может сообщить...»

«Господи! Господи! Она! — Света опустила руки на стол, не в силах двинуться. Ей стало страшно. — Она. Но почему блондинка? И — 25 лет? Впрочем, это легко: парик, макияж, тени — сама так делаю. Но почему так страшно — из пистолета, по глазам? Да-да, у нее непременно должен быть пистолет — она на него похожа. Что же делать? Сообщить? Ну уж нет — себе дороже: такая потом выйдет и — нож под сердце. И главное — я не хочу сообщать, не хочу! И не потому что боюсь. Кто бы на меня сообщил...» — Перед глазами Светы предстала картинка: большая квартира с черными кожаными креслами, домашней сауной, огромным телевизором; на столике допитые бутылки коньяка и шампанского, надкушенное яблоко, конфеты. В кресле голый мужчина, он спит, оттопырив нижнюю губу и раскинув ноги. А Светка выдвигает ящики, проверяет карманы, кейс, листает записную книжку, выписывая в блокнотик «нужные» телефоны и адреса. Оставляет себе 100 долларов, прячет их в специальный карманчик в куртке, потом всё — на место, всё — разглядить, Ложится на ковер к ногам мужчины и ждет, когда эта сволочь проснется. Он просыпается, трясет головой, а она ласково целует его и отпаивает из своих рук пивом. Потом — всё остальное, и еще 50 «баксов».

«Она лучше меня, выше. Она под мужика не ляжет за деньги, она ему лучше пулю меж глаз влепит. С такими глазами, как у нее,

не промахнешься. Никуда я не пойду — пусть сами ищут. Мы с ней сестры, да — как сестры. Господи, как страшно: в двух шагах от меня убийца. А ведь она поняла, что я знаю про деньги. Как посмотрела на меня — так и поняла, я это чувствую. Надо поговорить...»

22.

«Свобода и власть, а главное власть! Над всей тварью дрожащей!.. Вот цель!..» — голос то ли Раскольникова, то ли Юрки Павлова плыл над классом.

«Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету... и скажи: «Я убил!» Тогда бог опять тебе жизни pošлет», — читала нараспев Курочкина.

«Кланяться? Кому? Которые тебя и сзади, и спереди, которые пьют, жрут и радуются? Или тем, кто на них работает и ненавидит? Кому еще кланяться? Богу? За что же он меня, тринадцатилетнюю, в ту машину посадил, почему не отвел? Некому кланяться! Права Вика, и этот студентик прав: свобода и власть».

Иволгина едва досидела до конца урока. Никого не спрашивая, собрала вещи и, не отвечая на удивленные вопросы: «Ты куда, Светка?», ушла из школы.

Она шла прямо, будто по невидимой линии, крепко придерживая сумочку. И где-то в животе, в районе солнечного сплетения росла у нее сила, новая сила.

Подъезд, лифт, «нищая», и вот уже Вика стоит перед ней.

Они стояли друг против друга, глаза в глаза, и молчали. Наконец Вика отошла в сторону и сказала: — Заходи.

Света разделась и прошла за Викой в ее комнату.

Фюрер кольнул ее взглядом и, кажется, слегка усмехнувшись, приветствовал: «Хайль!»

Света взглянула на него и все поняла окончательно. Она села на краешек дивана и сказала:

— Вика, она жива, просто больше... не видит.

Вика тяжело глотнула, кивнула и отвернулась к окну:

— Если ты думаешь, что я раскаиваюсь, то ошибаешься. Да, мне тяжело, но я бы все повторила сначала.

— Я знаю. Ты меня не бойся — я никому не скажу. Я сама... Мне семнадцать, а души уже и нет — сгусток, нарыв. Только я не



так, как ты, а по-бабьи. И тоже не раскаиваюсь. Но тебе — тяжелее. Не надо больше... так, не надо. Ты не выдержишь.

— Выдержу.

— Или попадешься.

— Живой — нет.

— А Бог?

— Я сама стала богом. А религия — «искусство в области лжи». «Надо суметь освободиться от морали, чтобы суметь морально жить». Это не я — это Ницше. Я тебе дам почитать.

— А знаешь, я себе костюм дошила. Хочешь, покажу? Только отвернись.

Света кивнула и отвернулась к подоконнику. На нем одиноко стояла «барелина». Света взяла ее и поставила на ладонку. Она стояла на ладони — смешная, веселая, беспомощная и красивая, легко поднявшая свои тоненькие руки в воздушном танце. И Свете почему-то захотелось плакать.

— Всё — смотри.

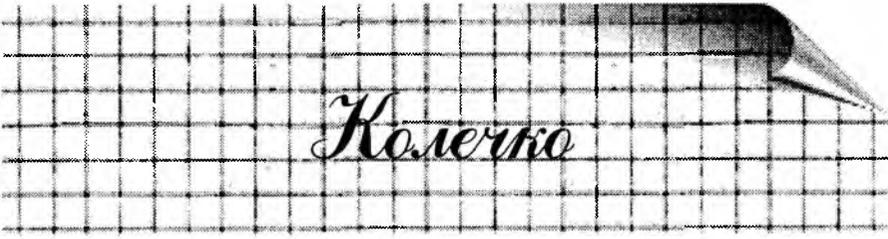
Она обернулась и вскрикнула: перед ней стояла юная фашистка в черном эсэсовском мундире, с хищной пилоткой на голове и тяжелой кобурой на поясе, из которой выглядывала рукоятка пистолета. За Викой, с такой же черной челкой, спадающей на левый глаз, был фюрер. Они вместе смотрели на Свету, ничего не требуя, ни к чему не призывая, просто говоря: «Мы — есть!» И она поняла: это не игра, это только начало.

— Хайль, Света! — Вика резко кинула руку вверх.

И Света неуверенно подняла свою:

— Хайль... Вика!





Колечко

1.

...И в шкатулке тоже не было.

Бабушка Лиза тяжело села на диван, положила на колени свои ватные руки с большими мягкими пальцами и замерла, неподвижно глядя перед собой.

«Где искать-то? — подумала она. — Всё обыскала. И в комодке искала, и по полкам шарила, и в карманах. Хотя чего ему быть в карманах-то?.. И опять же, весь пол замела — может, закатилось куда? Нет, нигде нет. Беда».

Она еще раз взяла шкатулку, аккуратно ссыпала на покрывало дивана все свои богатства: бирюзовое колечко, которое подарил ей муж, когда еще в женихах был; нитку искусственного жемчуга от невестки; маленькую нательную иконку с ликом Богородицы; серебряный крестик... Нет, обручального колечка не было.

Оно давно не налезало на палец бабы Лизы — лет, поди, тридцать. Куда там: пальцы выросли, растолстели то ли от работы, то ли от лет. Но раз-два в год, когда почему-то становилось невмоготу и все падало из рук, баба Лиза шла к себе в комнату, садилась на свой старый диван и протягивала руку к столику, на котором в неизменном порядке вот уже много лет располагались ее самые главные вещи: пузатый будильник, фотокарточка мужа, иконка и шкатулка с резной, потемневшей от времени крышкой. Протягивала, брала шкатулку, открывала, раскладывала перед собой крестик, иконку, одно колечко, другое и долго смотрела на них. И ни о чем таком не думалось и ничего не вспоминалось бабе Лизе в эти минуты, но только когда она выходила из своей комнаты, лицо ее было спокойно, а движения округлы и неспешны. Как будто жила в этих вещах какая-то сила, которая помогала бабе Лизе жить дальше.

А теперь обручального колечка не было.

«Может, Галочка взяла поносить, когда в тот раз приходила? Они такие сейчас быстрые, всё не спросясь. Своих-то пока у нее



нету, а похвастаться, не отстать хочется — вот, наверное, и взяла. Ей оно как раз впору. Спросить, когда придет?.. Ойушки! — баба Лиза всплеснула руками. — Уже скоро два, а у меня еще и обед-то не разогрет. Прибежит девка, а есть и нечего! Сегодня ведь прийти обещалась, сразу после школы». Она торопливо собрала свои драгоценности обратно в шкатулку и, вернув ее на столик, поторопилась в кухню.

...Баба Лиза разогревала в кастрюле приторно-красный, весь пропитанный ароматами борщ, в котором плавали пласточки розоватого сала, и невольно улыбалась тому, как славно он получился: наваристый, кондовый, со всем-всем, что делает борщ не просто «первым блюдом», а царем стола: со сладким перцем, поджаренными помидорами, укропом и петрушкой.

Вот над кастрюлей поднялся вкусный парок, красная поверхность заволновалась, и баба Лиза, притушив газ, закрыла эту благодать крышкой — пусть покипит, чтобы с пылу, с жару.

«Хорошо! — подумала она. — Теперь начистить чесночку, достать сметану, и пусть все ждет. А я — за блины, чтобы горяченькие были к приходу».

Через пять минут, шкворча, на тарелку лег первый блин, за ним второй... пятый. Баба Лиза радовалась, видя, как поднимается стопка, радовалась, вспоминая любимую мамину присказку: «Много — это хорошо». Она даже позабыла о том, о чем мечтала всю эту неделю: как, наконец, придет Галочка, и она будет кормить ее и смотреть, как внучка ест. Пусть только ест, и ничего больше не надо. И совсем ничего, что Галочка не станет рассказывать ей о том, что в школе, кто ее подруги, о кавалере, который, конечно, есть и которого баба Лиза мельком видела в окошке, — о чем-нибудь своем. И ничего, что будет торопиться и не смотреть в глаза, а юлить ими по сторонам, — нет, ничего, ведь она будет есть — и борщ, и блины, и компот из яблок.

Последний блин устало лег сверху, и баба Лиза закрыла стопку большой картонной крышкой из-под торта — пусть попреют, замаслятся.

2.

В замке заворочался, а потом нервно задергался ключ, и через несколько секунд раздался длиннющий, захлебывающийся звонок, будто кнопку хотели вбить в стену.

«О Господи!» — баба Лиза засемила в коридор и открыла дверь.

— Да че он у тебя не отпирает?! — в коридор мимо бабы Лизы вихрем влетела Галка. — Привет, бабуль, давай себя в щеку.

Отбрыкивая ботинки с толстопузыми квадратными подошвами, она одновременно чмокнула бабу Лизу, сдернула куртку и подскочила к зеркалу.

— Угу! А че? Я ничё! — она напухла губки, скокетничала к плечу головку и пустила бесят в глаза: — Нормально! «Ля-ля-ля, три рубля, я хорошенькая бля», — пропела Галка и прыснула, не отрывая от себя глаз: — Бабушка! Я красивая, да?

— Красивая, красивая, пошли уже на кухню — стынет все, только сперва руки помой.

Галка бросила себя в зеркале, подтанцевала к рукомойнику, сполоснула руки и обжамкала их о полотенце с петухами.

— Давай, корми! Чё там у тебя сегодня? Ух, ты! Что-то вкусненькое! — она хватанула горячую крышку кастрюли, обожглась, взвизгнула и, с грохотом бросив крышку на плиту, затанцевала вокруг себя: — Бли-и-ин! Горячо-о-о!

Бабушка покачала головой:

— Галочка, что ты такая сегодня шальная?

— Я нор-маль-на-я! У нас все такие. Вон, даже президент дзюдо занимается и на самолете летает. Хэ-хэ-бам! — Галка сначала бросила через плечо воображаемого противника, потом схватила руками воздух, будто держалась за штурвал самолета: — У-у-у, пиу-пиу-бух! Ладно, всё, давай лопать. — Она разом выдохлась, плюхнулась на табуретку и стала наблюдать, как баба Лиза наливает борщ.

— Э-э, нет — стоп! Мне один черпачок и без гущи. Я и так толстая. О Господи, — Галка показно простонала, — какая я то-олстая. Бока! Видишь, какие бока? А жопа? Жуть!

— Какая жопа? Галочка, у тебя ребра сквозь кофточку просвечивают — куда еще худеть-то? Ну, еще черпачок?

— Нет-нет-нет! И без хлеба.

— А чеснок? Какой же борщ без чеснока?

— Чеснок? Да ты чё? Мне сегодня на дискотеку, ты хочешь, чтобы вокруг меня мертвая зона была? Ну уж нет!

Баба Лиза смирилась, но все-таки умудрилась поддеть черпаком чуток гущи со дна. Она поставила тарелку перед Галкой, а сама села напротив, подперев рукой щеку, и стала смотреть, как ест ее внучка ее борщ. И было это так хорошо. Но какая-то тревожная



мысль мешала бабе Лизе, как будто она забыла что-то и не может или не хочет вспомнить. «Ах, да — колечко... Нет, пусть доест. И куда так торопиться? Вот помню, как мы сживали за столом: не спеша, каждой ложке почет и радость, с уважением, значит. И не только в гостях, но и сами, в дому». Баба Лиза вспомнила, как ел ее Миша, придя из мастерских на обед: ел медленно, долго пережевывая хлеб и будто со значением зачерпывая из тарелки. И когда ел, смотрел на нее, и в глазах у него были спокойствие и благодарность. А она, как теперь вот, сидела напротив и тоже смотрела на него и понимала, что вполне счастлива — что может быть лучше, если твой мужчина ест твой обед в вашем общем доме.

Бабушка качнула головой, прогоняя видение, и глаза ее опечалились.

Галка дочиркала по доньшку тарелки борщ, «экнула» и «дистанционно» чмокнула бабу Лизу.

— Отпад, бабуля! Ну, всё — я побежала.

— Как «побежала»? А блины? А компот?

— Какие блины? С такой-то жопой? Нет-нет, спасибо, я — всё.

Галка вывернулась из-за стола и затанцевала в коридор одеваться. Баба Лиза встала и, качая головой, пошла провожать. Когда Галка уже накинула куртку и стала застегивать ботинки, баба Лиза вспомнила:

— Галя... Ты... это... не знаешь, где мое колечко?

Галка замерла на пару секунд, оставила ботинок недошнурованным и распрямилась. В глазах ее уже не было никакого «тра-ля», и бесята тоже спрятались.

— Какое колечко?

— Ну, такое, тоненькое, золотое, из шкатулки. Я сегодня открыла — а его и нет. — Бабушка пытливо всматривалась в лицо внучки.

— Не знаю. Может, закатилось куда-нибудь? А может, ты положила куда, да и забыла? Ты ведь сама говорила, что у тебя с памятью... того. — Галка смотрела бабе Лизе в глаза, но взгляд ее будто проникал сквозь лицо и юлил по стенке сзади.

— Так ты не знаешь?

— Нет.

— Я все уже обыскала... Оно месяц назад лежало там, я помню. А... кроме тебя, у меня... никого. Может, ты взяла поносить, да забыла мне сказать?

Галкино лицо сделалось чужим, каменным, как перед врагом.

- Не, я не брала.
- Не брала?
- Нет.

Они молчали. «Кап-кап» — на кухне тек кран, и его было слышно даже здесь, в прихожей. Все звуки как-то разбежались, спрятались, оставляя и Галке, и бабе Лизе безвоздушную тишину. И Время вдруг растянуло эти секунды в минуты, часы — во что-то длинное, неестественное, не означенное движением стрелок. Ничто не бывает разрушительнее такого молчания.

— Ну... я пошла, — Галка вымученно улыбнулась.

Баба Лиза кивнула, глядя на Галкин незашнурованный ботинок:

- До свидания. Приходи еще.
- Угу.

И дверь захлопнулась.

3.

«Не беда — пусть поносит, что ему томиться в коробке. А так оно на виду будет, на людях, будто заново родилось. А я-то, дура старая, и как сама не догадалась подарить. Спрятала — как похоронила. Что мне с ним делать — на палец не надеть, разве что в гроб с собой взять, так к чему мне оно там? Пусть поносит: и обо мне память останется, и о Мише. Сколько он работал, чтобы купить колечки-то те! Годы-то какие были — ни о каком золоте и не мечтали. А он расстарался, да так и не сказал, каким трудом достались они — скромный был, молчаливый. Никак не ждала я тогда, в ЗАГСе, когда расписывались, что та женщина, которая у них вроде как главная, вдруг скажет: «А теперь обменяйтесь кольцами». И подушечку красную протягивает, а на ней два колечка. А по мне будто тепло такое пошло — так приятно было. А Миша хитрый: какой пальчик у меня, не знал — вот и зазвал в магазин перед свадьбой. «Хочу, — говорит, — тебе колечко подарить». Вот то, бирюзовое, и выбрали. Он размер-то и запомнил. Да... Ничего, пусть поносит, теперь-то уж что... Только бы не утерять!»

Баба Лиза сидела на кухне. Перед ней стояла тарелка, из которой Галка ела борщ, и стопка остывших блинов. Глянец с них сошел, они потускнели и даже на вид были невкусными. Кастрюля с борщом была еще теплой, но божественный запах как-то подрастерялся, уплыл в отдушину.



«Самой что ли поесть? — подумала баба Лиза. — Вот сколько наготовлено, хоть гостей принимай». Но не елось — в груди сгустилось что-то тяжелое, чужое, а все вокруг: и тканая скатерть на столе, и знакомые деревья за окном, и плита, и борщ, и ее комната — вдруг потеряли значимость, отстранились от бабы Лизы. Она встала, взяла веник, чтобы движением прогнать эту тоску, но не смогла — поставила его обратно в угол, прошла в свою комнату, легла на диван и стала просто смотреть перед собой. Она не понимала и не могла понять, но чуяла, что закончилось что-то в ее жизни. Только что было, а теперь закончилось, а новое начинать уже поздно.

...Галка спускалась по лестнице, так и не замечая развязанных шнурков, которые нервно хлестали по ботинкам. В голове царил шурум-бурум. Она чувствовала себя примерно так, как в первом классе, когда ее схватили за руку в тот миг, когда она вытаскивала шоколадку из Сашкиного рюкзака. А ей **нужна** была эта шоколадка, и значит, она **имела право** ее взять. Все прочее — несущественно. Сжавшись маленьким пойманным рысенком, Галка стояла между двумя учительницами, которые педагогически правильными голосами что-то выговаривали ей. Но она не вникала в суть этих слов, они кружили над ней враждебным, злым роем, от которого хотелось отмахнуться. Единственно, что волновало и обижало Галку в тот миг — это то, что у нее отобрали шоколадку. Почему отобрали — ведь она ее хотела?!

И сейчас злой поток слов хлестал Галку изнутри:

Дура старая — заметила-таки. И чего ей в голову стукнуло кольца этого хватиться — ни разу не видела, чтобы она его в руках держала. Зачем оно ей? На память? На какую еще «память»? Живет одна, нигде не бывает, никто к ней не ходит, скучная, всё со своими правильностями лезет: так надо, так не надо, девочка должна быть скромной, вечером дома быть, папу с мамой любить, уроки делать. Неужели раньше так и жили? Бред! Другое дело — сейчас: папы-мамы прежде всего себя любят, а потом уже то, что от этой любви. «Вот тебе, Галочка, двести рублей на неделю, ты уже взрослая, сама себе все купишь. И, милая, не забудь собачку выгулять, мусор вынести, ковер пропылесосить». Слава богу, что не 50 розовых кустов посадить и мешок мака перебрать. Двести на неделю... В школе обеды — деньги, на автобус — деньги. Простенькие духи и те двести стоят. А диски? А на тусовку? Хорошо еще, что на шмотки раскошеляются, а на остальное один ответ: «Денег нет». Раз взяли детей рожать, значит, должны быть деньги.

...Колечко. Что мне, на аборт к маменьке нужно было в ножки бросаться: «Ах, милая, у меня такая проблема — залетела вот, не дашь ли денежек, а то мой парень пока не работает, ему с этим не справиться». Да она бы!.. М-да, она бы... Дать-то, конечно же, дала бы, да потом вопросов не оберешься, и на короткий поводок садиться не охота. Вот колечко в самый раз и оказалось.

А вообще — после семидесяти нужно в принудительном порядке выселять из территории жизни, где люди руками-ногами и всем другим шевелят. Понасидели квартиры, как крысы. Одна — и в двух комнатах! Зачем они ей? Не много ли? Тут живой человек, и не знаешь, где с пацаном стрелку забить, где с девчонками просто так поуютничать, а у нее пятьдесят квадратных метров — и мертвая тишина. Не хата, а склеп. И она в нем как труп. А тут — колечко. Что — колечко? Мне бы квартиру ее... А ведь поняла, что я взяла, поняла...»

4.

— Галь, а Галь, тут без тебя бабушка звонила, спрашивала, как ты, почему не заходишь. — Эльвира Владимировна выглянула из своей комнаты, услышав, что Галка пришла из школы. — Ты бы позвонила или зашла к ней, а то голос у нее какой-то тихий — уж не больна ли. Мне некогда — сама знаешь.

Галка бросила на ходу: «Угу», прошла к себе и, закрыв плотно дверь, не раздеваясь, рухнула на кровать.

Ничего не клеилось. Ни-че-го. Вот уже почти месяц, как раз с того дня, когда она, уйдя от бабы Лизы, долго бродила по улицам, забредая в магазины и магазинчики, лавочки, кафешки — пытаюсь прогнать нехорошее чувство то ли злости, то ли обиды, то ли вины — не поймешь, всё в одном флаконе. Но ничего не отвлекало. Витрины — те же, что и вчера, полные всего такого, что хочется купить сразу, не зная зачем, — они почему-то были теперь чужими; народец в кафешках раздражал, а не «прикалывал», как еще недавно; уроки в школе казались тупой обязателькой; в телевизоре или радостно стреляли друг в друга, или решали какие-то глупые, ненужные проблемы. Да, все раздражало и не клеилось. Или наоборот: не клеилось и поэтому раздражало.

На уроке литературы проходили Бунина, «Темные аллеи». Татьяна Владимировна предложила классу написать сочинение, самостоятельно сформулировав тему. Галка подняла руку:



— Татьяна Владимировна, такая тема возможна: «Образ лирической стервы в творчестве Бунина»?

Класс хором фыркнул, а Татьяна Владимировна пожалала плечами: «Что ж, напиши, если тебе это ближе», на что «фырк» пронесся вторично, уже в ее, Галки, адрес.

Пришлось писать, и писалось как-то особенно зло, будто Галке чем-то насолили эти бунинские девчонки, которые и хотели-то от жизни только одного: чтобы их от души любили.

«Их любовь похожа на любовь юных самок, которые еще не вполне поняли, чего хочет их душа, но вполне поняли, чего хочет их тело», — такой вывод был неправильным, и Галка чувствовала это, но эта неправильность сейчас была ей нужнее, чем правильность — в ней была та окончательность, категоричность, которых сама Галка в себе не находила. Да, пусть неправильно, но так считаю Я — и точка!» Но в действительности точка оказывалась многоточием, и Галка, как и этот знак препинания, не находила себе места: забросила ночные дискотеки, нахамила Юрке, обозвав его «безмозглым сперматозавром»; бросила, как пощечину, отцу: «Скряга!»; перестала подходить к телефону. После школы она ложилась на кровать, включала что-нибудь вроде Мариконе или Иглесиаса — без русских слов, непонятное и надрывное — и лежала часами, ни о чем не думая и тупо смотря в потолок.

Вот и сейчас Галка лежала — в джинсах, теплой кофте, швырнув пакет со школьным вздором в угол.

«И голос у нее какой-то тихий...» — как эхо, прозвучало в ней. Галке вспомнился борщ, нетронутые блины, компот, бабушкины глаза. И почему-то вспомнилось, как Женька, ее подруга — рассказывала, как возила в ветеринарку старого Роя — большую немецкую овчарку. Он был болен, ничего не видел, лишь слабо двигал хвостом, когда унюхивал своих. И всем мешал. Его увезли и вернулись без него. А сейчас на стене в Женькиной комнате висят медали Роя — они ему уже не нужны. «И бабушке колечко тоже не нужно», — как-то само собой сложилось в Галке.

Она резко встала с кровати, открыла дверь и прошла к матери.

Эльвира Владимировна, как всегда, сидела за бумагами, что-то отмечая в них красной ручкой. Увидев дочь, она подняла голову от документов и вопросительно посмотрела на Галку:

— Что ты? Что-нибудь случилось — ты вся бледная?

— Случилось. Мама срочно нужны пятьсот рублей. У меня были проблемы. Я... аборт делала. Так вот.

— Господи... — качнулась Эльвира Владимировна. — Когда?

— Недавно. Все хорошо. Мне нужны пятьсот рублей.

— Почему ты ничего не сказала? — Эльвира Владимировна смотрела на Галку так, как будто не знала, как теперь смотреть на дочь: взгляд матери потерялся, стал неопределенным, как будто командиру побежденной армии сказали, что он теперь не командир, а — так.

— Почему ты не сказала? — повторила она.

— Не хотела тебя волновать, у тебя и так (Галка кивнула на стол) дел по горло, а тут еще и я... Сейчас все хорошо, все прошло, я здорова. Мне нужны пятьсот рублей, сейчас.

Эльвира Владимировна открыла ящик стола, достала две «пяти-сотки» и протянула Галке:

— Возьми тысячу. Может, больше нужно?

Галка взяла деньги и через пару минут вышла из дома.

5.

«Только бы не продали, только бы не продали», — слова эти бились в Галке, когда она, ныряя между прохожими, спешила в ювелирную лавочку, куда за полцены, безо всяких документов «толкнула» колечко. Она плохо помнила, какое оно, в памяти осталось только то, что колечко легко надевалось на безымянный палец, а для остальных было немного свободно. И еще то, что на нем есть маленькая царапина — вот и все.

Ювелирка была открыта, за длинной стойкой сидел тот же спокойный господин с толстой маленькой лупой на правом глазу. В отсутствии какой-либо суетливости его движений, в доброжелательной иронии взгляда, которыми он встретил Галку, вполне угадывалась национальность.

— Вот, я... — Галка, раскрасневшись, облокотилась на стойку и вся подалась вперед. Слова смешались в ее голове, она не знала, с чего начать.

Господин улыбнулся одними глазами:

— Мадмуазель угодно еще что-либо продать, да?

Галка удивилась:

— Вы меня помните?

— Я все помню.

— Значит, вы помните, как я вам колечко продавала?

— Помню.

— А оно сейчас у вас? Его еще не купили?



— У меня.

— А можно... — сердечко Галкино закатилось, — можно его обратно купить?

Странное чувство пронзило ее, такое было только однажды — когда она признавалась в любви к Юрке. Это было давно, они еще и не встречались по-настоящему, а только гуляли вместе да тусовались со своими. Какая там любовь? Галка вполне подчинилась общему правилу, что слово это сейчас чужое, несовременное, оно из бразильских сериалов и папиной эпохи. «А ты ничё!» — этого вполне хватало: это было и признанием, и приглашением. А «я тебя люблю» — старомодно и слишком обязывающе. А кому сейчас хочется быть обязанным? Никому. Но услышать это хотелось. Когда они с Юркой как-то раз гуляли по набережной, Галка вдруг поняла, что ей надо это сказать: она сжалась, сделалась чуть ли не каменной и вдруг сказала: «Юра, я тебя люблю». А потом были полминуты, которые не забыть — как перед вынесением приговора: казнить или помиловать.

Так и теперь: можно — нельзя.

— Можно, — господин снова улыбнулся глазами, как будто все знал, — отчего же нельзя, можно. И мадмуазель это будет стоить всего пятьсот рублей.

— Да-да, у меня есть, — засуетилась Галка и начала быстро расстегивать сумочку, — я покупаю.

Господин, не вставая с места, выдвинул из стола ящичек, в котором аккуратными рядками — каждое в особой ячейке — лежали кольца: маленькие и «гайки», с камушками и сердечками — много колец.

— Вот они здесь все. Эх, мадмуазель, если бы эти кольца умели говорить, я мог бы писать романы.

— Романы?

— Да-да, романы. И все они были бы или грустные, или ужасные. А вот и ваш роман. — Он достал то самое колечко и положил на ладонь.

Галка зашпешила: — Давайте-давайте, вот деньги.

Господин усмехнулся:

— Нет, мадмуазель, денег я с вас не возьму — в этом году вы единственная, кто так спешит вернуть свое прошлое. Все остальные — в будущем, и это, мадмуазель, грустно.

Он положил колечко на стойку, заглянул Галке в глаза, задвинул ящичек и снова нацепил лупу, чтобы через нее прочесть то, что было написано на этих колечках, сережках и брошках — тайны бед, страстей, предательств, любви и жертвенности.

6.

Галка поднялась на третий этаж, достала ключ и, будто преодолевая что-то в себе, повернула его в замке. Дверь открылась. Свет в прихожей не горел. Радио молчало. Было тихо.

— Бабушка, это я. Где ты?

Никто не ответил.

Галка сняла ботинки, поставила их рядышком и прошла в «маленькую» бабушкину комнату.

Баба Лиза прямо лежала на диване. Галка нагнулась над ней и прислушалась. Ее лица коснулось еле теплое дыхание — баба Лиза спала. Щеки ее, недавно пухлые, мягкие, теперь опали, покрылись мелкой сеткой морщинок и пожелтели; нос стал острее; только руки были теми же — бабушкиными, большими, добрыми.

«Пусть спит», — подумала Галка. Она взяла со столика шкатулку, открыла и положила колечко в уголок, прикрыв его маленькой иконкой.

...На улице было свежо и ясно. Легкий морозец пощипывал щеки, и дышалось легко и свободно. Галка пошла домой пешком, через весь город — ей не хотелось стоять на остановке среди подмерзших людей с напряженными, озабоченными лицами, а потом ехать с ними в замкнутом пространстве — хотелось простора, воздуха, движения. Она шла, легко и неспешно, глядя сквозь прохожих и дома, и за спиной у нее как будто выросли крылья. Отчего? Она не знала и не хотела знать — просто теперь можно было жить дальше.

7.

Бабушка умерла через неделю. Хоронили ее втроем: Эльвира Владимировна, Борис Петрович и Галка. Они помолчали над холмиком свежей земли и ушли жить дальше.

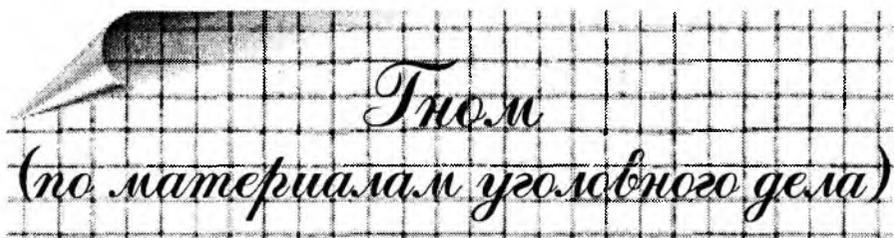
...Галка сидела в кухне в бабушкином доме. На столе перед ней была шкатулка, которую она никак не решалась открыть. На плите стояла кастрюля с выглядывающим из-под крышки черпаком. Та самая, в которой недавно варился борщ.

Галка придвинула к себе шкатулку, открыла. Всё то же: крестик, иконка, нитка жемчуга, колечко. Под колечком — сложенный четверо листок из записной книжки. Галка развернула его.

«Моей внучке Галочке от бабушки и дедушки Миши. Носи на здоровье».

Тяжелый комок оторвался от сердца, подступил к горлу, и Галкины глаза превратились в слезы.





Гном

(по материалам уголовного дела)

1.

Мишка был недоростком. В свои четырнадцать лет он едва перевалил за 150 сантиметров, а вот дальше — никак не получалось у его крепкого, угловатого тела. Оно не росло, а казалось, матерело, свиваясь в узлы мышц и сухожилий. Широкие, «лопатами» его ладони были непомерно велики, и пальцы плотными сосисками вырастали из них. Голова тяжелой тыквой выпирала из плеч, крепясь к туловищу на некоем подобии шеи. Когда нужно было оглянуться, Мишка поворачивался всем корпусом, кося свои маленькие и жгучие, как уголочки, глазки, в которых на самом дне шевелилась какая-то тяжелая сила.

В школе Мишку не то чтобы не любили, а избегали и побаивались, за глаза называя его «гномом». Когда это прозвище долетало до Мишки («спроси у гнома», «а вот и гном», «не хочу сидеть с гномом»), он вздрагивал и еще глубже втягивал голову в плечи, густясь телом.

В седьмом классе, когда ребята, а особенно девчонки, вдруг стали «вытягиваться» буквально на глазах, Мишка впервые услышал о себе — «гном». Тогда это резануло по сердцу, и он, выбросив себя вперед, кинулся на обидчика. Они сцепились с Сережкой Киктевым посреди рекреации, а вокруг мгновенно образовалось кольцо зрителей, которые радостно подбадривали: «Серега, давай его! Врежь ему! У-у-у!!!» За Мишку никто не болел. Никто. Своим обиженным детским сердцем он еще не мог понять, что за НЕкрасивое не болеют уже потому, что оно не-красивое.

С разбитым носом, взлохмаченный и растерзанный, лежал он на замызанном школьном полу и защищал лицо от ударов. И в горле его скопился и выплеснулся странный звук: то ли рык, то ли вой. Это был такой странный, нечеловеческий звук, что Сережка ослабил хватку. Их разняли, но этот звук навсегда поселился в Мишке и нет-нет, да и всполыхался в горле — гортанно и жутко.

...А через полгода бросаться на сверстников с кулаками стало и вовсе пустым делом: как говорится, разные весовые категории. И Мишка смирился — гном так гном. После уроков он шел в свой двор и собирал вокруг себя ребятню 8—10 лет, гонял с ними мяч или шайбу, играл в фишки или мотался туда-сюда на «тарзанке». Его слушали и слушались, и никто не называл его «гномом».

2.

Мишка сидел на кухне и зубрил стих. Но стих не зубрился. Он был сам по себе, Мишка — сам.

*Смело топчу я ногою
Вешнюю леса красу...*

«...Смело топчу я... смелотопчуя... лесокрасу...» — звучало в Мишке. Он представил себе этого «смелотопчуя»: тот был большой, лохматый и наглый, как Витька Лоханов, и пер напролом через лес, валя деревья и давя «лесокрасу», которая была зелененькая и робкая.

«Тьфу! — захлопнул учебник Мишка и уставился в окно, за которым было белым-бело от выпавшего утром снега. — Придумали тоже — стихи! Почему просто не сказать: «Я иду по лесу, и мне хорошо. А тут на тебе — смелотопчуй какой-то».

Но учить было надо. Мишка вспомнил, как не выучил стих с месяц назад и молча горбатился у доски с опущенной головой, пока Анна Викторовна пыталась вытянуть из него хоть какие-то строчки. Она вытягивала, а класс ржал, как будто ему показывали Петросяна. Наконец Анна Викторовна обреченно вздохнула и сказала: «Садись, Миша. И что из тебя получится — не знаю», — на что Петька Люсин, который с первого класса звался Люсяпетькиным, радостно ответил за Мишку: «А он клал бы искать будет или милостыню просить — ему-то уж подадут».

Ну и что, что Анна Викторовна выгнала Люсяпетьку из класса, ну и что? — все равно все смеялись. Все. А потом вышла отвечать Вера. Ах, как она читала! Мишка, с еще горящими от стыда ушами, слушал ее и все больше понимал, что он «гном»: она, читая, подыгрывала себе рукой, будто помогая словам красиво развеситься в воздухе, и делала почти незаметные, но красивые движения всем телом. Нет, она не читала стих — она была им.

«...Смело топчу я... Смело...» Мишка снова открыл учебник и, напрягшись так, что взбугрились мышцы на шее, вгрызся в «лесотопчуя».



3.

В дверном замке шевельнулся ключ, клацнул, нервно подергался, и вот уже Мишка услышал из прихожей причитания матери:

— Опять грязиза! Натопано! Брошено! Мишка! Иди — забирай!»

Он бросил книжку и рванул на голос.

— На вот, запихай в холодильник. Сам пока не ешь — это на вечер. Понял? — мать, сволоксившая с себя пальтецо, сунула Мишке пакет с продуктами.

— Понял-понял! — он схватил пакет, отволокнул его на кухню и начал разбирать. Котлеты. Молоко. Макароны. Булка. Как вчера, как позавчера: котлеты — молоко — макароны — булка.

Когда Мишка сам ходил в магазин, то видел, что на свете есть и колбасы, которые разнокалиберными снарядами лежат на витрине, и сыр, и рыба, и много всякого разного, но все это было как натюрморт: увидеть можно, а вот съесть — никак. Мишка так и воспринимал это обилие — как натюрморт. А еда настоящая — которая внутрь, — это котлеты, молоко, макароны, булка. Прочее было излишеством, или везением: когда к матери приходил друг и от него на утро оставался кусок торта, или банан, или конфеты. Или когда наступала осень, и Мишка вдоволь наедался всякой зеленки. А так: котлеты, молоко, булка...

Мать разделась, прошла в кухню и сразу, открыв холодильник, достала бутылку «Застолья». Глаза ее оживились и чуть замаслились:

— Глоточек радости! Глоточек радости! Так, Мишка?

Она налила себе стопку водки, выпила и на миг замерла.

Мишка знал этот миг: глаза матери чуть вспыхивали, как будто она переселялась из мира, где есть работа, забота и другая гадость, в мир, где этой гадости нет, а есть что-то легкое, приятное. И почти сразу руки матери становились другими: не тяжелыми и скучными, а плавными и немного нервными. Она начинала порхать по кухне, говорить всякую ерунду — про Нюрку, которая вяжет свитер на работе, о том, что вон сколько снега навалило. Ее слова повисали в воздухе и плавно утекали в форточку. Потом мать выпивала вторую стопку, и Мишка знал, что сейчас она заговорит о ценах — какие они, сволочи, большие и как растут на глазах; о том, что начальник ее — гад; что в таком пальто, как у нее, только бутылки по помойкам собирать. В глазах матери появлялись стальной блеск и злость,

и после третьей стопки (и это знал Мишка) она будет вспоминать его отца: «Подонки! Настрогал вот и бросил! И — ни копейки. Все мужики — сволочи! Все!»

— Мам, я пойду на улицу, там ребята... — попросил Мишка, и мать, вздрогнув, посмотрела на него стеклянными глазами и, словно очнувшись, покивала головой: — Да, да — иди... Только ненадолго.

4.

Снега в этом году и впрямь навалило, он был во дворе главным, бугрясь сугробами и свисая козырьками с крыш домов. Навесы подъездов ощерились зубами сосуллек, из которых одна всегда почему-то была самая большая и злая. Тротуары превратились в узенькие тропинки, петляющие меж снежных стен. Дорожки возле домов представляли собой грязное крошево из песка, который щедро сыпали дворники, и мелких льдинок, которыми природа отбивалась от них. Эта война шла вяло и нескончаемо. Под ногами было бугристо, грязно, и шайба, которую пытались гонять мальчишки, сходила с ума, то скользнув по метру чистого ледка, то, подпрыгнув, налетая на песчаную подстилку. Это раздражало.

— По фиг! — крикнул Витька из первого подъезда — крепколюбий парень из девятого класса. — Это не игра. Пошли отсюда.

Ребята, и Мишка в том числе, со своей облезлой «ленинградской» образца 1978 года, пошли за Витькой к лавочке-трепалочке, на которой попка к попке умещалось человек семь средней упитанности, а то и все восемь. Мишка любил, когда восемь. Восемь даже лучше: сжатый до отказа справа и слева, он чувствовал себя частью какого-то большого существа, частью нужной, необходимой. Так спокойно было сидеть, поколупывая клюшкой снег, лоя вкусный дымок Витькиной сигареты, и слушать трепок ребят — о чем ни попадя. Санька-кегля любил трепаться о машинах, особенно об иномарках; Валька — о компьютерных играх; Витька больше молчал, осматривая с ног до головы каждую молодуху, идущую мимо.

— Блин! — ругнулся Витька, когда все восемь слились в одно. — Козлы дворники! Все козлы! Козлее не бывает!

— Ага... — по цепочке пробежал маток всеобщего согласия. — Козлы!

— И все-таки самые большие козлы — учителя. — Витька глупо затянулся, подержал внутри дымок и короткими «пыхами» выдул его. — Делать им нечего. На кой мне этот английский? И



алгебра? И литература? Вон — отец с матерью долдонят: «Учись, учись!», а сами ничего из школы и не помнят — ненужным оказалось. Зачем эта фигня, все равно я на завод пойду, а там эти физики-химии на хрен не нужны — время только зря тратим. Козлы...

— Козлы, — подхватил Санька. — Вон Степка из 11-А в хоккее играет — кажись в юношеской сборной «СеверСтали», так он в школе от силы неделю в месяц бывает. А уже и за границу ездил, и сам прикинут классно — джинсы и все такое. На кой ему школа — у него и так все есть, и еще сколько будет.

— Да-да... — протянул Мишка. — У него будет... Повезло козлу.

— Повезло, — сказал Валька. — Тут бы хоть какую-нибудь работенку надыбать. Газеты продавать — неохота: много их, продавальщиков, по городу шляется и без меня, да и пока «сотню» сломишь — ноги до жопы стопчешь. Нехота. А у предков ни шиша не выпросишь. Хотел вчера на каток пойти, подъехал к матери, говорю: «Дай пятьдесят — покататься». Какое там — хай подняла: «Я за этот полтинник полдня горбатуюсь!» Так и не дала. Козлы...

— Это точно: предки — козлы, сами не живут и нам не дают. Только пахать и умеют. А с пахоты — или на диван, или на кухню — похабать чего. А так чтобы кайф поймать — они и не знают, что это такое, пока не нажрутся. — Витька стрекнул чинарик вдогонку мужику, который, пошатываясь, удалялся от скамеечки, и длинно сплюнул ему вслед.

— А к нам вчера в класс собака забежала — вот умора была! — радостно, не в тему затараторил Лешка-снегоешка. — Галина как увидела ее — как заверещит: «Чья собака? Выведите ее!», а собака по рядам бегаёт и гавкает. Хана уроку — здорово!

— Собака — что! Тут к нам молодая училка недавно пришла. Мордочка серьезная, а коленки дрожат. Ну, мы ей для начала дохлого мышонка на доске рядом с тряпкой пристроили. Училке чей-то там пописать захотелось, а доска, как всегда, грязная. Она вместо тряпки хватъ мышонка — во визгу-то было! Умора. А на следующий день на указку презерватив натянули. Увидала — как помидор стала. Сбежит через пару недель как миленькая, — хохотнул Валька.

— Хоть бы они все сбежали — и из школы, и из дома, — процедил сквозь зубы Витька.

Мишке вспомнилась мама. Нет, он не хотел, чтобы она «сбежала» — тогда он останется совсем один. А одному плохо. Пусть лучше ругается, даже пусть выпивает, только пусть будет.

Разговор как-то подумер, рассыпался. Стало совсем темно. Над тополями устало залетали вороны, покаркивая и готовясь на ночлег. Вот они совсем облепили верхушки деревьев, ворочаясь на ветках и поругиваясь. В желтых квадратах окон зашевелились силуэты жильцов. Из форточки на первом этаже потянуло жаренной с луком картошкой. Золотистый запашок ее завис над скамеечкой — и разговор умер окончательно.

— Я пошел. Жрать пора, — Витька поднялся, перекинул клюшку в левую руку и сбил с куртки снежок. — Все — пока.

И трепалочка опустела.

5.

Мишка лежал в кровати с открытыми глазами и смотрел в темноту, которая была пустая-препустая. Мать занавешивала окна на ночь плотными коричневыми шторами и, сколько ни вглядывайся, ни один предмет не выплывал из темноты. Как-то Мишка робко попросил: «Мам, а давай сегодня оставим окошки голыми, а то света мало», — на что мать категорически замотала головой: «Нет! Это *их* свет, пускай *они* им и живут и давятся, а я хоть ночью забуду, что они есть», — и задернула шторы.

И сегодня комната была совершенно слепой.

Мишка давно научился жить внутри себя. Там — внутри — было совсем не скучно, надо было лишь забыть, что вокруг — скучная темнота, и начать представлять. Новый мир не сразу возникал в Мишке, он населялся постепенно, и населять его можно было тем, чем хочется. А хотелось по-разному. Вчера Мишка строил себе дом. Этот дом был на острове. А остров, кажется, на Рыбинском море. Когда-то давно Мишка ездил на рыбалку с дядей Толей и увидел остров с песчаным берегом и соснами. Там было так тихо и покойно. Серые волнышки накатывались на берег, по которому гуляли чайки; в просветах между соснами виднелось большое здание, и в нем одиноко горело окно на втором этаже. И — никого. А далеко-далеко на горизонте маячили холмистые дымные контуры Череповца. Почему-то это запало в Мишкину память.

И сейчас перед ним был этот остров. Мишка напрягся — и на нем стал строиться двухэтажный дом с высокой башенкой наверху. Когда дом построился, Мишка вошел внутрь. На первом этаже будет жить мама. Как ни пытался Мишка наметать обстановку в ее комнатах, — ничего путного не получалось, представлялся только дя-



ван и маленький холодильник. Зато шторы были самое то — тяжелые, темно-каштановые, светоотражающие. «Ну и ладно! — подумал Мишка. — Пусть живет. Что ей еще нужно?»

Чтобы как-то приукрасить мамино пребывание здесь, он решил напредставлять в холодильнике всего такого! такого!.. — как на витрине магазина. Вот уже перед ним стали сгущаться сыры, колбасы, сгустился торт «Паутинка» — большой, сахаристый — и цветастые пачки сока «Джей-сеवन», и еще нагустилось что-то вкусное, чего Мишка пока не мог различить. Он напрягся сильнее, пытаясь разместить всю эту благодать в холодильнике, но вдруг еда стала таять, исчезать. «Стой! — закричал внутри себя Мишка. — Стой же!» Он напрягся так сильно, что аж зубы сжал. Но «Паутинка» превратилась в бесформенную цветастую дымку и... растаяла. А пока Мишка боролся с ней, сами собой исчезли сыры и колбасы. А в холодильнике остались лишь бутылка водки, молоко, котлеты и макароны. Их и удерживать было не нужно, такими всамделешными были они перед Мишкой. Он даже видел надвинченную пробку и оторванный уголок пакета с макаронами. «Ладно, — успокоил себя он. — И с этим жить можно».

А себе он представил велосипед (велосипед хорошо представлялся и никуда не исчезал), джинсы, как у Витьки, и «крутую» бейсболку с гнутым козырьком. Мишка садился на велосипед и гонял по острову, на котором вдруг появились ребята со двора и из школы. Они не называли его «гномом», а уважительно смотрели на едущего Мишку, на его классную «пантеру» и, кажется, завидовали. Это было так приятно.

Однажды Мишка попробовал представить себя высоким и стройным. Но не получилось. Совсем не получилось. От напряжения и досады Мишка почувствовал, что его стало больше в низу живота — там скопилось что-то тяжелое, густое и злое, как та ярость, которую он чувствовал на уроках физкультуры, наблюдая за быстрыми и ловкими сверстниками. Они легко и естественно делали то, что хотел делать и он: ловко вели баскетбольный мяч, прыгали в длину на пять метров и много еще чего. Они могли, а он не мог, и это сводило мышцы бессильной злобой, и в горле клокотал тот самый рык — глухой и страшный.

Мишка рванул с себя одеяло, пробрался на ощупь сквозь темноту в туалет и через три минуты излился, выплеснув из себя густую, пахучую ярость.

Полегчало сразу, и вскоре Мишка уже спал окруженный со всех сторон темнотой.

6.

«Смело топчу я ногою...»

...Мишка никак не мог дожидаться, когда отчитают стих все ребята до Веры. Одни не читали, а будто неслись по лесу напролом, стараясь скорее избавиться от стиха и получить какую-нибудь оценку; другие, особенно толстая Шура, читали так, будто собирали грибы, поднимая каждое слово и заглядывая под него. От такого чтения сразу тяжелели веки и хотелось спать. Третьи не читали, а отвечали урок — будто решали математическую задачку. «Им бы еще указку в руку, чтобы потыкали, где «сорван последний цветок» (это вот тут, видите) или «собран последний орех» (а это — вот тут), — зло подумал Мишка об Олеге, который третий раз подряд занимал первое место на олимпиаде по математике. — Читает как считает».

Но вот вышла Вера. Она сразу поймала стих в руку — как хлыстик, и красиво пошла с ним по лесу, чуть взбивая кучки желто-красной листвы. Слова-листки легко взлетали, зависали в воздухе и красиво опускались к ногам Мишки. Он даже чуял запах осенней листвы — грибной и влажный.

Но Вера дочитала, и сразу стало скучно, будто украли что-то. Последний листочек повисел в воздухе и плавно лег на парту.

Анна Викторовна только вздохнула и как-то странно посмотрела на Веру, будто перед ней отвечал урок сам Майков, или Пушкин, или еще кто-то не отсюда. Она помолчала и, грустно усмехнувшись, еле кивнула: «Садись, Вера. Хорошо», и, кажется, даже забыла поставить в журнал оценку. Да и не нужна была никакая оценка, и все понимали это. А пока Вера шла к своей парте, легкая, как будто из другого мира, — шла, чуть улыбаясь, будто зная — да, я такая! — в классе стояла тишина, как в том самом осеннем лесу, по которому только что шла она.

...Мишка читал последним. Он знал стих так, что если бы, кажется, его попросили прочитать наоборот от последнего до первого слова, — прочел бы. Чувствуя, как много стало у него сердца, он добрел, нет — довел себя до доски и начал...

Это было не чтение — это была война. Мишка старался легко сорвать «последний орех», а вместо этого голосом выдирает его вмес-



те с веткой; и мох под ногами Мишки грузно проседал и чавкал. Да, это была война — Мишка объявил ее стиху и дрался самым честным образом. И все: и ребята, и Анна Викторовна — затихли: они поняли это. И вот Мишка дочитал...

— Х- х!.. — выждав секунду, бросил Люсяпетькин. — Влюбился. Гном!

Класс ахнул: Люсяпетькин сказал то, что поняли все, но говорить это было нельзя, невозможно. А он сказал.

Мишка почувствовал, как тяжелая густая волна накатывается на него, и прежде чем Анна Викторовна успела что-нибудь предпринять, быстро подошел к Петьке и коротко вцепился в его горло своими узловатыми руками.

— Псих! — Петька с трудом отодрал Мишкины руки и отпихнул его от себя. Сзади сразу подскочили пришедшие в себя ребята: Толик, Юрка и Стас — и обхватили Мишку, не пуская к Петьке.

— Убью! — гортанно ревел Мишка.

И тогда случилось то, чего никто не ожидал: Вера поднялась из-за парты и молча стала между Петькой и Мишкой, спиной — к Петьке, лицом — к Мишке.

Тишина сделалась такая невозможная, как будто в класс вошел инопланетянин. Анна Викторовна так и осталась в полудвижении от классного стола.

А Вера улыбнулась и сказала: «Миша, ты сегодня так хорошо читал. Мне понравилось», — и протянула ему свою ладошку.

Хватка ребят ослабла. Тишина обессилела полностью, и всё: звуки, взгляды, даже цветы на окне — потянулись к этой прозрачной ладошке.

Нет, так не могло быть. Но так было: Вера протягивала Мишке свою руку, будто благословляла, или защищала, или... Наверное, еще не придумано такое слово.

Мишка отряхнул с плеч ослабшие руки ребят и медленно протянул свою лапку навстречу.

7.

Он шел домой. Как тяжело было идти. То ли снег набух после вчерашней оттепели, то ли сам Мишка стал вдвое тяжелей. Да, наверное, вдвое — он нес с собой это прикосновение, оно растворилось в нем и сделало тело чужим, тяжелым. Мишка никак не мог понять: хорошо ли это, приятно — нести Верино прикосновение, или — нет.

С ним было трудно и неудобно, но без него он уже не мог. А с ним — тем более.

Мишка глубоко-глубоко вздохнул, даже голову привскинул... и увидел ветку. Она отрастала от какого-то дерева, названия которого Мишка не знал. Была эта ветка короткая, кряжистая, с корявыми наростами. Она не росла, а казалось, выпирала из ствола уродливой, мощной культей. А рядом с ней из того же дерева выбрызнула веточка — тоненькая, как стрелочка, без единой шершавинки. Она, чуть касаясь корявой культы, стремилась наискосок от нее — к небу. Да, как стрелка!

«Это — я. А это — она», — эти слова появились в Мишке сами собой, и он захлебнулся вздохом, закашлял.

«Почему это — я, а это — она, мы же рядом, из одного дерева, из таких же мяса и костей? Почему вот ТАКАЯ — она и вот ТАКОЙ — я? Так неправильно. За что?»

Мишкины мысли запутались, сплелись удавкой, перехватили ему сердце. Он не стал выходить на скользкую протоптанную дорожку, а шел вязкой целиной, тяжело выволакивая ноги из рыхлого снега и зло радуясь тому, что тяжело.

«Смелотопчуй. Смелотопчуй... — ныло в голове. — Вот тебе. Вот тебе. А она — «лесокраса», «лесокраса». Вот тебе...»

8.

Вечером к матери пришел гость. Они закрылись в кухне, громко смеялись и говорили о чем-то, причем мать смеялась как-то подчеркнуто весело, будто специально радовалась; а он — со снисходительной хрипотцой, мужественно покашливая. И сам гость был квадратным, с короткими ногами-гумбами и шершавым ежиком бритых волос (Мишка видел его сзади, через кухонную дверь, когда ходил в туалет). И куртка гостя была тяжелая, черная. И ботинки — тяжелые, с тупыми носками.

«Гном!» — с отвращением подумал Мишка.

Чем явственнее распознал по квартире едкий винный запах, тем неестественнее похохатывала мама и в хрипотце гостя слышалось что-то курлыкающее. Вдруг смех стих, оборвался, и в кухне затихло. Мишка прислушался.

— Ну, не надо... не надо... не сейчас... ну...» — услышал он мамин смущенный голос, который был податливым, и не было в нем никакого «не надо», а совсем наоборот. И Мишка представил себе,



как квадратный мужик придвинулся к маме, взял своей лапой ее руку у плеча и начал расстегивать пуговички халата. А она пьяненько ухмыляется и разрешает ему жать ей грудь, пробираться ниже, ниже. Ей это приятно.

Мишка представил себе, как он сидит рядом с Верой и делает то же. Вот его рука коснулась ее маленькой груди, чуть прижала ее; вот ее талия и от нее — косточка вниз, гладкая, теплая. А вот и ... Мишка почувствовал, что сходит с ума. Он опрометью кинулся из своей комнатки в ванную, чуть не опрокинув по пути стул. А через минуту... Вера была уже его, только его. Она не сопротивлялась и разрешала все. И ей это нравилось. Мишка делал с ней то, что хотел — как гость с мамой, когда Мишка подглядывал за ними в щелочку спальни в прошлый раз. Вот он затрепетал, замер, вытянулся, и — Вера наполнилась им. Раз — два — три... Все — теперь она только его, «она — лесокраса».

Вдруг силы как-то разом оставили Мишку. Он сел на крышку унитаза, разбитый и опустошенный, и долго сидел, смотря в пустоту туалетного кафеля. А Вера отдалилась, почти исчезла, стала почти не нужна, и внутри Мишки начали оживать обида и затаенная злость. На что? Он не знал.

«Нет, все это только понарошку, не-по-на-сто-я-ще-му. Я — гном — «лесотопчуй». А она — «лесокраса». Это — не настоящее, не...»

Мишка медленно поднялся и натянул штаны.

9.

Ночью Мишке не спалось, в него заполз какой-то гадкий, непрогоняемый стыд, а Верино прикосновение спряталось куда-то. Мишка знал: оно там, внутри него, но найти его не мог — оно испугалось и забило в какую-то щелочку Мишкиной души. Да и не искал его Мишка сейчас — ему было бы еще стыднее ощутить его рядом, будто он вместо того, чтобы впустить замерзшего щенка в подъезд, запустил в него льдинкой.

Мать и гость спали в другой комнате. Можно было встать, пробраться на кухню и поесть апельсинов и чего-нибудь еще с гостевого стола, но Мишка не хотел: ему было противно выходить из комнаты, которую мать не «зачехлила» на эту ночь, выходить — видеть в полумраке волосатую руку, свисавшую с дивана, и голые, смятые груди матери. Противно было есть те апельсины, торт. Противно.

И Мишка стал представлять. Вчерашний дом сразу, без труда, построился в нем, но комнаты матери там уже не было. Вместо нее раскинулась просторная зала с зеленой классной доской. В зале ничего не было: ни мебели, ни телевизора, только листья. Желтые, красные, они устилали весь пол сплошным мягким, чуть шуршащим ковром. У доски стояла Вера. Вот она пошла от доски к окну у противоположной стороны, пошла так, как вчера: легонько взметывающая листья и чуть улыбаясь. Зала была такая большая, что Вера шла и шла, и Мишке хотелось, чтобы шла она долго, очень долго. Вот он вернул Веру обратно к доске и снова пустил по желтому ковру. И снова. И снова. Вокруг — никого, ни души — остров. И все-таки Мишка не выпускал Веру из залы — боялся, что она уйдет и не вернется. Пусть ходит только для него. «Лесокраса».

Лунный лучик из незашторенных окон удивленно скользнул в Мишкину комнату и уселся на стареньком ковре. Мишка поймал его взглядом и долго смотрел, как он медленно ползет от узорчика к узорчику. Смотрел так долго, что не заметил, как уснул.

10.

Назавтра Мишка еле доволок себя до школы.

Проснувшись, он вообще решил было притвориться больным, но что-то толкало его — иди. Мишка боялся представить, что вот сейчас войдет в класс, а там, в трех шагах от него, будет сидеть Вера, та самая Вера, которую он вчера... без которой он уже... для которой он вообще... Это «которая» ныло в Мишкиной голове, распевалось на все лады, издевалось. Он сейчас войдет — и нужно будет умирать — как же иначе, не сидеть же все шесть уроков вот так — в трех шагах, так и сгореть можно. Мишка уже чувствовал первый огонек, который затлелся где-то на уровне солнечного сплетения.

А если не идти? Как?! Он будет здесь, а она — там: читать стихи, решать задачки, смеяться, болтать с девчонками. И Мишкино сердечко льдинкой замирало в груди — так и замерзнуть можно. Нет, лучше уж сгореть. И Мишка пошел в школу.

Он открыл двери класса. Люсяпеткин, увидев его, уже было открыл рот и засверкал гаденькими умными глазенками. Сейчас он скажет что-нибудь такое — какую-нибудь гадость. Сейчас.

Петька начал было: «А...», но, бросив взгляд на Стаса, сидящего у окна, сглотнул это «а» и зло опустил глаза в учебник. Первым была алгебра — Николай Михалыч! Это вам не война в Ираке: в



школе шутили, что он взглядом умеет сбивать высоколетающие самолеты и пронзает насквозь три лба, видя четвертый. Так к нему и прилипло — «истребитель».

Мишка посмотрел на парту, где сидел Стас и успел заметить, как тот убирает на колени свой кулачище.

«Он — Люсяпетгье? Почему?» — подумал Мишка.

...Уроки шли мимо него, просачиваясь словами сквозь и совсем не оставаясь в Мишкиной голове. Он только раз осмелился бросить взгляд в сторону Веры, которая в тот миг сидела над тетрадкой — ровненькая, стройная. Она сидела, чуть склонив голову набок, и что-то писала. Только раз, больше Мишка не мог. Но оттуда, со стороны ее парты, будто веяло теплом. Даже не теплом... Тревогой? И тревогой — тоже. И Мишка жил в этой странной, смешанной ауре и, кажется, был немножко счастлив. Чем? Да тем, что она просто была, эта аура. На секунду он представил, что та парта пуста — нет Веры: заболела, вышла на минуту из класса, просто почему-то нет — и его пронзил озноб, и жить расхотелось как-то сразу. Но нет, слава Богу, Она просто была там.

К последнему уроку Мишка осмелел, привык и стал чаще поглядывать в сторону Веры, выхватывая ее на миг из пространства и живя этим образом три-пять минут. Потом — снова взгляд. Как фотографии. Вот она вздернула свой остренький подбородочек и прищурилась навстречу словам Анны Викторовны; вот она покусывает ручку, решая задачу; вот пересмеивается с Ленкой-по-парте.

На шестом уроке ее вызвали отвечать к доске.

Вера стояла с указкой и показывала на карте то ли моря, то ли горы — Мишке было все равно. Он уже не просто смотрел, а рассматривал ее: вот Вера качнула указку вправо, и ясно обозначился чуть вздернутый бугорок груди; вот стала боком, и Мишка вспомнил то, вчерашнее движение своей руки по этим линиям — вниз от талии. Ему стало жарко, щеки на миг полыхнули. Вот Вера пошла к своей парте, и Мишка впервые заметил, какие хорошенькие у нее ножки: стройные, голенькие от края платья.

А перемены были настоящей пыткой и бредом. Мишка не хотел видеть, как Вера говорит с ребятами или девочками, он ревновал, ревновал люто, нелепо. После звонка с урока он чуть ли не сразу срывался с места и убегал на улицу. А его тянуло обратно, как будто на спине у него была закреплена пружинка — «куда? Не уйдешь! А ну назад!»

На большой перемене, тусуясь невдалеке от покуривающих старшекласников, Мишка краем уха услышал обрывок разговора:

- ...а я ее в подъезде. Делов-то: две минуты — и все успеешь.
- Не брыкалась?
- А чё ей брыкаться: одним меньше, одним больше. Главное, как у американцев — «напор и натиск».
- Да... это они любят...

11.

После школы Мишку нагнал Стас и пошел рядом. Он явно что-то хотел сказать, но не знал как — со словами у него вообще было плохо, другое дело — руки: ими он мог все — и морду набить, и табуретку сделать. А слова просто не рождались в нем.

— Слышь, гн... Мишка, ты, это, вправду, что ли, в Верку-то? Мишка шел не отвечая — что он мог сказать?

— Ты, это, не дури. Ее Шурик из 9-А пасет.

Мишка остановился.

— Как это «пасет»?

— А-а-а... — протянул Стас. — Значит, и вправду. Ну и дурак: кто ты и кто она. Ты уж не обижайся. А насчет Шурика, «пасет» — значит, приручает. Ну, шуры-муры там, дарилки-проводжалки и все такое. Короче, я тебя предупредил. Не дури. А Люсяпетьку не бойся. Он, конечно, умный больно, но сволочь. Давай — пока...

И Стас пошел к своему дому.

«...Шурик. Пасет. Шуры-муры. Кто — он, а кто — она. Пасет. Шурик...».

Мишка шел домой той же вчерашней дорогой, дотаптывая свои следы. Но тяжело не было. Было каменно, как будто у него украли что-то очень нужное. Хотя что у него могли украсть — у него и не было-то ничего. Кроме Веры...

Веточка так же рвалась навстречу солнцу и свету, и корявый калека так же торчал рядом.

Мишка подошел к дереву, посмотрел и вдруг поднял руку, обхватил своей сильной ладонью веточку и хрустнул у самого основания. Она больно охнула, пыталась было уцепиться остатками кожицы за дерево, но Мишка крутанул ее раз, другой — и веточка оказалась в его руке.

— Лесокраса, говоришь. А я, значит, лесотопчуй, гном. А тебя через год Шурик будет, как та скотина — мою мать. Так,



да? А мне уродиться дальше да на вас издали посматривать. Так? Ну-ну...

Он швырнул веточку в снег, вышел на скользкую тропинку и, плотно ставя свои короткие, крепкие ноги, пошел домой.

12.

Лавочка-трепалочка сегодня была пуста. Снег набух, потек. Крепостишки и снежные бабы, которые налепила за день ребятня, расплывились, «поплыли». Гулять никому не хотелось — что за гулянка в такую слякотень. Пацаны рассыпались по «хатам» смотреть телевизор или еще скучать как-нибудь, ожидая погожих деньков.

Мишка сел на лавочку. Ему так захотелось быть сам-восемь и ощущать костлявую ногу Витьки — слева и теплую, двуштанную мякоть Толика — справа. Да, посидеть бы, потрепаться и быть вполне счастливым.

Но лавочка-трепалочка была пуста. А в Мишке было зло и непонятно, и некуда было передать или выбросить все это из себя, наоборот — оно густилось и густилось и не находило выхода.

Тянуло к дому, где жила Вера. Он был совсем рядом — башня-девятиэтажка с тяжелой железной дверью и кодовым замком. Код Мишка знал — в башне жил Витька, они частенько бывали у него, играли в карты. Мать пускала. Да Витька не больно-то ее и спрашивал. А код — что код? Вглядишься повнимательнее, какие кнопки больше стертые, — вот тебе и весь код.

Мишка посидел на лавочке у Вериного дома, потом забрался на кривую осинку с тяжелой корявой веткой-рукой, покачался на ней. Подразнил Дика — местную дворняжину с квадратной мохнатой мордой. Но Дик дразниться не хотел, только вяло посмотрел на Мишку, качнул хвостом и показал огромный язык, будто отдразнивался: «Сам дурак. Не буду я на тебя гавкать — ты свой».

И вдруг в конце переулка показалась Вера. Не одна. Рядом с ней шел высокий парень в модной гнутой кепке, хорошей куртке и таких же кроссовках. Шли они не спеша — провожались.

«А, Шурик! Шурик, да? — дернулось в Мишке. Он вдруг вспомнил: «А я ее в подъезде...»

Мишка соскочил с ветки, мигом добежал до дома и нажал три кнопки.

...В подъезде было темно, как в пещере, как ночью, когда мать зашторивала комнаты. Откуда-то сверху, со второго этажа сочился мутный свет из подслеповатых, заплеванных весной окон.

«Шурик, да? Шурик? А я — гном? А гном там, где темно, там его не видно, он противный».

Было страшно и яростно, яростно и страшно. И даже интересно. В низу живота стало больше, как тогда, в ванной. Слегка подколачивало.

«Она будет ходить только по моему дому, только по моему и для меня».

Дверь открылась, впустив пук света.

— Пока, — раздался звонкий Верин голосок, и темнота защелкнулась.

«Они это любят», — вспомнилось Мишке.

Он даже не увидел, а почувствовал Веру рядом. Обхватил ее, потащил к стенке, прижал, и через минуту, оглушенная неожиданностью, не сопротивляющаяся, она вскрикнула: «А!..» Мишкины ноги обожгло что-то горячее, он тоже дернулся раз два — три.

«Смелотопчуй... лесокрасу», — пронеслось в его голове.

Дверь за Мишкой защелкнулась, и через минуту он был уже дома.

13.

Лунный лучик полз по ковру.

«А что же дальше? — подумал Мишка. — Дальше-то что? Была «лесокрасой», «лесокрасой» и осталась. И останется. А я — гном. Был им и буду. Если узнает, что я — возненавидит, расскажет родителям, а меня посадят в тюрьму. Там много людей и все живут в одной большой комнате. И их никуда не выпускают. Все будут издеваться надо мной и называть «гномом». Нет, я не хочу в тюрьму. Я никому не скажу, и никто не узнает — там было темно».

Мишка снова построил дом с башенкой. Но первый этаж — тот, где раньше жила мама, а потом была большая зала с желтыми листьями, теперь был пуст. На острове, кроме Мишки, никого не было, только он, песок, сосны и тишина.

Лучик дополз почти до Мишкиного лица.

«Пошел! Гномы живут в темноте. Прочь отсюда!»

Мишка вскочил с кровати, задернул наплотно шторы и с головой завернулся в одеяло.



Невольник чести

1.

— Вот только не надо, Галина Викторовна, повторять: достоинство, благородство, честь семьи. Ах, Пушкин! Ох, Пушкин! Как по чужим женам ходить с малолетства — так это можно было, а как к его бабе клеиться стали — так сразу на дуэль! Получается: если гений, то имеешь право шкодить, а тебя не тронь: сразу — святотатство, преступление против нации, «погиб поэт — невольник чести» и все такое. Ату Дантеса! Это что же такое: если сейчас какой-нибудь там спаситель отечества в чужую семью влезет, а его за это из «снайперки» замочат — это преступление? Я не согласен. Пусть замочат. Перед законом, особенно перед неписанным, все равны — хоть гений, хоть президент, хоть дядя Вася со второго этажа.

Юрка Волгин захлопнул хрестоматию по литературе и стукнул по обложке кулаком, будто навсегда вгонял гвоздь в русскую классику.

Галина Викторовна пожала плечами и снисходительно усмехнулась:

— Ох, Юра, от тебя разит абстрактной, первобытной демократией, как от Веры Шведовой духами, — за версту. И где же ты это видел, чтобы перед законами твоими писаными-неписанными все равны были? Еще древние говорили: «Что положено Юпитеру, не положено быку». На большее имеет право тот, кто и дать может больше. А гении — они вообще штучные экземпляры, нельзя их на дуэли вызывать — нерентабельно, у них работа другая — нацию прославлять, человечество вперед двигать. Защищать их нужно государству-то, да и разрешать то, что... сам понимаешь.

— Да-а? — взъерошился Юрка. — Это значит, если я женюсь, а какая-нибудь гениальная сволочь, пока я на заводе горблюсь, с моей женой баловаться будет, то мне и молчать в тряпочку?! Да я ему... — Юрка чуть побледнел и поднял руки лапами, будто уже сейчас хотел вцепиться в горло обидчику.

— А ты его на дуэль вызовешь, — хохотнула Таня Ларичева. — У нас тоже Черная речка есть у Городища. Вот там всё и уладите.



Ой, девочки, как сейчас вижу, — глазки и Ларичевой загорелись, обрадовались: — Юрка подъезжает на своем «Запорожце» с двумя поддатými секундантами из его строительной бригады, а там уже его ждет «Гран-Чироки» с обидчиком-гением и его телохранителями. Ага! (Танька перешла за зловещий шепот) Они скидают пиджаки, остаются в черных джинсах и белых рубашках (ах, красиво!), отмеряют девять шагов и бросают жребий. Так! (Танька подкинула в воздух невидимую монетку, проследила ее полет и — о! — развела руками над ней — упавшей) — гений стреляет первым! Вот он уже поднимает свой пистолет, а Юрка знай себе постаивает, жрет вишни и плюется косточками в сторону врага. И вот... «часы урочные пробили»!..

— Таня! — перебила Галина Викторовна. — Тебе бы в актрисы или романы писать. Иди-ка лучше к доске, отвечай наизусть.

— Я щас, Галина Викторовна, я щас, — весело засуетилась Ларичева. — Дайте досказать — ну, распирает! Я щас!.. Так вот. Гений — ба-бах! (она положила кулачок с пальчиком-пистолетом на другую руку), ба-бах! Ах... Рубашка Юрки обагрывается кровью. Ах... Он падает, и «взор изображает смерть — не муку». А гений на фиг бросает пистолет — и на полусогнутых к нему вместе с телохранителями. Щупает пульс — хана: «Убит — к чему теперь рыдания, пустых похвал ненужный хор...» — Танька трагически воздела руку к потолковым небесам и... осеклась.

Повисла пауза, странная пауза. Вроде бы, по сюжету, надо было смеяться, но класс сидел весело-напряженно, как будто чего-то недоставало для дружного хохота над классикой и Юркой заодно.

— Ну, а дальше? Танюша, продолжай — нам интересно, — Татьяна Викторовна подперла кулачком щеку, с нескрываемым любопытством наблюдая этот мини-спектакль.

— Давай-давай, Танька! Здорово! А что потом? — поддакнул Вова Антонов.

Но Ларичева как-то разом погрустнела, и нельзя было понять: часть ли это роли или что-то другое. Она вздохнула, кинула руку к полу и прищелкнула языком:

— А дальше как раз неинтересно. Юрку замочили. Милиции дали взятку (сказали, что Галина Викторовна запретила наказывать гениев). И объявили все это самоубийством на почве алкоголизма. А Юркина жена поплачет-поплачет и выйдет замуж за гения. И вскоре поймет, что она счастливая-пресчастливая... Давайте, Галина Викторовна, я лучше стих отвечать буду.



По классу пробежала реалистическая грустинка, и озорные улыбки перетянулись в холодные полуусмешки.

Галина Викторовна перебила:

— Все-все, Танюша, — не смешно.

— Какое уж там «смешно», Галина Викторовна: Юрку жалко. Мечтал человек о справедливости. Бился, можно сказать, за нее насмерть. Как Пушкин. А его пиф-паф. Ручки на груди сложили. На прощание головами покивали: «Дурачок». В землячку закопали. Жену отобрали. По гениальной справедливости. Так мне стих читать?

И, без разрешения, Ларичева, подняв свой остренький подбородок, начала читать нараспев, чуть подвывая слова и устремив глаза к потолку: «Как дай вам бог любимой быть другим...»

— Довольно, Таня. Садись. Стих ты знаешь. Вот тебе твоя пятерка и оставь в покое Пушкина и Волгина, не ёрничай, — завершила спектаклик Галина Викторовна.

— Что-то я не понял, — сказал Саша Львов. — По классическому сценарию, гений — жертва, а не палач. У тебя же, Таня, все наоборот. Накладочка получается.

— Никакая не накладочка, — почему-то нервно ответила Ларичева. — Просто некоторые гении дергаются много. Нормальный гений не дергается, а приходит к негениальному начальнику и говорит: «Я, блин, гений. Я могу это, это и это. И никто, кроме меня, это не может. Давайте так: я на вас работаю, а вы мне за это квартиру, машину, деньги и условия, чтобы люди мне не мешали, а только помогали». И никто его после этого не тронет, если не дурак, конечно. А насчет «наоборот», так у нас сейчас все наоборот.

— И все-таки какой-то у тебя странный гений получается, — покачал головой Саша. — Гениальность — не специальность и не коммерция, а признак некой отрешенности от земных благ. Он потому и гений, что живет в своем мире, как Диоген в бочке. А ты — квартира, машина... Опять накладочка.

Таня чуть покраснела, но не сдавалась:

— Да? А кто оплачивал счета Леонардо да Винчи? Кто на халяву дал звание камер-юнкера Пушкину, кто вытащил Державина из солдат в сенаторы? А тебя, Сашенька (класс хмыкнул)?.. Сколько раз ты ездил на олимпиаду в Москву и Питер? А в Германию, из которой ты приволок «учености плоды»? Это что же — за свой счет? Нет (Таня отвесила Львову реверанс), за счет твоей исключительной

гениальности и негениальности, но дальновидности твоих спонсоров. Будущее ядерной физики всей планеты — в твоих руках, поэтому можно иметь пятерку по литературе и истории, не маясь месячными (пардон) сочинениями, зачетами и всякой там разной гуманитарной ерундой.

«Пи-пи-пи...» — в кармане Саши завозился «мобильник».

— О! — Таня подняла ручку с пальчиком. — Пикает. Откуда пикает? Из Вашингтона? Оксфорда? Дели? Марса?

Львов чуть покраснел, выключил «сотовый» и сказал:

— Я не ге...

Прозвенел, рухнул звонок, как будто театральным занавесом обрезающая выдуманное от всамделешного. По классу пошло счастливое, расслабушное ёрзанье, в котором Галина Викторовна докрикивала домашнее задание.

Ребята, а вместе с ними Верка Тревогина и Галка Ершова пошли за угол — накуриться до следующей перемены. «За угол» — это была особая территория «три на три», огороженная невидимой колючей проволокой, куда педагогическому составу школы, а также всем до девятого класса путь был заказан. Входивший сюда словно оказывался под невидимым колпаком, и даже математик Александр Михайлович, прогуливающийся со своей вечной «Явой» мимо этого «обшора», ничего не видел, не слышал, не замечал, а только вежливо отвечал кивком на приветствия курильщиков «здрасьтесанм-ыч». Это была зона отчуждения от всяких писанных и неписанных школьных законов и тайная мечта среднеклассников.

Юрка не курил, а так — покуривал. В его сознание прочно вошел образ умирающего от рака легких деда, который угасал день за днем на глазах домашних, отказавшись от врачей. Как-то дед сидел на балконе и, покашливая, курил свой любимый «Дукат». Юрка подошел к нему и спросил: «Деда, зачем ты куришь — ты ведь больной? Не кури — поживешь подольше». Дед усмехнулся, легонько взял Юрку за подбородок и сказал: «То, что любишь по настоящему, надо любить до конца». И потом, в кровати, Юрка долго ворочался над этими словами и думал: «А что люблю я? Неужели ничего, чтобы вот так, как деда, даже смерти не бояться?»

...Ларичева тоже осталась в классе — списывать что-то по английскому. Юрка подошел к ней, присел на крышку парты и спросил:

— Чё это ты меня сегодня похоронила? С намеком что ли?

Таня, не поднимая головы, продолжала писать.



— Ладно, — примирительно протянул Юрка. — Замяли. Слышь, Тань, пошли сегодня в «Пирамиду», там, вроде, диджей новый и репертуар сменили. Говорят, зажигает.

Таня писала.

— Ну, не хочешь на дискотеку — пошли ко мне. Видак посмотрим, у меня кассетка клевая есть, «Плоть и кровь» называется. Я пива возьму. Ну и...

Таня бросила ручку на парту:

— Слушай, Юрка, а хочешь — сейчас, прямо в классе, пока никого нет — чтобы никуда не идти? Хочешь?

Юрка заморгал:

— Ты что? Зачем ты так? Я же не для того... Мы же с тобой не только для того...

— А для чего? — Таня широко раскрытыми глазами смотрела на Юрку — Для чего?

Юрка заморгал еще чаще, взял с парты брошенную ручку и стал то откручивать, то закручивать колпачок.

— Ну, как «для чего?» Чтобы вместе быть.

— А для чего «вместе»? — Таня не отводила глаз от его лица.

Юрка пожал плечами:

— А для чего остальные вместе?

Таня усмехнулась:

— Ну, просвети — и для чего же вместе эти остальные?

Юрка растерялся окончательно, и эта растерянность стала вытесняться странной злостью, поднимавшейся откуда-то из живота. Он бросил ручку на парту и резко ответил:

— Зачем-зачем? Чтобы жить долго и счастливо. Мало тебе? Ты как-то иначе хочешь?

— Юрка, а Юрка, а как это «долго и счастливо»? — В глазах Тани мелькнуло что-то похожее на легкое отвращение. У левой губы дернулась складочка и почти незаметно пробежала по щеке.

— Как-как? Что сегодня с тобой? Да вот так — как все живут (Юрка глазами и руками показал вокруг себя, как это — все).

Таня встала из-за парты, сделала шаг к Юрке, посмотрела в его глаза, поднялась на цыпочки и чмокнула в лоб:

— А я не хочу, как все.

И пошла из класса.

Юрка побледнел и бросил ей вдогонку:

— А как ты хочешь?



Она остановилась в дверях, оглянулась, посмотрела на сотовый телефон, который забыл на парте Саша Львов, и, пожав плечиками, ответила:

— Как? Удивленно...

И ушла.

Юрка посидел с минуту на парте, чувствуя, как в нем поселяется странная пустота, которой он никогда раньше не знал, потом встал и пошел к двери. Взгляд его упал на «мобильник», который красивой игрушкой лежал на Сашиной парте. Почему-то захотелось взять его и со всего размаху запустить в стенку. Юра взял телефончик в руку. Тяжеленький. Умный. Чужой. «Может, купить себе такой же? — подумал он. — А зачем? С кем говорить-то? Ни у Сереги, ни у Петьки такого нет. Им он тоже не нужен. И у отца на стройке не было, зачем он ему? И у матери. Когда ей было за прилавком трепаться? Без них прожили. Да и стоит эта штучка, наверное, недешево. Нет — не моя». Пересилив желание наказать за что-то эту чужую изящную игрушку, Юра положил телефон на парту и вышел.

2.

— Чего смурной такой? — Бабушка, налив полную тарелку шей, поставила ее перед Юрой. — Ешь давай. С Танькой что ли поцапался? То-то гляжу: сёдни столкнулись с ней в магазине, кивнуть — кивнула и «здрасьте» мне сказала, а глаза-то воротит. Раньше бывало: «Елизавета Петровна, Елизавета Петровна», а теперь вот ведь как.

— Да нормально все, — буркнул Юрка, присёрбывая щи.

— Ну-ну, знаю-знаю: не мое дело. А я тебе еще раньше говорила — не твоя. У нее все не как у людей. Девки-то со двора — хоть Галка, хоть Верка — девки как девки: жопку штанами обтянут, пупок — наружу и на улицу — трепаться да себя показывать. А твоей я что-то во дворе не видывала, да и ходит не по-вашему: платье низенько, каблочки махонькие и не видные; ни в волосах, ни на лице — ни цацки нет.

— Ну, ба! Тебя не поймешь: то ты с телевизором ругаешься, что бабы вообще распустились, то Танька тебя не устраивает.

Бабушка вытерла руки о передник и села напротив Юрки.

— Я тебе, дружок, вот что скажу. Да, не понимаю я, зачем в пупке по два кольца висит и на речке у баб из одёжи — только волосы да полоска на сраме. Не понимаю — зачем в фильмах ваших кровищи столько. Не понимаю — и не пойму. Но только знаю: так



нужно, так по-новому. Вы в своем веке живете. И ты в нем тоже как лук в супе. А Танька — нет. Худо тебе с ней будет. И уже, поди, худо — вон, на лицо спал совсем за неделю-то. Эти-то, голопупые, перебесятся и за плиту встанут — мужиков своих кормить да радоваться, что есть они у них, мужики эти. А в таком платишке на кухне не повернешься. А-ить не сымет она его, не переменится — думка в ней, в Таньке-то, крепкая думка.

— Ну и хорошо, что думка. Верок да Галок вокруг навалом. Скучно с ними, ба, — Юрка улыбнулся, но улыбка вышла ненастоящая, слепая. — Пусть уж лучше с думкой.

— Э-э... дурачок-дурачок, — покачала головой бабушка, принимая от Юрки пустую тарелку. — Баба с думкой для мужика беда одна. Намаешься.

— Не намаюсь. Ладно, ба, сейчас ребята придут.

— Ну, иди-иди.

Юрка чмокнул бабушку в рыхлую, теплую щеку и ушел в свою комнату. А Елизавета Петровна так и осталась сидеть — с пустой тарелкой в руке, глядя вслед внуку и чуть кивая каким-то своим трудным мыслям.

А Юрка вошел в свою комнату, остановился посередине, осмотрелся и почесал затылок: «М-да, бардак первозданный. С чего начать-то? Аж страшно».

Он был прав: в комнате будто бы делали обыск целой опергруппой. На столе вперемешку лежали учебники, журналы по автоделу и «с девочками», видеокассеты, отвертки и куски проволоки всех цветов, набросанные от руки схемы и еще какая-то ерунда. На кресле грудой высились «шмотки»: от летних футболок до черных «зимних» джинсов, и поверх этого напластования — потертые боксерские перчатки. А рядом у кресла — стопки рулонов с чертежами двигателей. Видеомагнитофон подавился кассетой, которая торчала из него кляпом. С одной стенки на все это бесстрастно взирал голый Сильвестр Сталоне, с другой — насмешливо — Таня.

— Ладненько, ништяк — сейчас мы все это... — Юрка сгреб кассеты и учебники и выстроил их на книжной полке; обхватил груду шмоток и впихнул ее в шкаф («Ничё — пусть пока полежит, потом разберем»). Запихал рулон в рулон и замотал головой — куда бы их приткнуть. Пространство оказалось не таким бесконечным, как о нем обычно говорят. Рулоны поместить было некуда. Но нужно. Отец с матерью, пока были живы, никогда не принимали к



себе Юркины вещи, сказав ему раз и навсегда: «Вот тебе комната, ты в ней хозяин. Сам паси своё». Беременный рулонами, Юрка уже было отчаялся, но вспомнил об одном закутке за шкафом. Ура! Он начал втискивать обузу, но что-то мешало. Юрка нашарил рукой и вытащил плоский длинный пенал, покрытый тонким слоем пыли, отложил его на кровать и счастливо расправился с пространством, втиснув рулоны.

— Ф-фу... — Юрка подмигнул Танькиной фотографии: — Так-то. А это что такое? — он посмотрел на пенал, взял его и отодвинул задвижку. — Ух ты! Дела давно минувших дней... Сколько лет, сколько зим, — и достал из пенала свою старую «поджигу», похожую на дуэльный пистолет — с выведенной назад кривой рукояткой и набалдашничком.

Четыре года назад, когда Юрка был в шестом классе, весь двор охватила эпидемия. Местный оружейник-самоучка, он же Витька Евдокименко из 9-Б, доказывая, что Левши на Руси никогда не переводились, из медной трубки сделал первую «поджигу»: наглухо забил один конец медной трубки, укрепил заднюю стенку расплавленным свинцом, высверлил запал и вмонтировал эту нехитрую конструкцию в лафет в форме пистолета. Конструкция-то была нехитрая, но на первых же испытаниях на Ломоносовском пляже показала отменные боевые качества — била влет сантиметровую доску с десяти метров. Пороха, разумеется, было не достать. Черт с ним — со спичечных головок аккуратно счищалась сера, мелко толклась и была ничуть не хуже пороха. Дробь легко можно было купить в «Охотничьем магазине» на Советском — ее продавали без билета. А из свинцовых грузил отливали по калибру «поджиг» пули в специальных формочках. Не иметь поджигу — во дворе считалось дурным тоном, и даже хуже — почти предательством общего дела. За год соревнования — у кого лучше — была освоена курковая система, и теперь уже не нужно было чиркать прикрепленную к запалу спичку и быстро выбрасывать руку вперед — достаточно было нажать на «собачку» и секунды две ждать желанного грохота. До каких еще высот достигло бы во дворе оружейной дело — неизвестно: всему, как известно, приходит конец. Однажды Сашка Лобанов решил подбить ворону с двадцати метров (новый рекорд) и экспериментально удвоил количество серы. «Поджигу» разорвало. Вместе с кистью Сашкиной руки. Милиция шмонала двор дней десять, отобрал с помощью родителей все «стволы». Разоружение было пол-



ным. Почти. Юрки в это время не было в городе — родители запи-хали его в лагерь. Когда через две смены он вернулся, от бывлой оружейной лихорадки остались лишь сплетни, похожие на легенды, и легенды, похожие на сплетни, которые пересказывали друг другу вечные бабушки на лавочках, да еще Сашкина культа. Тогда Юрка от греха запишал две своих совсем новеньких «поджиги» в пенал от дедушкиных инструментов, спрятал за шкаф и набросал сверху каких-то тряпок — пусть отлежатся до поры до времени. Но «пора» не пришла, вместо нее пришла Танька, и оружие стало ненужным. И теперь — вот оно.

Юрка вытащил одну из «поджиг» и ностальгически улыбнулся. Пахло детством.

— Кайф. Какая штука! — он пожал удобную березовую рукоятку, чуть потемневшую от времени, взвел курок, вскинул руку, прицелился в глаз Сильвестра Сталоне и щелкнул.

Да, все на месте: и шомпол из толстой проволоки, и десяток свинцовых пуль, и стеклянная баночка-пороховница со спичечной серой.

— М-да, — покачал головой Юрка. — Было дело...

В прихожей раздался звонок. Юрка быстро положил «поджигу» в пенал, закрыл его и пошел открывать.

... Это были Серега и Петька. Первый — коренастый, широкий, краснорожий; второй — длинный, бледный и болтливый. Глядя на них, биолог Юрий Александрович усмехался: «Вид и подвид», на что Серега дул губы и ерепенился. А математичка Анна Павловна, опять же глядя на них, многозначительно заявляла (говорить она не умела, а только «заявлять»): «От перемены мест слагаемых, как известно, сумма не меняется». Класс сперва ржал, а потом придумал этой неразлучной паре кликуху «перемена мест» (без «кликух» было нельзя, без кликух ты — никто, так, пустое место: пол-Череповца — кто из мест отдаленных, кто — не из столь отдаленных, а кто — из местных деревушек, — все с «кликухами». По имени-отчеству — это для учителей и всякой-прочей случайной интеллигенции). А вот насчет надежности — Сереге и Петьке в классе равных не было: завалить урок, выйти один на один против целого класса соседней школы, пройти по первому тонкому шекснинскому ледку и (!) вернуться, собрать металлолома на весь класс. Да что угодно! Директор Сан Саныч в шутку, но уважительно называл их «бригадой коммунистического труда» и все прощал, зная, что в лице Сережки и Петьки имеет «гарант перестройки», «бригаду якудзе» — все что угодно.



— Привет! Привет! — хором выпалили они, шлепнув по Юркиной ладони.

— Ну, что? Принесли? — спросил Юрка. Они вместе уже полгода ковыряли старый дедушкин «Москвич», требуя от него, чтобы он стал чем-то вроде «Шкоды» или, по крайней мере, «Мерседеса». Была перечитана куча технической литературы, заведены связи со всеми слесарями автомастерских. Те, хотя и качали головами: «Ни хрена у вас, ребята, не получится», но честно помогали всем, чем могли, включая и взятыми напрокат у государства материалами, и советом, и даже личным участием. Об этом «Москвиче», короче, знал весь «старый» город, а малышня давно уже «забили» места в очереди: кого первым покатает Юрка. Но «Москвичок» твердо отстаивала интересы социализма и «Мерседесом» становиться не хотел, пока ребята не познакомились с Симоновым Николаем Григорьевичем — техником-самоучкой, который уже лет десять разъезжал по городу на странной, «самопальной» машине, похожей то ли на огромного «козла», то ли на маленький «хаммер». Вот от него-то и спешили Серега с Петькой.

— Ну, есть?

— Есть-есть, — довольный, ответил Петька.

Вооружившись карандашами, транспортирами и проча и проча, они расположились на полу в Юркиной комнате, развернув перед собой рулон старых обоев, на обратной стороне которых было что-то набросано мудрой рукой Николая Григорьевича. После получасового совета Юрка отбросил карандаш и восторженно вздохнул:

— Нор-маль-ненько! Завтра собираемся в гараже и снова все разбираем до винтика. Господи, ну как все просто. Молодчага этот Григорыч. Его бы в конструкторское бюро, а он знай себе помидоры по городу развозит.

— Какой — молодчага? Гений! Мы с Петькой как вошли в его гараж, так сразу и застыли: и кран-балочка, и все-такое-разное. Гений!

— Точно — гений. Только пьет много, — поддакнул Петька.

— А гении вообще много пьют. Это помогает их гениальности. Помнишь, Галина говорила, что милейший Александр Сергеевич, который Пушкин, три раза на грани алкоголизма был? — сказал Серега.

— Угу. А еще я как-то иллюстрацию Мусоргского смотрел. Нос красный, аж фиолетовый, глаза навывкате — как с похмелюги. А, скорее, и не как.



— А насчет гения...- сказал Серега. — Ну, да ладно, это потом (Петька с Серегой как-то не так, не сообразно моменту, тревожно переглянулись).

А Юрка счастливо потянулся, аж косточки хрустнули:

— Ну и мы тоже не лыком шиты. А ну-ка, гениеныши, не прибавить ли нам к своей гениальности по баночке? У меня «двадцатка».

— А у меня вообще пятьдесят! — гордо сказал Серега.

— А у меня семьдесят: двадцать Юркиных и пятьдесят — твоих. И еще на булочку хватит, — развел руками Петька. — Чем богаты...

— Ура! Петька бежит за «клинским».

— Да-а?.. Как Григорычу поллитровку покупать — так это я, да на свои. А как за «клинским» — снова я? — обиженно шмыгнул носом Петька.

— Ты-ты, — сказал Серега. — Мы — маленькие. Видел плакат «Детям до 18 лет — у-у-у-!!!! Низя!» А с твоим-то ростом... Да и дело тут одно есть... (он многозначительно глянул на Петьку).

— А... Тогда я пошел. Сколько брать-то?...

— На все и еще по баночке.

— А где я — на баночку?

— Все, Петруха, — иди, не доставай. — И Петьку, с пакетом и деньгами, вытолкали из комнаты.

И Юрка с Серегой остались одни.

— Чё за дело? — Юрка вопросительно посмотрел на друга.

— Да так... — Серега встал с пола и как-то неопределенно заходил по комнате. Остановился у фотографии Тани и совсем не восторженно продекламировал: — «Как мимолетное виденье, как гений чистой красоты...» Гений...

Юрка поднялся тоже:

— Говори.

— Говори-говори... Да, блин, чё говорить-то? Ты давно ее видел, Таньку-то?

— В школе.

— В школе все друг друга видят... Нет — не в школе, а...

— Ну, с неделю назад. И что?

— Да не дергайся ты! Сядь вон. Это... Знаешь... Короче, девчонки говорят, Галка и Верка, что... в общем... видели их вдвоем у Танькиного подъезда — в провожалкины игрались, вроде.

— С кем — «вдвоем»?

— Да ты чё, в самом деле, не понимаешь, или, как это у Пушкина, «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад»? С кем — с кем: с Сашкой, гением нашим.

— Ну. Видели? И дальше? (Юрка чувствовал, как белеют и каменеют у него губы.)

— А то, что целовались они взасос на глазах у всех у Танькиного подъезда. А Галка с Веркой засекли. Так они хоть бы хны — даже не заметили, — наконец единым духом выпалил Серега.

— Врут!!!

— Да на хрена им врать-то. А не хочешь — не верь, только больно нам приятно, когда тебя в дураках держат. Нам не веришь — у нее спроси.

— И спрошу.

Юрка дернул дверь, подошел к телефону, почти сорвал его с тумбочки и резкими рывками набрал номер.

— Алло. Я вас слушаю, — раздался Танин голосок.

— Ты... ты вчера целовалась с Сашкой? — без вступления выпалил он.

— Что?

— Это я, Юра. Я спрашиваю: ты вчера у своего подъезда целовалась с...

— Целовалась. — И трубка умерла.

Юра подержал трубку в руке, как какой-то странный, ненужный предмет, и медленно опустил на рычаг. «Целовалась. Он гений. А я никто. «Механик-замухрышка, у него на жопе шишка» — пропелась в голове детская считалочка. — А... у нее в голове думка. — Слова эти вязким, сбивчивым потоком текли в Юркиной голове.

Он вернулся к Сергею и бухнулся в кресло.

— Да ладно, Юр — не дрейфь. Мы тоже думали-передумали: говорить тебе или нет. А потом решили: ты парень что ни на есть самый крепкий, зачем от тебя скрывать. Да и лучше от нас, чем от кого-то, ведь так? — Серега подошел и сел рядом, положив свою широкую лапу на плечо Юрке. «Гений чистой красоты...» — уже откровенно-презрительное сказал он. Все они — гении, а как помотришь — народ ненадежный. Ничего, Юр, даже от Венеры венерология пошла.

Юрка стряхнул с плеча Сережкину руку.

В прихожей весело разрезвонился звонок.

— О! Это Петька с пивом. Сейчас полегчает. Ты сиди-сиди, я открою.



...Юрка явственно расслышал в прихожей шепот ребят, а также Галки и Верки:

«Яйца ему, умнику, по шею откусить. Сколько Юрка Таньку-то пас — года, поди, три, — а этот пришел-увидел-обобрал. Гаденыш гениальный». — «Вы уж, девки, как-нибудь так, чтобы хоть на время забыл стерву эту...» — «Не учи ученого...» — «Ну — пошли...»

Еще Клавдия Васильевна говорила, чтобы в классе не шептались: «Вы шепчетесь, как орангутанги, — за сто верст слышно. Говорите обыкновенным голосом: «А плевать мне на химию». Я все равно услышу и все равно урок дам до конца». Похоже, это было правдой: шептаться «наши» не умели.

«Сейчас они хором будут меня утешать. Хотя что утешать? Еще с того урока все ясно было, просто вот такой я толстокожий, сразу ничего не понял. Да и она-то здесь причем? И все девки — причем? Их пасут — они пасутся. Нашелся пастух лучше меня...» — подумал Юрка.

Он поднялся и подошел к большой фотографии Тани. «Что, Танюша, похоронила? Три года — закопала? Будем прощаться?». И словно в ответ, в Юрке раздался дедушкин голос: «То, что любишь, нужно любить до конца». И защищать — добавил за деда Юрка. — Ну, нет: так просто я тебя никому не отдам».

— А вот и мы, — в комнату ввалились Серега, Петька, Галка и Верка. Петька волок целый пакет пивных банок, что явно превосходило первоначальные планы.

— Приветик! — чмокнула Юрку Галка. От нее почему-то пахло любимыми Юркиными ландышами, и глаза почти не были накрашены — напротив, они были приятно-целомудренны и ясны.

— Приветик! — чмокнула Верка. — Не выгонишь? Мы ненадолго. Слушай, у нас тут такой классный музон объявился (она завертела кассетой), и всего два фильма. И кровати (батя из командировки приехал, угощает). И рыбка. Где у тебя тарелки?

Юрка кивнул в сторону кухни.

Девчонки трещали хором: гортанным, почти женским контральто — Верка, а девичьим, попискивающим — Галка. А Юрка вроде как был Одиссеем, которого «заговаривали» сирены.

По комнате сразу закружилась-завертелась веселая суматоха. Серега настраивал видак, Верка рассказывала о своем женихе, которому за 60 («Ну очень respectable молодой человек, ну очень.

Даже без палочки»), Галка бренчала посудой. Петька громко читал ярлыки на пиве. И во всей этой суматохе Таня с ее «целовалась» как-то затерялась — здесь ей не было места.

...Телевизор и «видак» перенесли на письменный стол — по центру; кресло задвинули к задней стенке — чтобы никого не обидеть, оставив в одиночестве на его мяготи. Перед собой прямо на полу была расставлена праздничная снедь, и — сели плотненьким полукругом. Пиво распределили строжайшим образом: хочешь — дуй сразу, хочешь — тяни до упора. Мальчишкам — по пять банок, девчонкам — по четыре. Юрку втиснули в самый центр, прижав справа Галкой, слева — Веркой. Таким образом, фотография Тани оказалась за спиной и чуть-чуть слева.

— Ну-с? С чего начнем? — спросил Сергей, покручивая кассеты. — Галь, что это за «Вообрази себе любовь»?

Галка прыснула:

— Ой, Сереженька, а ты будто не представляешь. Такой паинька, такой миленький — просто овечка. Так ни разу любви себе не представлял? Ну, любви, понимаешь — любви (она поддержала себя под груди и провела язычком по губкам, сделав паскудненькие глазки).

— Про онанизм, что ли? — тупо спросил Серега.

— Дурак. Всё: вставляй — и не мудри, а про что там — увидишь. Но для начала...

Для начала все открыли свои банки и сдвинули к центру, который оказался рядом с Юркиной грудью. И — хором! «Меньше литра — не возьмешь! Ого-го! Ниже пола — не падешь. Ого-го! Друг без друга — пропадешь! Ур-ра!!! Поехали!»

Это была их старая, еще с девятого класса, речёвка.

О чем был фильм? Да все о том же: мужественный герой-одиночка, перебив всеми известными способами две-три тысячи повинных и неповинных людишек (которые как-то совсем и не различались), домогался правды, из-за которой его лишили тихой семейной жизни. Заодно он пару раз влюблялся, сто раз обнажался и раз десять насильничал смазливых девиц, которые от такого с ними обращения лишь крепчали, с удовольствием повизгивали и в конце концов становились на его сторону — искать правду от Чикаго до Вологды. Потом выяснялось, что у этого мужика не все дома, т.е. он инопланетянин или какой-нибудь гибрид. Короче, после трех банок пива было, в принципе, уже все равно, кто он такой и чего беспокоится, лишь бы побольше грохотало, взрывалось, рушилось и сверкало.



Одним словом, «глушили» Юрку. Как карася в пруду. Глушили хором, подвывая: в нужных моментах: «О-о!», постанывая в постельных сценах: «А-а...» А Галка как-то потеснее прижалась к нему и даже прихватывала порой за руку, когда что-то уж сильно сверкало на экране, и волнами-волнами его любимых ландышей пахла в его сторону в нужные моменты.

Сергея отбежал отлить, выскочил из комнаты и рванул на кухню. Елизаветы Петровны не было. Тогда, дернув из какого-то блокнотика длинный листок с какими-то цифрами, он уже пьяненькими буквами написал: «Баба Лиза! Не мешайте. От Юрки ушла Танька. Мы его спасаем. Как можем. Глушим! Через два часа пиво кончится. Надо еще. Выручайте. Сережа».

Когда через час из комнаты выскочил Петька, на столе кухни стояло 10 банок пива разного калибра с запиской: «Храни вас, Господи. На больше пенсии не хватило». А рядом стояла тарелочка с аккуратно нарезанной копченой колбаской, и еще одна — с селедкой. Под селедкой же покоилась еще одна записка: «Если нужно — займу. Только вы, черти окаянные, из моей квартирной книжки записок больше не рвите — уши пообрываю».

Когда и Юрке приспичило и он выскочил из комнаты, «видак» тормознули, свет включили. Галка, как-то внезапно протрезвевшая, поднялась с пола, гаденьким, «панельным» шагом придвинулась к Таниной фотографии и, поставив одну руку в бок, показала ей «фак»:

— Что, цаца, взяла? Ты еще, сучка, не такое увидишь. У тебя — ухватиться не за что, а у меня (она свела свои спелые груди вместе) и на того, что напротив тебя висит и лет пять трахнуть хочет (она ткнула большим пальцем назад — к Столоне), и на твоего хватит...- Набрала в рот слюны и плюнула Тане в лицо. — Тварь ты святая. Сосись со своим гениенком по подъездам — может, что и перепадет.

— Галка, атас! — крикнула Верка.

Свет сразу потушили — Юрка вернулся.

...Во время второго фильма, который именовался не иначе, как «Подполье моей любви», Галка поморщилась:

— Жарко, закурили. Вы как хотите, а на мне чего-то лишнего много. Я подразденусь. И сами не маленькие — вон что смотрите.

И осталась в полурасстегнутых джинсах и лифчике-фигинчике. Пример понравился — на самом деле, дышать было еще можно, но уже не хотелось, даже при открытой форточке.

В одном из ну очень ответственных для героини эпизодов из Галкиного лифчика случайно выпала правая грудь — та, что ближе к Юрке. Сначала он не заметил, но потом его рука сделала единственно правильное движение. А ее рука — тоже... единственно правильное, помогающее...

3.

...Воскресное тусклое утро озарило унылый пейзаж: пивные банки, как стреляные гильзы, валялись повсюду. Тоненько, как головная боль, ныл не выключенный вчера телевизор и просил пощады. Около дверей противно потела лужа плохо переваренных креветок — Верка не донесла. Сильвестр Сталоне был разукрашен губной помадой так, что стал похож на вождя краснокожих, причем на груди у него была татуировка «Не забуду эту ночь», а его взгляд из гордого стал вполне русским.

Фотография Тани была не тронута, если не считать мелких, почти незаметных пупырышек от Галкиной слюны.

Картину довершала трехлитровая банка крепчайшего огуречного рассола и две банки пива, стоящие на телевизоре. Стаканов предусмотрено не было.

Юрка сонно намял голую Галкину грудь и все понял. В башке трещало. Он встал, отхлебал почти треть рассола прямо из трехлитровки, вспучил пивную банку и жадно ее высосал. Полегчало.

Он подошел к фотографии Тани — той самой: с синими разбегами крылышек-воротничков и двумя ямочками у тоненькой шейки. Подошел и посмотрел в глаза:

— Что? Видела? Все видела? А может, и нет — темно было. Так я тебе сейчас еще раз покажу! Смотри-смотри!

Он перевернул пьяную Галку на спину и медленно, приговаривая «Смотри! Смотри!», повторил с ней то, что ночью.

Но боль в душе не проходила. Напротив, она сгустилась, сделалась острее и безысходнее. «Целовалась, целовалась, целовалась», — слова эти звучали как приговор. И из этой боли вдруг снова выплыли дедушкины слова: «То, что любишь, надо любить до конца».

Юрка еще раз подошел к Тане, глубоко заглянул ей в глаза, сжал кулаки, потянулся и... аккуратно снял со стены, уже твердо сказав: «Все равно я тебя не отдам». Потом поцеловал в губы и спрятал в школьный портфель.



Выпроваживая Галку, он отстраненно чмокнув ее в губы и, пряча глаза, сказал: «Спасибо, Галь, ты самое то», и принялся за уборку.

Начав дело, он с удивлением узнал, что, против общих утверждений, банки живые, да еще как живые: одни бодро удирали от него, проявляя характер; вторые вяло отдавались тут же; а третьи же норовили сбиваться в стадо. Отловив, наконец, всех, Юрка запихал их в огромный мешок для мусора, прибавив туда же «отметанные Веркой харчи», которые уже хорошо подсохли и легко поделились совочком.

Дошла очередь до Сталоне. Особенно раздражал Юрку новый цвет героя, и с этим цветом ничегошеньки поделаться было нельзя: сколько он ни тер тряпкой — помада только гуще впивалась в бумагу, размазюкивалась и убираться не хотела. Протерев до дыр печень, пах (на котором той же красной помадой был изображен вот такой член) и полколена Сильвестра, Юрка прощально кивнул своему любимцу и напрочь содрал его с пьедестала вместе с обоями. На хруст прибежала бабушка:

— Господи! Юрочка! Да ты никак генеральную уборку затеял. Кто ж — в воскресенье-то, а? — Она посмотрела на Столоне и сожалеючи покачала головой. — И кто ж его, бедолагу, так? А ты уж не грохочи — вон ведь весь дом перепугал треском-то. А сор — давай, сор я приму.

Юрка заметил, как бабушка мельком бросила взгляд на место, где висела фотография Тани, и в ее старых добрых глазах мелькнуло что-то похожее на легкое сожаленье.

«Знает, — подумал Юрка. — Все знает. Правильно говорила: «с думкой».

Бабушка приняла «пакетик», и Юрка продолжил. Да, все вокруг и впрямь требовало генеральной уборки: портрета Тани не было, на его месте зиял маленький свежий прямоугольник невыцветших обоев, Сильвестр был вырван с корнем; кровать, истерзанная Галкой, пахла густым потом; на кресле стояло полуведро с водой, в котором ровным мутным слоем плавали вчерашние окурки. Большим зубом ныл телевизор. Все было «не как вчера» — вещи взбунтовались, даже не вещи, а сам комнатный дух был чуждым, как будто был домовый — и нет его, убёг, и убёг навсегда.

Юрка сдернул с кровати белье, с отвращением запихал его тугим комком в ящик, рухнул ничком на голый тюфяк и лежал так около часа, пытаясь понять: что же стряслось в его такой простой и понятной жизни, за что она его так и что делать дальше.

Отлежавшись, он встал, поставил несчастный телевизор на тумбу и оттащил кресло на те самые четыре отметины, которые были их родными гнездышками уже лет двадцать.

В углу, незаметный, лежал пенал. Сердечко Юркино ёкнуло. Он достал «поджигу», вложил в руку. Игрушкой она уже совсем не казалась.

«Застрелиться?.. Теперь-то все равно: изгажено, потеряно, зачеркнуто. Зачем жить дальше-то?» Эта мысль показалась ему так соблазнительна, что он примерил дуло сначала к груди, потом к виску, взвел курок и щелкнул. Страшно не было. Нисколючки. «А как надо стреляться? — подумал он. — Как правильно? В сердце или в висок? Будет больно? Или — сразу ничего не почувствуешь? А еще, говорят, можно набрать в ствол воды и вложить в рот — тогда всю черепушку мигом разнесет. Стреляться? Когда? Сейчас? А бабушка? (родители недавно погибли — автокатастрофа). А ребята? Скажут: «Слабак, тряпка. Из-за бабы».

Нет, стреляться было невозможно. Но две эти поджиги начинали жить новой жизнью, наполняясь решительной силой — оживая. Они просили — нет! требовали применить их. По праву чести.

«Застрелить его? Подойти вот так при всем классе — и между очков двумя пулями. А уже потом — себя».

Нет, в этом было что-то гадкое — стрелять в безоружного, ничего не подозревающего человека. Да и что он, Сашка, виноват что ли, что в него влюбилась Танька, а он — в нее? Нет, не виноват. Как в нее не влюбиться.

«А если Таньку?..» Но от этой мысли Юрка сразу вспотел и отбросил пистолетик на тюфяк. «ЕЕ? Наказать за предательство? А вообще, можно ли наказывать баб за это?» Да и не испугается Танька — глянет со своей тоненькой улыбочкой в глаза Юрке и скажет: «Давай, стреляй скорее, а то мне еще в музыкальную школу успеть надо».

Значит — себя... Но тут опять, будто из дальнего угла, выплыли слова дедушки: «То, что любишь, нужно любить до конца». До конца? Чьего?

Юрка взял обе «поджиги». Одинаковые. Красивые. С хищными надежными стволами. И вспомнилось? «Две пули, пистолетов пара...»

Стоп! Чертовка! Она же еще тогда, на том уроке все подсказала: Черная речка. Черная речка! Как просто... Но Сашка не умеет стре-



лять из «поджиги». Да еще испугается или «накатает» в ментовку. Или просто рассмеется и спросит: «Вы не смотрели на часы, сударь? За окном двадцать первый век. Я бы с охотой, но... так сказать... время прошло. Давайте выберем что-нибудь менее экзотическое. Вы не против?» И усмехнется. И будет прав.

Но Юрка чувствовал, как, словно заговоренные, теплеют, оживают, наполняются настоящей силой два его пистолета. И — поверил им.

4.

Весь понедельник Галка и Верка в открытую посмеивались в сторону Тани, подбрасывая шуточки, вроде «а он ничего», «сколько в нем силы, сколько в нем страсти». И видно было, как она на глазах превращалась в маленького колючего ежонка: сжалась, напрыглась, чувствуя — не простят. С другой стороны, во взгляде ее появилось, зазвучало что-то новое, гордое: да, целовалась! Да! Да! Да! А то, что для школы это не новость — она уже поняла.

Юрка, Серега и Петька из-под парт показывали девчонкам во-от такие кулаки, чтобы, дуры, заткнулись. Да уж как заткнуть это извечное женское желание потоптаться на упавшей подружке? И треп продолжался.

На одной из перемен Галка подошла к Тане, снисходительно окинула ее тоненькую девичью фигурку, поставила (как тогда) руку на бедро и лягнула:

— Ну точно такая же, как с портретика, только «матросочки» с крылышками не хватает.

— Какой «матросочки»?.. — по инерции переспросила Таня и — поняла: Галка говорила о той фотографии, что висела на стене в Юркиной комнате.

Галка глубоко заглянула ей в разрез груди, усмехнулась и сказала, будто плюнула:

— А твой-то — ничего. Настоящий мужик.

В сознании Тани вдруг все смешалось: который — мой? Она вспыхнула: неужели Галка... с Сашей? Не может быть!

Звонкая пощечина долго висела в тишине.

Галка сбросила руку с бедра и отступила:

— Чокнутая! Твою... Сама же бросила, а теперь дерется! Дура!

И у Тани отпало от сердца:

— Ты о Юре? Прости.

— Прости-прости. Врезать бы тебе, да еще по парте размажешься, тряпок не хватит собирать.

— А ты врежь. Галя, врежь. Я серьезно. Я разрешаю. Я думала, что ты о...

Галка только плюнула и отошла, потирая щеку и тихо матерясь.

Юрка видел все это со своей задней парты и ничего не успел. Он уже летел, опрокидывая стулья, чтобы разнять девчонок, но когда услышал «Ах, ты о Юре», замер в полудвижении, и ему показалось, что он умер. Стало темно и тихо.

А Таня подошла к нему и сказала:

— Прости. Помнишь, мы учили стих Баратынского: «Не властны мы в самих себе И в молодые наши леты Даем поспешные обеты, Смешные, может быть, всевидящей судьбе»? Я полюбила, Юра... Не тебя.

И — пошла от него прочь. Навсегда.

А на Юрку нашла злость — та самая, которая копилась в длинном футляре, лежащем в его портфеле. И он тихо, но зловеще сказал Тане вдогонку:

— Не пожалей.

Она остановилась, вернулась к нему и сказала:

— Я не твоя жена. И не твоя раба. Если ты сделаешь что-нибудь плохое Саше... Не делай, это моя последняя к тебе просьба.

— Bravo! — развалясь на стуле, как в театральном кресле, захопал Витька Первышев. — Пушкин был бы доволен. Ай да сценка! — но через секунду Серега уже сбил его с места ударом кулака.

...В этот день Саши не было в школе — опять очередная олимпиада, то ли областная, то ли городская, — он привык к ним и числился в школе «на чемоданах». Бывал он и Германии, и в Англии, но всегда оставался, как о нем сказал директор Сан Саныч, «русским интеллигентом незапятнанной чистоты 19 века». Но никогда не зазнавался, а гонял мяч вместе с ребятами по школьному двору, таскал парты, мыл доску во время своего дежурства. Как все. И вот теперь... Таня.

Когда на следующий день он вошел в класс, то сразу почувствовал: всё не так, всё не на месте. Не *так* разговаривают ребята, не *так* смотрят, — во всем чувствовалось какое-то второе, подводное движение — предощущение каких-то нехороших перемен. Было такое чувство, что все пришли в школу не учиться и общаться, а чего-то *ждать*. Вот прошла Вика, улыбнулась на его «здравствуй», но



на какую-то долю секунды все-таки пристальнее посмотрела ему в глаза. Вот Первышев скривил усмешечку, взглянув на него. И Света не спешит прильнуть: «Где был, что видел?», а смотрит на него тревожно издалека.

Но вот Таня-Танечка...

Радостно, с улыбкой в «сто ватт» Саша поспешил к ней и уже опустил руку в карман, чтобы достать презентик-талисман — черно-го сфинкса, сделанного из настоящего нефрита, но и Таня испугала его: сдержанно кивнула и тут же опустила голову в тетрадь. А из угла уже совсем тяжело, недружелюбно смотрели на него «ЮПСы», они же Юрка, Петька и Серега. Они кивнули и проводили его взглядом до парты. В классе было *тяжело*, и Саша чувствовал это даже по учительским движениям и словам. Он даже не *чувствовал*, он *чуял*. Как-то о нем сказало одно местное научное светило: «Он умеет чують главное».

И еще — сейчас в классе не было никакой радости, вообще никакой, а просто был поток школьного времени. А для него НЕ радоваться было почему-то больно.

В течение всего дня Таня не отвечала на его улыбки, была напряженной, старалась вообще не оборачиваться в сторону его парты. А движения ее были такими, будто она сейчас же готова была защититься от чего-то опасного и неожиданного. Только один раз, принимая сфинксика, она улыбнулась ему лучистой улыбкой, а другие улыбки были чужие, она словно боялась и предупреждала. И ни разу за первые четыре перемены не подошла к его парте.

По классу с бешеной скоростью бежала трещинка Мэрфи. А раз побежала, то что-то всенепременно должно было рухнуть. Вскоре Саше стало казаться, что он-то и есть эта трещинка. Он сосредоточился и стал делать максимально все правильно, чтобы хоть на время замедлить это разрушительное движение. Да-да, уже на третьем уроке он совсем понял, что трещина Мэрфи — это он. Обычно не было случая, чтобы учителя не обращались к нему. Тем более, сейчас он пропустил целые два дня, пусть по уважительной причине, но пропустил. Но нет — ни вопроса. Обычно то справа, то слева шептали: «Сашка, а как у тебя — у меня не сходится» Или: «Шур, выручай — кинь шпорку». Сегодня же он был в полной изоляции. Даже нет — скорее, его **не было**. И это становилось страшно.

Однако вся штука этой трещинки в том, что однажды она все равно добежит и расколет любую скалу.

Это случилось на пятом уроке — химии.

...Юрка плавал по углеродам, плавал вдоль и поперек, но «тонуть» не хотел — не в его стиле. Порой он нес такую чушь, что Вера Федоровна роняла голову на грудь и тихонько стонала. В конце концов, она все-таки решила поставить Юрку на якорь, заканчивая это дальнейшее плавание:

— Волгин, ты учил?

— Учил! — честно мотнул Юрка.

— Понял?

— Понял! — таким же честным голосом отвечал Юрка.

— В таком случае (она прихлопнула ладошкой стол), кратко и ясно: что понял?

Юрка надулся от мысли и выпалил:

— Углеродород — это водородный углерод.

Класс лег! Не лечь было нельзя. Со всеми вместе опрометчиво лег и Саша. Когда шквал хохота подутил, Юрка, красный-прекрасный, подошел к Саше и приказал:

— Встань!

Таня сделала движение в их сторону, но было поздно — еще всхлипывая от смеха, Саша механически подчинился приказу. Тогда Юрка без замаха и усилия дал ему одну, вторую, третью пощечины. Дал и сказал:

— За все, дружок, нужно отвечать. Так-то, — и медленно направился к своей парте.

А Саша, высокий, немного сутулый, остался стоять в рухнувшей вдруг тишине. Не оборачиваясь к Юрке, он ответил:

— Я отвечу, Юра. Я отвечу.

— Волгин, — попросила Вера Федоровна, — измени, пожалуйста, направление на норд-вест (это направление тебе известно?) — и однозначным жестом указала на дверь.

Юрка изменил. Совершенно спокойно.

Трещинка Мэрфи расколола скалу.

Когда Юра вышел, Саша спросил:

— Вера Федоровна, вы позволите мне выйти?

Старая учительница, приспустивши очки на кончик носа, как-то по-новому посмотрела на Сашу и ответила:

— Александр. Мне бы этого очень не хотелось, но, на мой взгляд, тебе не просто можно — тебе нужно выйти. И именно сейчас. Да-с... А все остальные запишем: «Углеродороды — это...



...Юрка курил в туалете, даже не прикрыв за собой двери. Присев на подоконник, он тупо вглядывался в раннюю осень: в посеревшее футбольное поле, лысеющие тополя над школой. «Есть в осени первоначальной... Есть в осени первоначальной...» — бубнились в его голове чьи-то строки. «Есть, есть» — заладил, нет в ней ничего, в этой осени, тоска одна», — он попробовал прогнать стихи и начал рассматривать надписи на подоконнике — живые свидетели эпох минувших. Сквозь многослойную краску, которой пытались забыть эти эпохи, смутно, но еще читалось: «1992. Всё — свобода», «Коля + Света», «Ура — сдал!» Юрке подумалось: «Коля + Света... И жив ли тот, и та живая ль?.. Ну, блин, Галина, вбила в голову кучу цитат — на все случаи жизни». Он достал из кармана перочинный ножик и стал выкоробывать «Юра + ...»

— Кхм... Не помешаю?

Перед ним стоял Саша, собственной персоной. От удивления Юрка чуть не съел окурочек, поперхнулся дымом, закашлялся, да так, что слезы из глаз.

— Тебя-то... к-ха...тебя-то... ха... за что сюда?

— Во-первых, — усмехнулся Саша, — курить вредно, даже если и полезно. Во-вторых, я сам попросился. В-третьих, меня как бы благословили... выйти.

— Кто благословил? Вера? Во дает!

— Да-да, представляешь, так и сказала: «Не просто «можно», а «нужно» выйти.

Зависла пауза... Когда бьют друг другу морды — это лучше, по крайней мере все понятно. Сейчас же ничего понятно не было, напротив — сплошные непонятки.

— Ты меня из-за Тани? — спросил, наконец, Саша, стараясь не смотреть в глаза Юре.

— Догадливый. — Юрка так же изучал вид за окном и механически поковыривал подоконник.

— «Они сошлись», так?

— Да пошел ты к черту со своей классикой. Сижу вот тут, а она, эта литература, и изнутри и снаружи... — Юрка резко повернулся к Саше: — Ты хоть понимаешь, что делаешь-то? Мы с Танькой с седьмого класса. Мы же как одно с ней. А тут ты... Ты из меня сердце вынул. Гад ты, Сашка, гад.

— Зачем ты ударил меня при всем классе? Чтобы уж наверняка?

— А чё ты ржал как лошадь?

— Ну, во-первых, то, что ты рассказывал, было действительно... смешно. Но не в этом дело. Смеялись все... Три раза по лицу... Насколько я силен в старинном этикете, это не просто мордобой, а вызов?

Юрка закурил новую сигарету.

— Да — вызов. Если ты не откажешься от Тани. Но ты, конечно, не... Да уже и не в этом дело.

— И как же мы с тобой будем выяснять отношения? Соберем кольцо сотоварищей и будем им на радость морды друг другу бить, как во времена Московские? Так тут я не силен — ты знаешь. Ты мне быстро и приятно измочалишь и морду и все остальное.

— Измочалил бы...

— Спорт? Смешно. Не тот случай.

— Не тот, Саша, не тот.

— И еще... три раза по лицу — это ведь насмерть, опять же насколько я помню из классики.

— Насмерть, Саша, насмерть.

Юрка до сих пор почему-то не мог смотреть в глаза этому очкастому умнику, который не побоялся прийти к нему в курилку и спокойно вслух размышлял о вещах, о которых Юрка только начинал думать.

— И какое же оружие в нашем распоряжении? — спросил Саша.

— А вот какое! — и Юрка, распахнув полу пиджака, достал «поджигу».

— Можно посмотреть?

— Не просто можно, а нужно, даже очень детально, даже... черт тебя возьми, на — любуйся!

Через пару минут Саша отдал «поджигу» обратно.

— В общем-то, примитивный пистолет, но сделан со знанием и любовью. Это, кажется, «пугач»? Из него убить вполне можно.

— Не «пугач», а «поджига». А насчет «убить» — спроси у полусотни ворон, которые в парке валяются.

Саша кивнул:

— Верю. Смотри, конечно, сам, но если хочешь, то я могу изготовить более совершенное оружие, однако, думаю, здесь дело не в этом, — и он впервые заглянул в глаза Юрке.

— Не в этом. — И тут до Юрки дошло: — Так ты СОГЛАСЕН?

— Да, разумеется, причем первый выстрел за тобой — я обидчик. Только ты меня сразу убьешь. Как ты только что говорил — «сотни ворон» — а я...



Юрка был и смущен, и поражен. Он ждал насмешек, испуга — чего угодно, только не этого короткого «согласен». Он усмехнулся:

— Кто первый, кто второй — по фигу. Ты что, на самом деле?..

— Юра, ты сначала научи меня пользоваться этой штукой, а потом... Как говорит та же Галина, «у нас в запасе вечность».

— Ну, вечность не вечность, а за месяц научу. Так... Одевай сегодня резиновые сапоги, что-нибудь потеплее и к четырем подходи к ресторану «Садко». А там я тебя сведу куда надо — эх! и местечко я знаю. Еще тогда... Ну да это к делу не относится. Итак, 16-00 — у «Садко». Ждать?

— Конечно, я приду. Кстати, я могу порох принести — у папы есть ружье. И дробь. Покажи мне еще эту ...

— «Запоминай — «поджигу». Держи.

Саша взял пистолетик, глянул в ствол:

— Где-то под картечь. Я возьму с собой «ладильницу». Я знаю, что это за штука.

Юрка удивлялся все больше, и ему все меньше хотелось убивать этого длинного очкастого жердя. Но теперь уже убивать было **нужно**.

— Ты классный парень, — усмехнулся он. — Не ожидал. Если бы не Танька... Я думал, ты слабак, интеллигентик.

— Ты просто меня не знал, мы все вообще мало знаем друг о друге. Ничего удивительного здесь нет, кроме, пожалуй, того, что условия дуэли обсуждаются в туалете. И еще. Разумеется, Таня ни о чем догадаться не должна. А последствия, думаю, можно устроить самым лучшим образом: самоубийство, неосторожное обращение с оружием или еще что-то.

— Ты уже и об этом?..

— Юра, одни всегда красиво умирали на дуэли, другие же весьма некрасиво и долго сидели в тюрьме. Но мы еще подумаем об этом. И еще — мне нужен секундант. Никому из своего круга я, разумеется, доверить это не могу. Поищи для меня.

— Найдется. Это уж точно.

— Тогда до четырех, у «Садко».

И Саша протянул руку. Юрка замер на мгновение, еще раз посмотрел Саше в глаза и тоже протянул свою.

В любом городе есть место, овеванное некой тайной. О нем слагают легенды, мешая правду и небыль, внося в повествование жуткие, подчас леденящие подробности и передавая их из поколения в поко-

ленье. Такова «Глухашка» — правая сторона Ломоносовского парка. Сколько бы ни пытались власти облагородить ее: вырубить лишнее, сровнять-выровнять, засадить чем-то декоративным, приличным, — не получалось: уже через год-два мирок этот дичал, образовывались извилистые провалы земли, маленькими оврагами струящиеся к берегу реки; вместо жимолости перла какая-то дурь, которая вмиг сплеталась меж собой в джунгли. По особой прихоти природы возникали внутри этой сельвы проплешины-поляны, тропки к которым знали лишь бомжи да пацаны. Так было 25, 15, 10, 5 лет назад. Так будет, видимо, всегда. Гиблое место. Оно наглухо гасило всякие звуки — хоть пьяные песни, хоть крики о помощи, хоть выстрелы. Одно слово — Глухашка.

Здесь-то по старой памяти и облюбывал Юрка полянку-проплешинку, чтобы обучать Сашку убивать себя.

Сначала ничего не получалось. Саша резко дергал курок, и пуля летела куда угодно, только не в фанерный щит с изображением человека, укрепленный на гнилой березе. Юрка не нервничал — учил спокойно:

— Плавней, плавней спуск-то. От щелчка до выстрела еще две секунды — надо удержать линию прицела. Нашел точку и не выпускай, пока не бахнет.

Через неделю стало получаться лучше: дырки от картечи ложились кучней, а однажды одна почти вошла в другую. И тогда Юрка под величайшим «строгачом» дал Саше «поджигу» домой — тренироваться в часы досуга «вхолостую». «И еще, — говорил он, — не забывай: наш милейший Александр Сергеевич Пушкин таскал с собой постоянно трость в семь килограмм. Это чтобы рука была постоянно в форме. Вот и тебе советую запихать в сумку что-нибудь потяжелее».

— Сашенька, что у тебя за тяжести в сумке? — недоумевала Таня, когда они уже совсем открыто, никого не смущаясь, возвращались домой после школы. Саша краснел и отшучивался: «Ты меня на физкультуре в зале видела? Кожа да кости. Вот надо мяса на кости и нарастить, чтобы соответствовать стандарту».

— Нет, — не верила Таня. — Врешь ты все.

— Почему «вру»?

— Потому что мясо по всему телу наращивают, а у тебя сумка всегда в правой руке. Это не в твоём стиле — не рационально. Да и какой из тебя «стандарт»?



Саша усмехался и перекладывал сумку через плечо.

Через две недели от пробоины до пробоины расстояния почти не оставалось.

— Молодец! — ликовал Юрка. — Теперь будем работать по живой мишени.

— Как это... по живой? — заволновался Саша.

Юрка заржал: — Да не в собаку же я тебя стрелять заставлю. А ты что думаешь, я для тебя себя на щите нарисую или портрет свой представлю? Нет, дружок, ты в меня-живого стрелять будешь. Короче, слушай сюда: я одеваю ватник, ты убираешь из ствола пули и палишь только пыжами.

Саша побледнел:

— А если я ... того... забуду вынуть? Или — в лицо?

— Я тебе напомню, а на всякий случай сам заряжать буду. А голову я ушанкой закрою.

— Зачем это, Юра?

— А ты когда-нибудь в живого человека стрелял?

— Нет.

— Вот теперь и поучись. А то выйдешь к барьеру, а у самого ноженьки и подкосятся: как же — живой ведь! А я — в него... стрелять! Ах, жуть какая! А так потренируешься — и все будет путем.

Дело на самом деле пошло хуже. Сашина рука, уже окрепшая, клвавшая «со вскидки» пулю в пулю, стала дрожать. Юрка, одетый в ватник и старую ушанку, орал на него: «Да не жмурься ты, не жмурься! Все точно так же. Я — фанерный! Я — фанерный!».

И пришел день, когда, уже под первые октябрьские холода, Юрка снял и ватник, оставшись в плотной штормовке. Саша побледнел:

— Просто так или пыжом?

— Пыжом.

— Будет больно. Юра, не надо.

— Надо.

— Не буду.

— А знаешь, в какие игры мы с твоей Танькой играли: залезем под кровать и ...

Саша резко вскинул руку, шелкнул курком, и через секунду из ствола дунуло огнем.

Юрка стоял в девяти шагах, скалясь от боли в животе, но сквозь оскал пробивалась улыбка:



— Всё — выучил.

Саша подбежал к нему:

— Очень больно. Может, надо что?..

— Нормально. Молодец. Теперь отдавай «поджигу», я ее дома приведу «в полную» и... как там у Пушкина, «часы урочные пробили». У, блин!!! — взвыл от боли Юрка, — здорово учит, Галина, есть что вспомнить! Давай сюда...

— Не отдам, — сказал Саша. — Я сам ее почищу и ... все будет в порядке.

Юрка усмехнулся:

— Черт с тобой — дарю. Навсегда. Сам делал — хорошая штука.

— Я знаю... — Саша крепко сжал «поджигу» в своих «музыкальных» пальцах и чуть прижал к груди. — Итак, когда?

— Послезавтра, в субботу. Скажешь Таньке, что на олимпиаду уехал или еще что-нибудь соврешь. Место забито: Черная речка (ха!), 16-00, у мыска. А кто — на чем, это до фени. Хоть Ленский на лыжах, хоть Онегин на мотоцикле. — Юрка подавился смешком: — Вот посмотреть бы.

— Юра, — Саша все еще держал «поджигу» обеими руками. — Ты не думай, что я трушу, но, может... не надо. Юра. Мы же с тобой подружились. По-настоящему.

Юрка подмигнул:

— Надо, Федя, надо. А мой Петька и твой Серега будут на месте. Ты себя только доставь. А синяк этот (Юрка полурасстегнул куртку, и Саша ахнул) я за два дня залечу — мне его Галка ночью залижет.

— Всего два дня... — сказал Саша.

— Ага. Дуй к моей-твоей Таньке, а я на сегодня-завтра Галку закадрю — ух и груди у нее, не пробить. Все: Черная, шестнадцать, у мыска.

И ушел по правой тропке в сторону «Садко», держа руку на животе.

5.

— Верка! Открывай! Открывай, говорю! Верка! — Галка уже сломала каблук о дверь и колотила по ней кулачками, головой — всем, всем, всем. — Да открывай же быстрее!!!

Дверь пустила испуганный лучик света и распахнулась. Галка ничком упала на Верку и истошно завывала.



— Да что с тобой? Нажралась, что ли?

— Нет, Верка, нет, не нажралась. Там, сейчас, на Черной Юрка с Сашкой. И Петька с Серегой! Надо успеть, Верка, надо успеть!

Верка шаркнула ее по щеке ладонью, схватила за шкурку и потащила на кухню. Втащила, бросила на лавку, рванула дверцу холодильника, вытащила бутылку водки и сунула Галке:

— А ну-ка пей! Пей, говорю!

Галка дрожащими руками отстучала два глотка, подавилась, приснула и растерла водку вместе с помадой и тушью по лицу. Ее колотило:

— У-у-у...

— А ну рассказывай! — Верка еще раз хорошенько хвастанула ее по щеке.

— Вот, — дрожащими руками Галка протянула фотографию Тани. — Вот. Сегодня ночью мы были с Юркой. Все было хорошо, очень хорошо. Когда он ушел в туалет, я залезла в его портфель (не знаю — зачем), а там — Танька. Ну, думаю, погляжу еще да поиздеваюсь. А на обратной стороне карточки-то — цифры. Вот они: 18 окт. 2003 и приписка «Всегда любил. Прощай. Черная. 16». Ну, думаю, и слава богу, что «прощай», теперь мой навсегда будет. И сунула ее обратно в портфель, пусть что хочет с ней делает.

— Ну?

— Доспали. Хорошо доспали. И утром такой хороший был, только гнедой какой-то.

— Дальше!

— А час назад вижу: он, Серега и Петька, в черных костюмах, в галстуках мимо меня вроде как в сторону Октябрьского моста на «тачке» проехали. И тут меня как в голову стукнуло: 18 октября 2003 — это же СЕГОДНЯ! То была не старая подпись, это СЕГОДНЯ «прощай». Помнишь, как Танька про Черную речку сценку сыграла, помнишь? Они туда поехали, туда, понимаешь, и — в черном! Я — к Юркиной бабушке, говорю, сумку забыла. Хвать фотку еёнюю — и к тебе.

— Ясно. — Верка мигом набрала телефоны Сереги и Петьки. Ни того, ни другого дома не было. Петькина бабушка только и сказала, что «вырядился будто на свадьбу и такой сурьезный был».

— Так, Галка, ты телефон этой сучки помнишь?

— Какой сучки? — Галка хмелела, ее мелко-мелко трясло.

— У нас одна.

— Нет, не помню.



— Черт с тобой, — Верка набрала 009 и, странно передернувшись, будто перевоплощаясь, спросила, нет — потребовала: «Телефон Ларичевых» — и назвала адрес. — Есть! — Она точными рывками набрала номер. — Ну, ну, где ты там?.. Давай скорей!

— Алло. Слушаю вас, — раздался голос Тани.

— Привет, Татьяна. Это Вера из твоего класса. Вопрос очень срочный и очень важный. Ты не знаешь, где сейчас Саша?

— А тебе зачем?

— Немедленно (слышишь, немедленно), — не обращая внимания на Танин вопрос, Вера надавила голосом: — Немедленно вспомни все, что было связано с ним за последний день, полдня, час. Когда ты видела его последний раз?

— Боже мой, — Танин голос растерялся, — Да что случилось? Ведь только вот, часа полтора назад...

— Что он говорил, во что был одет? — наседала Вера.

— Сказал, что уезжает на олимпиаду... в черный костюм и белую рубашку... с бабочкой... Ласковый был, странно ласковый.

— Он не сказал, куда уезжает?

— Да-да, сказал, и название какое-то не для олимпиады...

— На Черную речку? — подсказала Вера.

— Да, на Черную... почему-то на Черную... не-е-е-е-е-т... — провалился Танин голос.

— Молчать!!! — заорала в трубку Вера. — Слушай сюда: все деньги — с собой, на ноги потеплее — и к подъезду. Через десять минут мы с Галкой будем на «тачке». Все — бегом.

Она набрала номер такси, одним движением выхватила из бельевого ящика две простыни, свалила в пакет всю аптечку, бутылку водки, схватила за шиворот Галку, и через пять минут они уже подлетели на «Волге» к Таниному подъезду. Дверь — нараспашку — влазь — вперед! И вот уже ванты Октябрьского моста замелькали где-то слева.

6.

Юрка стоял на самом краешке мыска, на который и слева, и справа накатывались мелкие ленивые волнышки и без шума отбежали обратно. Было довольно зябко, но утренний иней давно уже стаял, оставив после себя влажную траву, которую поздний октябрь давно уже лишил блеска. Невдалеке влажно чернела обугленная коряга, а под ней — выпалок с бутылками и ржавыми пакетами — след давнишнего пикника.



— Однако, холодновато, — сказал Петька, кутаясь в свой пиджак, — Может, в соснычок сбегать — костерок разведем?

Юрка молчал. Он снял пиджак и, придерживая за вешалку, закинул его за спину; сорвал длинную вицу из ивняка и пошел вдоль мыска, похлестывая песок. Он вышел на то самое место, откуда открывалась вольная перспектива на море и острова. Вот свежий ветерок взбил его льняные волосы, метнул наподобие крыла пиджак, вспарусил рукава рубашки.

Вдали послышался звук мотора.

Юрка глубоко-глубоко вдохнул в себя живой, прохладный ветер, стегнул по ряби вичкой и забросил ее далеко-далеко в речку, проследив, пока она не упала плашмя в воду. Она упала, и над ней сразу закружились чайки. Тогда он повернулся и пошел к ребятам.

Невдалеке остановилась черная «Волга», и из нее вышел высокий молодой человек, похожий на музыканта — в черном фраке, в крахмальной рубашке и черной бабочке. Он захлопнул дверь, вежливо кивнул шоферу и быстрыми шагами направился к мыску.

— Привет, — протянул руку Саша.

— Привет, — подал свою Юрка.

— Я немного опоздал (он глянул на часы) — забуксовали у Городища: песок, да к тому еще и влажный. Пришлось помогать.

— Нет-нет (Юрка глянул на свои) — 15-50... Все в порядке. Что ж, начинать?

Саша усмехнулся:

— Начнем, пожалуй.

Петька и Серега стояли поодаль и невесело смотрели на них.

— Секунданты! — громко крикнул Юра.

— Чё орать-то? Здесь мы, здесь, — отозвался Серега. Они подошли. Серега прокашлялся, будто перед устным ответом, и начал:

— Господа. Есть ли какие-то причины, которые могли бы помирить вас и уладить дело полюбовно? Ты, Саша.

— Да, есть — я очень уважаю Юру.

— Ты, Юра.

— Нет, я очень люблю Таню.

— Оставил ли каждый при себе док... (тьфу! как там их?)... записки, которые в случае его смерти защитили бы противника?

— Да, — сказал Юрка и передал Петьке пакет. — Здесь о том, что я добровольно ухожу из жизни и не имею к Саше никаких претензий.



— Да, — сказал Саша. — Здесь — о том же. — И отдал Сереге черную папочку.

— А теперь, — сказал Юрка, — обсудим участь секундантов, чтобы закон...

— Да ладно тебе, — перебил Серега. — Ну, гуляли себе гуляли у черта на куличках при полном параде, вдруг бах-бабах. Что такое — ничего не понимаем — труп! Ух, как здорово! И, вроде, труп-то знакомый. Ой, да вроде, и из нашего класса. Нет, мы тут ни при чем.

Юрка усмехнулся:

— Ну что, по сути, правильно.

Серега покивал:

— Да-да, только что по сути.

Саша посмотрел на часы:

— Без трех...

— Пора, — кивнул Юрка.

Где-то вдалеке послышался нервный рокоток мотора.

— Ну и хрен с вами, — в сердцах сказал Серега, — пошли, у нас там все давно размерено. Ровно девять Петькиных шагов. Ветерок небольшой. На полки я столько пороха насыпал, что осечки не будет — даю башку на отсечение.

Юрка подошел к барьеру и просто разогнул палец — пиджак упал к его ногам. Он отшвырнул его в сторону и принял от Петьки свой пистолет.

Саша снял свой фрак, аккуратно отложил в сторону и взял у Сереги свой.

Петька и Серега отошли шагов на двадцать. «Козлы!» — тихо прошептал Серега и покачал головой: — «Какие козлы!», а потом махнул рукой: «Сходитесь».

Гул машины приближался, метался где-то совсем рядом, между соснами.

Поднимая руку с оружием, Юрка стал медленно, будто на ощупь, подходить к черте барьера.

Саша сделал три быстрых шага и, не метаясь, «на взлет», выстрелил.

— Ах! — разом вскрикнули Серега и Петька.

Юрка все-таки успел сделать выстрел, потом взмахнул руками, как крыльями, и рухнул на песок.

На песчаный взгорок вылетела черная «Волга», из которой уже выскакивали девчонки. Галка, задев подножку, упала в траву, вскочила, увидела и, присевши на корточки, пронзительно закричала. Таня и Вера замерли на месте и не могли двинуться.



7.

...Он нес Юрку к машине. Петька и Серега шли сзади. Юркины руки медленно, в такт шагам, то вздымались, то опускались, будто набирая силы для полета. Голова его была низко запрокинута, как будто он хотел рассмотреть всё небо, и ветерок свивал и свивал его русые волосы. На рубашке, слева от третьей пуговички, алело маленькое пятнышко.

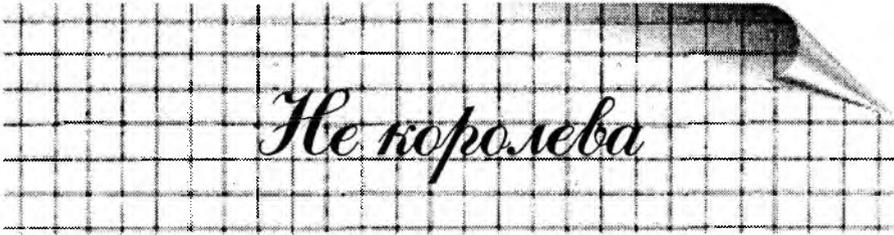
Вера, наконец, очнулась и ринулась к нему с йодом и ватой, но, увидев ранку, ахнула и остановилась.

А Саша донес Юрку до Тани, бережно положил его перед ней на песок и сам сел рядом. Он медленно сдвинул Юркины сбившиеся волосы со лба и закрыл ему глаза.

«Знаешь... — проглотив тяжелый комок, сказал он наконец: — Последнее, что Юра успел сказать, было: «Если кого-то любишь, надо любить до конца». Так просто. Теперь это и я понимаю.

2000 г.





Не королева

1.

Всё, пора: Марина Королёва перестала ставить две скучные точки над своей фамилией. Еще в восьмом классе она объявила этому «Ё» войну — долой его, долой эти две обывательские точки. Королёвых много — так, обычная русская фамилия, а вот Королева должна быть одна — и только одна. И об этом должны были знать все: и ребята, и девчонки, и учителя и даже родители — все!

Еще в седьмом, когда Марина закапризничала на уроке физики, оттого что получила по контрольной «четыре», а не «пять», Ирина Викторовна усмехнулась: «Капризными могут быть только королевы, а вот Королёвы должны молчать и слушать». Наверное, в этот момент и дрогнуло в Марине решение: я буду Королевой, и вы все еще попляшете так, как я хочу. И началась война!

С этого момента домашнее задание выполнялось по-королевски: «от» и «до» с неизменным совершенством. Месяц за месяцем выравнивались буквы, пока не превратились в идеальных каллиграфических солдат-гвардейцев — стройных, с легким подобострастным наклоном. Всякие там кошечки-цветочки и прочая девичья блажь исчезли с обложек тетрадей — прочь! В уголке каждой тетрадки и на обложках учебников появились маленькие короны.

Самое трудное было с походкой и взглядом, но за два года Марина справилась и с ними. Когда, уже в «девятом», она шла по школьному коридору, перед ней расступались не только старшеклассники, но даже шкодливая мелкотня, норовившая устроить кучу-малу как раз посередине рекреации. Марина не обходила их стороной, она просто останавливалась перед ними и прожигала взглядом: королевы не сворачивают. «Во выеживается! Какая важная!» — ворчали ей вслед, но через полгода привыкли (наверное, в каждой школе должна быть своя королева). А ребята из старших классов уже кивали ей: «Привет, Марина!» и быстро-быстро окидывали взглядом ее фигуру. Она отвечала великодушной и в то же время чуть снисходительной улыбкой — как подданным.



Учителя тоже стали смотреть на нее иначе: одни с неприязнью и тайной завистью, другие — с уважением и невольным страхом.

На уроке географии у доски она небрежно, но точно показывала указкой страны и города, будто все это давным-давно принадлежало ей и уже порядком наскучило.

На английском она была настоящей леди и не спеша, чуть грассируя, отвечала монологи.

Даже на физре она была грациознее всех и вспрыгивала на брус легко, как будто сила притяжения находилась тоже в ее власти. Вспрыгивала, замирала на миг и словно нехотя делала все точно и правильно.

Единственное, что она разрешила себе делать не по-королевски, так это держать вилку в правой руке — так, маленький царственный каприз.

А насчет платья — никаких вычурностей и финтифлюшек, а сплошь изыск и элегантность, даже если это были самые обыкновенные джинсы.

Разумеется, подруг у Марины поубавилось, но прибавилось фрейлин, которые наперебой восхищались ее новой кофточкой, туфельками или золотым «Паркером» и нашептывали ей все новости, которые случались в классном королевстве.

Наконец, когда отец, по ее просьбе, подвез Марину на своем «Ниссане» почти к школьному крыльцу, две точки над «Ё» окончательно вспорхнули и растворились в пространстве.

Но так уж случается, что когда царица спрашивает у зеркальца: «Свет мой зеркальце скажи — я ль на свете всех милее?», то капризное стекло обычно отвечает: «Ты прекрасна, спору нет, но...»

...И это «НО» сидело наискосок через две парты от королевы и звалось просто: в первом классе — Ксюшка, в пятом — Ксюха, в десятом — Ксения.

...Вы когда-нибудь видели, как воздух стал девушкой? Вот так: закружился легким вихрем, крутанул вокруг себя просторное платье, сгустился в каштановую невесомую лавину волос, сверкнул искорками глаз — и получилась Ксюша. Да-да, она была сам воздух, и как бы ни пытались приручить ее, поймать, — не могли: ни парни, которым она кружила головы; ни девчонки, пытавшиеся завлечь ее в мирок девичьих интрижек; ни учителя. Нет-нет, она никуда не исчезала, напротив, была всегда рядом: и если помочь нужно, и если стенгазету сделать, и если поболтать просто так — по девичьи.



Но в руки не давалась — как воздух. А когда Ксении почему-то не было в школе — воздуха не хватало, становилось скучно и безвоздушно. И это чувствовал весь 11-А. В те дни Маринина корона повисала над классом, и давила, подчиняла. Но проходила неделя — Ксюша возвращалась и сразу радостным потоком вливалась в класс:

— Татьяна Юрьевна! Я все-все выучила, пока болела. Хотите расскажу? — И тут же, не дожидаясь разрешения, легонько взмахивала рукой и декламировала:

*...И лобзания, и слезы,
И заря, заря!*

И казалось, что на самом деле все это есть на свете, и что оно воистину прекрасно.

Так что зеркала не врало: «А царевна все ж милее...»

Нет! Ни о какой войне и речи быть не могло. Война? С кем — с этой Золушкой? Но... неугодных подданных надо наказывать или, по крайней мере, ставить на место. Иначе, какие же они подданные? Но как поставить на место воздух? М-да — задачка.

Однако жизнь — старая тетка — никогда не упустит случая позабавиться. Она словно подслушала королевские мысли и — пате, вот он, случай...

И звали его Кириллом. Перевелся он в 11-А из «никольской» школы «в связи с переменой места жительства».

...В его губы просилась свирель; льняные вьющиеся волосы спадали на самые плечи; в глазах плескалось майское небо, а пальцы... О, если бы о них знали художники! Короче говоря, не влюбиться в него сразу было, конечно, можно, но — глупо и даже противоестественно.

«Лель. Пастушок. — Невольно подумала Татьяна Юрьевна, когда Кирилл впервые вошел в класс. — Еще бы рубаху русскую да веревочку в пояс. И лапти. Игрушечка! Крышка девчонкам. Где мой-то шестнадцать лет?»

А он, войдя в класс, совсем не смутился, а улыбнулся такой хорошей, легкой улыбкой — как будто старым друзьям.

«Экий простачок, — подумала Татьяна Юрьевна. — Только бы не сожрали».

Свободным же в классе было только одно место — по правую руку от королевы.

— Привет! — сказал Кирилл, усаживаясь рядом с Мариной.

— Здравствуй, — кивнула она.

И тетка-жизнь потеряла свои шершавые руки — эх, потешимся!



2.

Через месяц Кирилл оброс двойками, как щедринский дикий помещик — шерстью. «Хвосты» были такой длины, что забегали и в шестой, и седьмой классы, не говоря уже о тангенсах, эссе и прочих премудростях одиннадцатого класса. Великий и могучий ЕГЭ навис над Кириллом, как волк над ягненком, и не было, казалось, силы, которая его бы остановила. Репетиторы хватались за голову и разводили руками — хвосты, хвосты тянулись через среднюю в начальную школу и мертвой хваткой обвивали Кирилла. Столько повторить не успеть.

«Успею!» — твердо решила Марина, когда за последним репетитором закрылась дверь, и Кирилл получил очередную двойку по физике.

— Все, дружок, — сказала она. — Сегодня в 17-00 у меня. Запиши адрес. С таким балбесом я сидеть не хочу. С собой — ручка, тетрадь и голова. Все остальное у меня есть. И — никому ни слова.

Он заморгал:

— Ты что, со мной заниматься будешь?

— Буду.

— А сможешь? Отец говорит, чтобы я в армию собирался...

— Я все смогу. А сейчас не мешай и слушай — урок идет. Армия подождет.

И она склонилась над учебником.

...Марина составила жесткое расписание занятий: с 17-00 до 21-00, с пятнадцатиминутными «лирическими отступлениями».

— А что будем делать в эти, «лирические»? — спросил Кирилл.

— Музыка слушать и беседовать. На большее не рассчитывай.

— Ладно, — кивнул он.

И — началось. Удвоенные «Н», тангенсы-катангенсы, графики и формулы — шквал знаний обрушился на белокурую головку бедного Леля. Но дело пошло: одно — когда над тобой виснет умный дядя, и совсем другое, когда... королева. Кирилл потел, худел, но постепенно «двойки» начали отступать, и учителя, удивляясь, спрашивали, у каких репетиторов он занимается.

А в «лирических отступлениях» слушали «хорошую», разную музыку, и для Кирилла стало откровением, что, кроме Тату, Дельфина и Алсу, есть Моцарт, Шопен и Паваротти, и они ничуть не хуже.

А под музыку болтали. Впрочем, больше говорил Кирилл: о том, как подкараулить первый гриб; как поймать первый парок в бане; как спастись от комаров на болоте.

Марина, как и надлежало королеве, улыбалась, кивала и изредка направляла разговор в нужном ей направлении.



Однажды, накануне мартовской дискотеки, она спросила:

— Как тебе наши девчонки? Ничего, да?

— Ага! — кивнул он. — Нормальные. Даже лучше.

— А Ксению заметил?

— Это которая как на крыльях? — спросил он.

— Она самая.

— Да... Девочка класс, вон вокруг нее сколько ребят вьется.

— Вьется-то вьется, — усмехнулась Марина, — да никому она не дается. И никто с ней не справится.

— Ты о чем? — насторожился Кирилл.

— Да так. Всем ребятам от ворот поворот дает, наверное, принца ждет... на белом мерседесе.

— Ну и пусть ждет.

— А тебе не слабо в принца сыграть? — Марина проколола его взглядом.

— Как это? Зачем? У меня нет «мерседеса».

— А вот так: на дискотеку я не иду, у меня дела. Вот и поуухаживай за ней: потанцуй, до дома проводи. Ты ведь у меня вон какой. — Она впервые вплотную подошла к Кириллу, положила свою ладонь ему на голову и начала гладить льняные кудри.

— Марина, зачем?..

— Как «зачем»? Сделаешь приятное девушке. Мы с ней подруги, так что мне не жалко.

— Что-то я не замечал, — покачал головой Кирилл. — Разные вы. Какое уж там — подруги.

— Разные — вот и вместе. Помнишь: отрицательно заряженные атомы притягиваются. Так и мы. Только о наших уроках — никому, даже ей. Как договаривались.

— Ладно... — пожал он плечами и взял Марину за руку.

Она не отняла ее...

3.

*...«Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж.
Королева играла в башне замка Шопена.
И внимая Шопену, полюбил ее паж».*

«Ай да Северянин, — усмехнулась Марина. — Как точно — паж. Куда он денется: по рукам и ногам теперь весь мой. Пастушок... В меру глупенький, в меру ласковый — так, серединка на



половинку. Пастушонок — не король. Поглядим-посмотрим, как защебечет та птичка, когда он начнет приручать ее. А приручит — я свистну, и — назад, ко мне. Не-на-ви-жу! Не-на-ви-жу!»

Она смотрела на ночной город с балкона своего девятого этажа. Родителей не было. В этих утомительных, дурацких уроках — перерыв. Можно и отдохнуть. Она сделала последнюю, самую сладкую затяжку и отшвырнула от себя окурочек, который маленькой звездочкой прочертил черный воздух и на миг вспыхнул искрами где-то там, внизу.

4.

Когда идешь вечером мимо школы и видишь, как в окнах актового зала дрожат, переливаются огни светомузыки, и, приглушенные, но такие же шальные, доносятся ритмы, то немного щемит в груди: почему я здесь, а не там? где мои потертые джинсы и патлы до плеч? где легкие лакированные «корочки» с острыми носочками? Где? Несправедливо! Там, всего в двадцати шагах от тебя, беснуясь от свободы и силы, бьется вольное сердце юности. Коленца — вот так, вразлет! Руки — вот так, нате меня! Отличницы и троечники, красивые и не очень, модные и так себе — все равны здесь. По лицам — разноцветные всполохи! Жарко! Как жарко! Снять, снять больше с себя! Снять — и прочь, в сторону, куда-нибудь! Пусть летит! Пусть все летит! И я — с ним! Без перерыва: вот так! вот я! Я и так могу, и так! Будто это уже не зал, а одно большое, мятущееся сердце. Да, всего в двадцати шагах, а может... годах.

*Мечется, мечется
стереовечером
светлое будущее
человечества!*

*Слушайте, слушайте,
ноги послушные:
воздух толкают
динамики дружно вам,
будто бы шлют
поцелуи воздушные.*

*Слушайте! Слушайте!
Слушайтесь! Слушайтесь!*

Музыка рушится,
 рушится,
 рушится.
 Льются тела безвоздушно-послушные.

Слушайте,
 слушайте,
 слушайте,
 Словно ударники, гулкие души их.

Мечется, мечется
 стереовечером
 светлое будущее
 человечества!

От скоротечности —
 до бесконечности
 мечется,
 мечется,
 мечется,
 мечется!

Разгоряченные, с бесенком в глазах, выскакивают они из школьных дверей за уголок, чтобы жадно вытянуть сигаретку, хлебнуть пивка из спрятанных в кустах сирени бутылок и баночек и — снова туда, где насквозь бьет музыка!

...Кирилл танцевал неправильно: он не наливал свое тело киношно-мужественной силой, топчась на месте и потряхивая в ритме кулаками, не выдвигал вперед подбородок, не сутулил туда-сюда плечи, а летал, вился, струился, переносясь то к черным динамикам у сцены, то кружа возле одной, другой девчонки, то оставаясь наедине с музыкой. Так дикарь, плененный ритмом, забывает себя и сливается с «раз-два, раз-два-три», не понимая и не желая понимать, почему так. Но только так. И вот уже тело — не тело, а часть этого потока. Он танцует не танец — он танцует себя.

Сначала Кирилл волновался: поручение Марины обижало, смущало его. Он боялся, что не сможет, и чувствовал, что пришел сделать что-то неправильное, плохое. Но постепенно музыка успокоила, подчинила его, повелела быть собой. И он поверил: слился с ней, забыв о том, зачем здесь. Танец, танец, танец...



Вдруг его щеку ласково ожег каштановый вихрь волос: это Ксюха мотнула головой, подчиняясь ритму. Ах, как прекрасен был этот ожог: в нем и страсть, и аромат, и легкость. Кирилл закружился вокруг нее, подчиняясь какой-то непонятной силе. А Ксюха метнула в его глаза улыбку — согласна! — и теперь они уже танцевали не рядом, а вместе. Еще минута — и они отодвинули, нет — разбросали! — танцующих, оказавшись в центре зала. Они не хотели — так получилось. Движения ребят и девчонок чуть замедлились, сделались наблюдательными, все смотрели на них: на буйство каштанового вихря и легкую поступь степного конька.

И — р-раз! Музыка замерла, как будто поставили подножку.

Ксения стояла перед Кириллом, но в ее глазах еще длился танец, длился, медленно угасая. И Кирилл стоял перед ней, еще полный замирающего движения.

Но музыка усмехнулась и продолжилась, но уже медленно, призывно — белым-белым потоком. Ксения улыбнулась Кириллу, приглашая быть приглашенной. И он понял, придвинулся к ней, обнял за талию обеими руками, а она положила ему на плечи свои тоненькие руки и чуть прижалась.

Да, музыка — это когда без слов...

...Они шли по ночному городу, обласканные ароматом юной сирени и легким небесным светом — то ли звезд, то ли Бога; шли, роняя простые слова; но во всем: и в самом неуверенно-медлительном течении этих слов, и в том, как они обжигались друг другом, касаясь руками, и в походке — звучало восторженное удивление: что же, что же происходит с нами.

5.

«Ну, и где же он, ангелочек? Уже полшестого. Где шляется? Может, не надо было спускать его с поводка: все мужики одинаковы, только почуют свободу — сразу слюни с подбородка и глаза по юбкам. Этот хоть и молодая собачонка, да такой же. Напрасно отпустила. Сказала бы: «К ноге!» — никуда бы не делся, нечего было дразнить. Хотя... Зачем он мне? Так, смазливый сучок, а внутри — пусто. И за душой ни гроша. Одно слово — деревня. Может, и хорошо, что влюбился? Ведь наверняка влюбился, вот и Верка звонила: шли, говорит, как паиньки, все такие задумчивые, медленные. Конечно, втюрился в эту... Вот и хорошо».

В прихожей раздался неуверенный звонок. Марина вздрогнула, и против воли ее сердечко забилося тревожно и сладко. Она спрыгнула с подоконника, на котором ждала Кирилла, и заскользила открывать.

— Извини. Я... это... задержался. — Кирилл пытался смотреть Марине в глаза, но взгляд ускользал, юлил около ее плеча.

«Врет», — поняла она, но как ни в чем не бывало милостиво, даже ласково простила его улыбкой и, прикрыв глаза, полуоткрыла губы.

Поцелуй был пресным, чужим. Она хотела усмехнуться в себе, но усмешка против воли выплыла на губы и кольнула глаза.

— Хм, что-то ты сегодня не такой вкусный. Есть, с чем сравнить?

Кирилл смутился:

— Ты о чем?

— Ладно уж, проходи, ученичок, — алгебра не ждет.

Но алгебре пришлось подождать: Кирилл сбивался, путал знаки, и казалось, забыл все, чему его учила Марина. Только через полчаса, когда по приказу Марины были пролистаны все прежние уроки, что-то стало собираться.

Сначала Марина против обыкновения злилась и чуть было не бросила: «Какой же ты тупой!», но удержалась и усилием воли загнала обиду, густую, неожиданную для нее самой обиду, обратно в тайники души: «Пошла!» — и та испуганно спряталась.

— Начнем сначала, — мягко, но властно сказала она, и вскоре математика вернулась из опалы к прежнему своему царствованию, призвав к своему трону отбившегося от рук подданного. А любовь, как нищенка, забилась в уголок сердца и оттуда тоскливо смотрела, как железными рядами перед ней маршируют цифры и формулы.

— Умница! — наконец сказала Марина и погладила Кирилла по голове. — Все ты можешь. Настоящий мужчина! Ну, а теперь, мужчина, проверим, ВСЁ ли ты можешь.

Она приблизила свои глаза вплотную к глазам Кирилла и влажно поцеловала его в губы.

И он ответил. А как не ответить, когда тебя целует женщина, целует и спрашивает, мужик ты или нет. Конечно, мужик. Даже если не хочешь им быть.



6.

- Ну, как? — спросила Марина, поправляя прическу.
- Здорово, — ответил Кирилл.
- Я не о том. — Как наша принцесса, Ксюша? Хорошо целуется?

Марина изучающее смотрела на Кирилла, а он пожал плечами, взял со стола карандаш и начал старательно изучать его, вертя в своих «музыкальных» пальцах.

— Девушка как девушка. Хорошая. При чем тут «целовались». Ты же сама попросила... — Кирилл поднял на Марину глаза. — Ведь сама... Ты что — следила за нами?

— Я?! — она чуть не задохнулась. — Следила?! Вот занятно. В этом мире, дорогой мой, все прозрачно и за все надо платить (она подошла к телефону и положила на трубку руку). Вот. Учись. Это тебе не деревня. Один сделал, второй подсмотрел, третий шепнул, четвертый раззвонил. И, как говорится, «вот общественное мнение»

— А-а... — кивнул Кирилл. — Позвонили. Шпионы ее величества. Они везде? И все-таки ты сама просила... поухаживать.

— Да ты не волнуйся: конечно, просила. Все в порядке. А о чем вы разговаривали? Я понимаю, что беседа затянулась за полночь? Так?

— О чем? Не помню — о каких-то пустяках. Ксюха расспрашивала меня о Никольском, где я жил; я — рассказывал. Знаешь, до вчерашнего дня мне казалось, что никому это не нужно: ни мое прошлое, ни сам я, ни то, как мы с ребятами на рыбалку ходили, ни то, как пахнет луг утром... А тут... слушала. Я, Марин, у вас в городе вот уже почти три месяца, а так и не могу привыкнуть. Вроде, посмотришь вокруг: цивилизация, машины бегают, магазины, людей куча и все такое, а от души поздороваться — не с кем. Все сами по себе и для себя. У нас не так. Я рассказывал, а она слушала и, кажется, понимала. Легко с ней.

— А со мной?

— С тобой? — он задумался, подбирая слова. — Ты знаешь, когда я к тебе заниматься прихожу, то стою у дверей с минуту и не решаюсь позвонить. Почему так, не понимаю. Ты умная и красивая. Но — стою и... трудно.

— Вот не знала, что ты меня боишься. Ведь боишься? — спросила она.

Кирилл кивнул:

— Наверное. Только знаешь, мне кажется, что тебе самой нравится, когда тебя боятся.



Марина усмехнулась:

— А ты не такой простачок, как кажешься. Ну да ладно: нравится — не нравится, а физике-химии и кое-чему еще я тебя подучила. Пора расплачиваться, дружок.

Кирилл засуетился глазами и руками, будто ища кошелек: он никак не ожидал этого требования.

— Да-да, конечно, сколько я тебе должен?

Марина расхохоталась:

— Ты что же, деньги мне хочешь предложить? Что ты, Кирилушка, что ты: я же от чистого сердца. От сердца и расплатись.

— Как?

— Память по себе оставь. Давай сфотографируемся вместе — на память. Ученик и учительница. Вот и вся плата. А ты сразу — сколько.

— Сфотографируемся?.. Конечно. Ты уж извини, глупо как-то. Вырвалось. Ты меня, можно сказать, от армии спасла. Я теперь верю, что смогу в институт поступить. Спасибо, Марина.

Он поднялся со стула, подошел к ней и потянулся поцеловать. Она чуть повернула голову и показала на щеку:

— Вот сюда, но с душой.

Кирилл нагнулся и поцеловал.

— Ну, вот это уже лучше. Так и быть: забирай свою Ксюху и любитесь сколько хотите.

— Но она... не моя...

Однако Марина закрыла его губы ладошкой и глубоко заглянула в глаза:

— Не ври. Я же сказала: отпускаю. А теперь сиди и жди — я за фотоаппаратом пошла.

...Фотоаппарат, похожий на маленькую пушечку, прицелившись в Кирилла, стоял на столе и ждал, пока Марина не приведет себя в порядок, необходимый для увековечивания.

«Какая хорошая девчонка! — успокоено думал Кирилл. — Такая умная и красивая. Ну и что, что чужая? Сразу все поняла и сказала: отпускаю. Наши бы визг подняли, удерживать стали, слезы в три ручья, «я беременная» и все такое. А эта... Усмехнулась — и всего-то. На самом деле, «королева», так ее в школе зовут. А Ксюха?.. Нет, не королева. Лучше».

— А вот и я!



Марина, в платье-декольте, с открытыми роскошными плечами, золотым ожерельем на груди и зачесанными назад волосами, открывавшими высокую шею, предстала перед Кириллом. Вот именно, «предстала»! Он дернулся, чтобы встать. Он не хотел — само получилось: нельзя же сидеть перед королевой. А она поняла и, усмехнувшись глазами, приказала:

— Сиди. Я сейчас еще раз настройку проверю, а ты, по крайней мере, причешись — вот расческа. И не делай каменное лицо, а улыбнись широко-широко, как ты умеешь: я хочу тебя помнить с улыбкой.

Она взвела «собачку» на фотоаппарате и села рядом с Кириллом, чуть склонив свою голову к его плечу.

Вспышка — и пушечка выстрелила.

7.

Любовь — это когда не знаешь, куда себя деть; это томление и постоянная неуверенность в том, что ты достоин своей любви. А эта беспокойная птичка может поклевать-поклевать зернышки, набросанные тобой рядом, и вспорхнуть при первом неосторожном движении. Вспорхнуть и улететь, и никогда больше не вернуться. Трудно с ней. А без нее еще труднее.

...Вот уже и май. Прошло-пролетело два месяца с той дискотеки. Постепенно, шаг за шагом, урок за уроком Кирилл отдалялся от Марины, оставаясь только ее учеником. Нет, он так же внимательно слушал ее и старательно делал все, что она велела, но был чужим — не ее, и это оскорбляло, жгло: как?! сейчас он запишет последнюю фразу, прорешает вместе ней последнюю задачу, ответит выученную тему по английскому, скажет: «Спасибо», и уйдет. Куда? К той?

«Ну и что? — спрашивала себя Марина. — Мне-то он зачем? И чего ради я вообще воюсь с этим пастушком?»

Но почему-то возилось, и когда Кирилл задерживался, становилось неуютно — будто по радио передали, что будет солнце, а на улице дождь.

До первого экзамена осталась неделя.

Марина сидела на консультации по литературе и тщательно записывала, как «подойти к анализу образа Наташи Ростовой». Впервые что-то смущало ее, Марине казалось, что она в анатомичке и бедная Наташа Ростова лежит на столе, а Татьяна Юрьевна ее препарирует и объясняет: это сердце-любовь, это печень-капризы, это

почки-грусть, это (вот тут, видите, рядом с солнечным сплетением) — это душа. Это... это... И вскоре Наташа уже лежала поделенная на части — пснятенькая, несложная, так — механизмик.

Потом на стол положили Пьера Безухова, еще потом — князя Андрея, и последним на стол вскарабкался сам Наполеон, у которого от страха перед Татьяной Юрьевной «подрагивала левая ляжка».

В конце консультации их собрали и выпроводили из класса за ненужностью и понятностью.

«А если бы и меня так? — подумала Марина. — Здесь — любовь, здесь — ненависть, здесь — похоть. Чего больше? И вообще, что это я так разволновалась — влюбилась что ли в этого пастушка? Вот он сидит рядом со своей принцессой и на меня ни взгляда. Счастливая сволочь. А я не хочу, чтобы он и она были счастливы. Никто не должен быть счастливее меня. Никто! О чем это они?.. (Марина услышала легкий смешок Ксении и, бросив косвенный взгляд на «ту» парту, увидела, как Кирилл склонился к ее плечу и так хорошо, так искренне улыбается.) Радуются. Им хорошо. А мне? Плохо? Плохо, зачем врать. Ну да ничего, это мы еще посмотрим».

На перемене к Марине подседа Вера Жарикова — одна из фрейлин — и преданным шепотом, косясь на парту Кирилла, сообщила:

— Какой роман у нашего новенького. С Ксюшкой. Станцевались, еще с той дискотеки. Голубки. Воркуют. Из школы — вместе, ручка в ручке, идиллия. Хоть прямо с выпускного под венец.

— Завидуешь? — неожиданно для себя спросила Марина.

— Кто? Я? Ф-ф! — фыркнула Вера. — Нисколько. Деревня и есть деревня: еле хвосты обрубил, двух слов толком не свяжет. Интересно, о чем она с ним говорит: о заготовке дров или средних удоях на одну буренку. Вот послушать бы. А эта к нему так и льнет, так и льнет. наших ребят что ли мало?

— Не наших, а «у наших» мало, — сказала Марина.

— Чего «у наших»? — не поняла Вера.

— Мало, говорю, у наших, — повторила Марина.

— А-а! — прыснула Вера. — Понятно.

Марина вдруг вспыхнула, хотела бросить Вере: «Ничего тебе не понятно, дура!», но сдержалась, встала и сказала:

— Души у наших — мало, а не того, о чем ты думаешь.

И вышла из класса.

Вера пожала плечами, глядя ей вслед.

— Души? Какой души? Чокнулась. Королева. Снежная.



А весна уже томилась, изнывала — в каждом кустике, каждой веточке, — томилась, спешила заявить, высказать себя: зажигала разноцветные кусты сирени, врывалась в мир внезапными, шальными грозами. Весенние собаки собирались стайками и тревожно обнюхивали друг друга; весенние голуби, надув шеи, кружились на месте, спеша понравиться; весенние бабушки разбрелись по дачам, чтобы, забыв про хвори, шевелить, будить сонную землю.

Марина шла домой. Так же, как всегда: неся себя чуть-чуть над тротуаром, привычно откинув голову и попирая каждым шагом грешную простужку землю. Но сегодня попирать почему-то не хотелось, а хотелось спрыгнуть с высоты каблучков в легкомысленные кроссовки и побежать — от себя, подальше, побежать и вернуть на место те самые две точки над «Е», которые она когда-то отправила в опалу. В груди что-то жгло и томилось: какая-то обида, то ли на себя, то ли на весь этот мир, отдавшийся весне.

«Я им покажу! Я им покажу!» — эти слова бились в Марине и просились наружу.

— Я им покажу! — чуть не крикнула она.

Мужчина, шедший перед ней, замедлил шаг и повернул голову.

«Стоп! — подумала Марина. — Что это я? Так нельзя. Соберись — и снова в бой. Вся жизнь — бой. Кричат слабые, сильные молчат. Молчать!»

Ну, нет — так просто ее никто не сумеет унижить, никто не сумеет победить. Тем более она сама. Вспомнились строчки из случайно подслушанной песенки:

*На войне с самим собой
Пленных не берут.
За войну с самим собой
Денег не дают.*

*Ни наград и ни похвал
И ни подкрепленья.
Сам себе и генерал,
Сам и ополченье.*

«Вот именно, — подумала она. — Сам себе... Жизнь — это не праздник, это бой, особенно если хочешь чего-то добиться, а романтические сопли пусть остаются для тех, кто хочет жить у подножья горы. Я — не хочу. Жалость, любовь, привязанность — гири на ногах. Надо быть сильной!»

Марина пришла домой, разделась, прошла в свою комнату и достала из ящика фотографию — ту самую, где они вместе: она, роскошная, умная, и он — наивный, с простой доброй улыбкой.

«А хороша была бы парочка, — усмехнулась Марина. — Леди и пастушок. Да-да, «и внимая Шопену, полюбил ее паж». Все-таки какой он еще мальчик — хороший мальчик. Не мой. А жаль. Может, отдать его этой простушке: на, душечка, с моего плеча — пользуйся. Пожалуй. Но только чтобы знала: с моего плеча».

И Марина села за уроки, уже не обращая внимания на всеобщее томление — победив весну.

8.

Вот и все: завтра последний экзамен, сегодня последняя консультация. Это слово — «последний», казалось, висело в воздухе, было зримым, написанным; оно все чаще произносилось в классах и коридорах, тревожно и облегченно звучало в учительской — последний! В нем была какая-то предокончателность, как на перроне железнодорожного вокзала за две минуты до отправления поезда.

На консультациях Кирилл сидел с Ксенией — класс был не в полном составе, многие бегали по репетиторам или ходили на курсы, так что свободных парт хватало. Но только на консультациях. А на уроках: двенадцать парт — двенадцать государств, и у всех свои законы. Через «государство» же Марины и Кирилла давно пробежала невидимая трещина. Как два магнита, обращенные друг к другу одинаковыми полюсами, не могли и не хотели соприкоснуться, так и они чувствовали это поле, и на уроках молчали, боясь коснуться друг друга локтями. Это напряжение обидало, мешало.

Кирилл давно уже не числился в списках «безнадежных»: «четверка» по химии, «четверка» по физике, «четверки», «четверки». Учителя недоумевали и, может быть, только поэтому не ставили «отлично» — как? из отстающего, безнадежного — и вдруг в отличники? Нет, тут что-то не так, поэтому только «четверка». Хватит!

А завтра последний экзамен — английский. И — всё. Да-да, этот час консультации и — всё. Прощай, класс.

— Кирилл, это тебе, — шепнул сидевший сзади Сережа Петров и постучал по плечу Кирилла белым конвертом.

— Мне? — удивился Кирилл. — От кого? — он взял конверт и вынул из него фотографию.



— Ах! — услышал он рядом.

Ксения вздернулась из-за парты, замерла на миг, не в силах оторвать взгляда от фотокарточки, и — выбежала из класса.

Кирилл еще с полминуты сидел, окаменев, и смотрел на себя, улыбающегося и, кажется, счастливого, на Марину — на ее голые плечи, высокую глянцевую шею, ожерелье, — и не понимал, что же случилось. Но — понял, словно обжегся, и вывернул всего себя в сторону Мариной парты. Глаза его крикнули: «За что?!» Но Марина сидела прямо, даже не сделав движения туда, где ее именем и велением убивали любовь. Она спокойно смотрела на доску, на Эмму Власовну, и только легкая усмешка победительницы оживляла ее глаза.

Кирилл поднял руку — можно? Эмма Власовна растерянно кивнула, и он пулей вылетел из класса, держа в руке фотографию.

9.

«Вот вам! Вот вам! Дура! Дура!» — два эти потока слов схлестывались в Марине, смешивались и мешали торжествовать. Казалось бы, дело сделано — изящно, как удар стилетом на придворном балу. Ликуй и царствуй! Но не царствовало, что-то мешало, не хотелось ничего: ни слушать музыку, пожевывая любимые креветки, ни читать, ни (тем более) готовиться к завтрашнему экзамену. Ни-че-го! Марина лежала на диване, тупо смотря в потолок, по которому плавали солнечные зайчики. День был убит наповал. Только ли день? Почему, ведь так все славно сложилось?..

10.

— Да что с тобой, Ксюша?! — взорвалась наконец Марина Сергеевна. — Ты двух слов правильно связать не можешь. Заболела? Вон какие синяки под глазами. Если так, то иди к врачу, возьми справку — потом пересдашь. С ума сойти можно! Я от тебя такого не ожидала.

Марина Сергеевна откинулась на спинку стула, во все глаза смотря на Ксению, которая маленьким обиженным зверьком сжалась на краешке стула и ничего не могла сказать.

— Ну, ну, — успокаивающе протянула Эмма Власовна — председатель экзаменационной комиссии, — полно вам, Марина Сергеевна. Все хорошо. Ничего страшного, просто Ксения нервничает — устала, издергалась, пока готовилась. Наверное, ночь не спала. Так, Ксюша?

Ксения молчала, опустив глаза и перебирая пальчиками листочек, на котором почти ничего не было написано.

— Давай-ка сделаем так: посиди, успокойся и поготовься еще. Драться надо до конца, впереди столько еще всякого. Иди-иди, всё будет хорошо. Ты умница, ты сама это знаешь. И мы знаем. Иди.

И Ксения вернулась за свою парту.

Собраться? Все будет хорошо? Драться. За что? За отметку? Черт с ней: что отметка, ведь всё! всё рухнуло! Она видела перед собой не экзаменационный билет, а фотографию — ту самую, на которой он... не с ней. «Не может быть! Не может быть!» — эту два слова стучали в голове, мешая жить. С ними было невозможно! Какой уж там английский...

Краем уха она услышала шепоток с учительского стола:

— Что происходит — не пойму! Учила-учила, а сегодня на тебе? Королёвой четверку нужно ставить, и то еле-еле; новенький этот, Кирилл, сидит весь бледный и ни в зуб ногой; теперь вот этот фокус. То ли устали, то ли... не знаю! Бред!

Бред. С этим вполне можно было согласиться. Еще вчера Кирилл был её, и только её, и этому счастью нельзя было не верить: Ксения видела его глаза, чувствовала, как робко и бережно он касается своими музыкальными пальцами ее щек, руки — как нужно ему это. И вдруг... он и Марина. И та же улыбка. Неужели врет? Неужели вот такой он — хитрый, двусмысленный: и с той, и с другой.

Сердечко Ксюши то билось пойманной птичкой, то замирало, то вообще не хотело быть. Какой тут английский!

На «автомате» вымучив все, что вспомнилось, Ксения наконец вышла из класса.

Кирилл стоял у дверей.

— Ну... как? — Он сделал движение к ней, не решаясь на большее.

Ксения молчала.

— Ксюш, а Ксюш, пойдем погуляем. Я тебе все расскажу. Все это неправда, поверь — неправда. Я только учился у нее, только учился. Я только тебя...

Но Ксения медленно покачала головой и пошла прочь.

Не верьте тому, кто говорит, что настоящая любовь умеет прощать. Настоящая — не умеет.



11.

Вы помните свой выпускной бал? Конечно, помните. Что же еще помнить, если не этот миг, когда за спиной вырастают большие белые крылья — красивые, сильные. Тревожно и радостно, легко и печально. И не поймешь, чего больше, веселая неразбериха царит в душе: то ли прощание, то ли встреча. Так на вокзале, когда вот-вот тронется поезд и увезет тебя в неизвестность: и говорим громче, и смеемся громче и тревожнее, как будто успокаивая и себя, и тех, кто останется на перроне и будет махать вслед рукой и улыбаться сквозь слезы: «Удачи! До свиданья!» Это миг, когда прошлое и будущее — за одним столом, в одном танце: единственная, быть может, в жизни встреча. И ты между ними — как в машине времени. И не поймешь, чего больше: «уже» или «еще». И жаль расставаться с тем, что давно уже надоело: с уроками, учителями, школьной суетой. И обещания, обещания: через год вот тут, все вместе — обязательно! непременно! И белые платья девчонок, и строгие черные костюмы ребят — как когда-то мамы и папы, бабушки и дедушки.

...Зелененькие «кредитки» аттестатов были вручены, прочитаны, оплаканы и бережно спрятаны мамами в сумочки. Выпит первый бокал шампанского. Первый румянец, первые шальные искорки в глаз, и — «а помнишь?»

— Ксюша, когда ты первый раз вошла в класс, то посмотрела-посмотрела вокруг и заплакала: «Я не хочу сидеть ровными рядами, я танцевать хочу».

— Да? — улыбнулась Ксения. — А я не помню, Эмма Власовна.

— А в третьем ты играла Герду и так вошла в роль, что после спектакля чуть не подралась с Верой Кошелевой, которая играла Снежную Королеву.

— Неужели? А я забыла.

Ксения сидела за столиком с Эммой Власовной, которая десять лет назад взяла их в свой «английский» класс и с тех пор пасла и пестовала, по глазам угадывая, о чем поссорились вчера Толя и его бабушка, какой фильм смотрел Коля Веткин и когда свидание Саши и Ани.

— А помнишь, как ты в седьмом классе на спор прыгнула через костер, когда мы ходили в поход?

— Да, помню! — улыбнулась Ксюша. — Это — помню! Я была в белой куртке и белых кроссовках, а Сашка все дразнил меня: «Белоснежка, Белоснежка, нет, не прыгнешь, нет, не прыгнешь. А

прыгнешь — испаришься». Я разозлилась — и прыгнула. Так здорово было!

— Еще бы. И дальше будет здорово. Вот увидишь: все будет хорошо, — Эмма Власовна взяла ее руку в свои ладони и глубоко-глубоко заглянула в глаза Ксюши, как будто знала все-превсё: и о Марине, и о фотографии.

— А теперь давай с тобой выпьем шампанского. Мне будет приятно.

— Давайте, Эмма Власовна.

Над залом поплыл медленный танец. Нет, не вальс — отзвучали, открыжали белые вальсы вместе с платяницами мам. Нет, просто «медленный».

К Марине подошел Стас Стоцкий — кавалер голубых кровей из 11-Б класса: призер олимпиад, лауреат конкурсов — и т.д. и т.п., который еще неделю назад был зачислен в МГУ без экзаменов, — короче, гордость и краса школы. Он вытянулся по струнке и прищелкнул каблуками:

— Королева позволит?

Марина великодушно улыбнулась, подала руку, и они красиво пошли к центру зала. Да, на самом деле было красиво: она, в длинном белом платье с кринолином, открытыми плечами и маленькой золотой диадемой в волосах, и он — в черном строгом сьоте времен Павла Петровича Кирсанова, белоснежной рубашке с бабочкой и поблескивающими запонками. И шли они — не шли, а шествовали, глядя сквозь и поверх, как будто здесь были только они, или прежде всего они.

— А вот и оправка для нашего бриллианта, — шепнула Эмма Власовна и увидела, как чуть вспыхнули щеки Ксении.

Марина краешком глаз увидела Кирилла, который сидел за угловым столиком и смотрел сквозь нее. Сквозь — она видела это. Куда это он? Марина чуть повернула голову и увидела Ксению и Эмму Власовну на другом конце зала — на том конце взгляда Кирилла. Она усмехнулась и чуть нагнула голову к Стасу:

— Извини, я оставлю тебя на минуту. Есть очень важное дело.

Он кивнул и, освободив ее руку, стал в стороне, ожидая.

А Марина подошла к Кириллу и протянула ему свою руку в длинной белой перчатке:

— Пойдем.

Он испуганно посмотрел на нее, но не поднялся.



— Пойдем же, — Марина покивала пальцами, требуя его к себе. Кирилл покачал головой:

— Нет.

Она усмехнулась, но не отвела руки.

— Пойдем. Это мой последний урок. Я... прошу.

Кирилл положил на стол яблоко, которое вертел в руках, медленно встал из-за стола, но руки не подал.

— Иди за мной, — сказала Марина и, не следя за тем, послушался он или нет, повернулась спиной к столику и пошла через зал.

Кирилл шел следом. Она знала это и не оборачивалась.

Пройдя мимо Стоцкого, Марина улыбнулась: «Я сейчас», и он кивнул, даже не взглянув на Кирилла.

А она подошла к столику, где сидели Ксения и Эмма Власовна, и сказала:

— Здравствуйте. А я вам кавалера привела. Сидит и грустит. А сегодня грустить нельзя, ведь так, Эмма Власовна?

— Так, Марина. Ну, ладно, ребятки, пойду я к своим теткам — вон они давно уже мне машут.

Эмма Власовна поднялась и пошла к учительскому столику — к своим «теткам».

А Ксения не поднимала головы, взглядом перебирая конфеты в вазочке, как будто не замечала ни Марину, ни Кирилла.

— Ксения, — сказала Марина. — Ты заметила, как Кирилл сдал экзамены? Уверена, что заметила. Так вот, учила его я. Три месяца, почти каждый день. И та фотография — память об этих уроках, а не то, о чем ты думаешь. Вот тебе твой принц, и запомни: у каждого в этой жизни свое место.

Она повернулась и пошла от столика — туда, где, скрестив руки на груди, ждал ее Стоцкий.

...С минуту они молчали. Наконец Ксюша подняла на Кирилла глаза:

— Это правда?

Он кивнул. Ведь это была правда... Пусть наполовину, но правда.

— Ладно, — усмехнулась Ксюша. — Пусть будет так. Пойдем танцевать. Только учти: я — не королева.

— А мне и не нужно, — сказал Кирилл.

Спрятав одну руку за спину, другой рукой Стоцкий придерживал Марину за талию и не мигая смотрел ей в глаза. И Марина не

отводила взгляда. Так они медленно плыли по залу (или над ним), плыли туда, куда вела их музыка, а остальные пары чуть сторонились, пропуская их. И казалось, что над головой Марины на самом деле светилась маленькая корона с острыми золочеными гранями.

А Ксюша положила руки на плечи Кирилла и чуть прижалась головкой к его груди (чуть-чуть, крепче пока было нельзя). Они не слушали музыки и, кажется, совсем не танцевали, а привыкали друг к другу заново, как после долгой разлуки, стоя на краешке выпускного бала.

А с «теткиного» стола на них и на Марину со Стасом смотрела Эмма Власовна, и старая считалочка шепталась ей: «На золотом крыльце сидели: царь-царевич, король-королевич, сапожник-портной. Кто ты будешь такой?..»

«Да... — подумала Эмма Власовна, глядя на Ксению и Кирилла, — а царевна все ж милее...»

2004 г.





Ядега

1.

Звонок отголосил десять минут назад. Первая волна свободы смысла из класса всех мальчишек, вторая (поменьше) — девчонок и Тольку Булкина, которого даже свободе трудно было поднять со стула. Третья (самая маленькая) — слизнула дежурных, наскоро дошаркавших вениками пол и оставивших на доске следы океанского шквала.

Анна Викторовна, привычно выдержавшая все три вала, сидела на капитанском мостике за учительским столом и, не поднимая головы, проверяла тетради, чтобы не нести их домой. Она уже взяла очередную тетрадку для расправы, как вдруг услышала скромное, но призывное покашливание с задней парты. Анна Викторовна подняла глаза — да-да, за последней партой, скромненькая, с честными-пречестными глазками, сидела Иванова Катя — убежденная хорошистка — и преданно смотрела на Анну Викторовну.

— Катя, почему ты не идешь домой? Тебе что-то надо? — спросила Анна Викторовна.

Иванова печально и многозначительно вздохнула и грустно кивнула.

— Так иди сюда — поговорим. Иди-иди, Катюша.

Иванова нерешительно встала из-за парты, подошла и опустила глазки:

— Анна Викторовна, а говорить правду — правильно?

— Правду?.. Конечно, правильно.

— А... — замялась Катя, — правда бывает только правдивая или... ну, такая, неправильная, нехорошая?

Анна Викторовна рассмеялась:

— Что ты все мудришь: правильная — неправильная. У тебя есть, что мне сказать?

— Есть. Но я не знаю как, — Катя поковыривала пальчиком книжечку, лежащую на столе. — Я не знаю, правильно ли, что я правду сказать хочу.

— А ты скажи, а там посмотрим.

Иванова мягко придвинулась к Анне Викторовне и зашептала:

— Сегодня на математике Юрка Михин хвастался Вите Слави-ну, что у него есть решения всех задач, которые вы нам задали на уроке.

Анна Викторовна нахмурилась: эта правда ей не очень-то нравилась.

— А откуда он узнал решения задач?

— Юрка вчера остался в школе после уроков и, когда все ушли, залез в ваш стол и нашел тетрадку с решениями. Нашел и все списал. Вот они с Витькой сегодня на контрольной их быстренько и... решили. Я видела. — Катя потупила честные глазки.

— Хм... поросята. Какие ловкие. — Анна Викторовна откину-лась на спинку стула и внимательно посмотрела на Иванова. — Ладно. Спасибо, Катюша, за бдительность. Можешь идти.

Но Иванова не уходила, продолжая изучать обложку учебника.

— У тебя есть еще что-то? — спросила учительница.

Катя неопределенно пожала плечиками, посмотрела наискосок от Анны Викторовны и протянула:

— Ну... есть... Много чего есть.

— Интересно. — Анна Викторовна надела очки и как-то по-новому посмотрела на Иванова Катю. Потом придвинулась к ней и взяла ее руку в свою.

— Спасибо, Катя, что ты так доверяешь мне и... хочешь помочь. Ведь так?

— Конечно, так. Ведь вы классный руководитель, наша вторая мама, а маме нужно говорить только правду, даже самую неприят-ную. Да?

— Да-да, нужно. Даже необходимо. Иначе мама не сможет по-мочь. Ну, рассказывай.

Щечки у Кати враз заалели, а в глазенках забегал злой и веселый чертенок.

— Я расскажу, расскажу. Вот Лена Питерцева. Она всем хвас-тает, что всю домашку за нее делает бабушка, потому что ей жалко Лениного детства. Степа и Вова подкупили Толю Булкина, чтобы он давал им списывать. Они ему отдают на обеде свои булочки и при-носят каждый день по жвачке. А Юлька... — румянец на Катиных щечках стал багроветь, чертенок туда-сюда метался в глазах. — А Юлька целовалась с мальчиком из восьмого класса (я видела — они в сквере, у кустов сирени). Мальчика зовут Саша, он ходит в синей



куртке и в белых кроссовках. А Воробьева говорила на перемене, что у вас платье из секонд-хенда и туфли давно пора выбрасывать на помойку, и вы вся из этого... секонд-хенда...м-да (она это так говорила, правда-правда). И что вас никто из-за этого замуж не...

— Стоп! — Анна Викторовна хлопнула ладонью по столу, и в воздухе зависла нехорошая тишина. Иванова втянула голову в плечи, румянец побледнел, а чертенок спрятался.

Анна Викторовна зачем-то посмотрела на свои ноги, потерла рукой лоб и, помолчав, сказала:

— Спасибо, Катюша, тебе за правду. Тебе было нелегко, но ты все-таки решилась. Молодец. Я тебе оставляю свой домашний телефон (она взяла ручку и листочек). Если будет необходимость сказать правду... еще раз — ты мне позвонишь.

Иванова взяла вчетверо сложенный листочек, взяла, как пропуск в какую-то другую, взрослую жизнь, как документ, дающий ей право на то, что другим нельзя. Она преданно посмотрела Анне Викторовне в глаза:

— Я оправдаю. Только...

— Не бойся, девочка — никто ничего не узнает: правду нужно защищать. Всё — можешь идти.

2.

Катя шла домой и чувствовала, как необыкновенно легко ей сегодня идетя — как будто даже чуть-чуть летишь над тротуаром или бежишь на цыпочках. Ее взяли во взрослую жизнь, она стала важнее, значительнее всех этих Смирновых, Ивановых, Веточкиных. Пусть играют в свои дурацкие игры — вот они теперь где у нее. И Катя сжала свой маленький кулачок, чувствуя, какой он сильный, крепкий.

В голове мелькнула стратегически правильная мысль: «Надо бы завести записную книжку, чтобы ничего не забыть. Завести немедленно». Катя поискала в кармашке и насчитала три рубля. «Хватит. Да, надо непременно сейчас...»

3.

1. Петров на большой перемене в кустах за школой учился у восьмиклассников курить. Проверила его рюкзак — в боковом кармашке пачка «Балканской звезды» с двумя неиспользованными сигаретами и спички.

2. У Лены Шеншовой собираются расходиться отец с матерью. У матери появился новый кавалер (зовут Толя), который дарит Лене игрушки и косметику. Лене это нравится, она хвасталась косметичкой и мягким слоником.

3. Сидорову приснился сон, что он украл 100 рублей (у кого — не помнит). Красть ему понравилось. И еще он говорил, что красть надо у тех, у кого много. Это он называет не «красть», а «экспо...», «экспро...» — забыла слово. Так ему дедушка объяснял. Сидоров обещал, что займется этим в ближайшее время.

4. Витька Емельянов таскает в рюкзаке огромный нож.

5. Рома и Егор ждут, когда кто-нибудь из учителей оставит классный журнал на столе — собираются исправить свои единицы по русскому и физкультуре и доставить себе четверки по математике и английскому. Дома тренируются, чтобы «четверки» были похожи на учительские (листок с черновиками лежит в учебнике английского языка на странице 122).

6. Маша Тихова подробно пересказала фильм, который смотрела по телевизору в час ночи, когда ее родители спали пьяными. Показывала девочкам, как всё происходит.

7. Учительница математики Вера Васильевна говорила у подоконника завучу Нине Власовне, что Вам, Анна Викторовна, надо еще «учиться и учиться педагогическому мастерству».

8. Учитель биологии Юрий Васильевич, когда говорил с Ниной Александровной — учительницей пения, взял ее за локоть, а она покраснела, но руку не отняла. Я видела, как они вместе шли из школы после уроков.

9. От учителя физики Александра Михайловича по понедельникам плохо пахнет и глаза у него мутные-премутные.

10. Мальчишки договорились сорвать урок пения в четверг. У каждого в кармане пачка нюхательной махорки — весь урок будут чихать.

4.

Витька с Петькой уныло плелись домой. Жизнь потеряла всякие краски, полиняла, как это весеннее небо: Витькин нож, с костяной ручкой, широким голубым лезвием лежал теперь не в рюкзаке, а в столе завуча Нины Власовны. Уже не пожать его гладкую, удобную рукоятку, не почувствовать, как появляется в тебе какая-то уверенная сила, когда он, надежный, сильный, просто лежит в боковом



кармашке. Деньги, сэкономленные на обедах, бутылки, которые Витька собирал по всему Череповцу, чтобы скопить хотя бы еще десятку, — все труды и силы пропали в одну секунду, когда Анна Викторовна потребовала открыть рюкзак и... разлучила их. Он вспомнил, как она, серьезная и торжественная, подошла к нему на большой перемене и строго приказала:

— Витя, открой свой рюкзак — мне нужно узнать, что у тебя там.

— Ничего... — пробубнил он в ответ, опустив глаза.

— Если ты не откроешь, я приглашу директора, и мы еще раз попросим тебя открыть.

Она сразу увидела нож.

— Зачем тебе это? А ты знаешь, что нельзя приносить в школу холодное оружие?

Витька молчал. Что он мог сказать?

— Я заберу его у тебя и отдам на хранение завучу. Пусть твои родители придут за ним, а ты заодно объяснишь, как эта опасная и дорогая вещь появилась у тебя.

Вот так. Мало того, что нет ножа, так теперь вот — родители. Что им сказать?

Петька тоже молчал. Дневник, окровавленный красной пастой Анны Викторовны, которая приглашала мать в школу, кирпичом оттягивал портфель.

— Слышь, а откуда Анна узнала про сигареты? Ребята бы не сказали.

— А я почему знаю. Может, кто из наших «стучит»?

— Кто? Морду разбить!

— Это само собой. Сначала надо вычислить.

— А как?

— А вот так. Я книжку читал. В войну у наших завелся шпион. Подозрение пало на трех офицеров. Тогда наша контрразведка придумала хитрую штуку: подбросила всем трем липовую информацию, что в такой-то день и час в таком-то месте начнется атака, там уже собраны войска и ждут сигнала. Войск, конечно, не было, а вот наблюдатели были. А время и место были указаны разные — всем трем. Понимаешь: по какому квадрату вражеская артиллерия шарахнет — тот и шпион. Здорово!

— Здорово. Ну и что?

— А то: в классе 25 человек. Нас с тобой не считаем, остается 23. Мы под жутким секретом или так, чтобы только один из наших мог

услышать, говорим, что собираемся натворить что-нибудь. Разумеется, ничего этого делать мы не будем, но проследим, как отреагирует Анна. Кто-то должен клюнуть. Вот тут мы его и...

- Понял! Здоровс! Ну, ты, Витька, прямо разведчик. А что натворим?
- Придумаем. Пошли ко мне.

5.

Анна Викторовна заканчивала урок. Домашнее задание было записано, оценки поставлены, и расслабушный шумок уже пополз по классу. Вот, наконец, прозвенел звонок — и все рванулись из-за парт: обед — святое!

Катя Иванова выбежала последней. Она на миг задержалась у учительского стола и оставила перед Анной Викторовной маленькую записку, сложенную вчетверо, на которой жирно был поставлен восклицательный знак.

Анна Викторовна встрепнулась, посмотрела вслед Ивановой и развернула внеурочное донесение. В записке значилось: «Сегодня сразу после школы Витька и Петька идут испытывать самодельную бомбу в парке у речки. Она у них с собой, в портфеле или рюкзаке — точно я не смогла выяснить. Катя».

«Господи! Бомба! — эхом отозвалось в голове Анны Викторовны. — Какая еще бомба? Где они ее взяли? Нашли? Сами сделали? Эти могут. Что делать? Что?»

Она рванулась из-за стола и осторожно подошла к парте, где сидели начинающие террористы. Портфельчик Петьки и рюкзачок Витьки мирно стояли у стульев. И вид у них был что ни на есть самый непримечательный, если бы не одно обстоятельство: оба были наглухо застегнуты и, по обыкновению, из них не торчали втиснутые кое-как учебники. В этой аккуратности была какая-то жуткая тайна. Вот Анна Викторовна дотронулась до Петькиного портфеля, но тут же с ужасом отдернула руку. «Ага, я его расстегну, а оч как рванет! — мелькнуло в учительской голове. — Что делать? Еще разнесет полшколы и меня заодно... Вызвать милицию? А если эта дурочка напутала что-то, и нет там никакой бомбы? — вот надо мной напотешаются. А если есть?..»

Надо было что-то предпринимать. Анна Викторовна мысленным взором уже видела передовицы газет со зловещими заголовками и фотографиями школьных руин. Как-то особенно остро захотелось жить, так остро, что на лбу выступили капельки пота и заныл живот.



Портфельчик и рюкзачок стояли рядом и издевались над Анной Викторовной всем своим безмятежным видом. «Ну, чё, училка, — словно говорили они, — давай, расстегивай нас. А мы ка-ак!.. Боишься, да?»

Анна Викторовна боялась: остаться в дураках, быть разорванной на кусочки, потерять Иванову, которую, конечно, сейчас же «расколют», если она не придумает чего-нибудь такого... такого... Какого?

«Она у них с собой», — еще раз мелькнули перед глазами Анны Викторовны строчки из записки. Сейчас, через пять минут, класс будет полон ничего не подозревающей детворы. И если там бомба...»

Потев от ужаса и собственного героизма, Анна Викторовна нагнулась и медленно за уши подняла портфельчик и рюкзачок. «Какие тяжелые. Точно — там бомба», — уже с абсолютной уверенностью подумала она. На вытянутых руках Анна Викторовна медленно вынесла жуткую ношу из класса, медленно прошествовала по рекреации, медленно вышла из школы под удивленные взгляды покуривавших у крыльца старшеклассников и гоняющей мяч мелкотни. Рядом был сквер, еще топкий и грязный от ранней весны.

Прочавкав по грязи, чувствуя, как в туфельки затекает талая слякоть, Анна Викторовна донесла портфельчик и рюкзачок до маленького островка, где стояли три лирические березки, и поставила «бомбы» на землю. Она и не думала, что в ней живет героиня. Но та жила и наконец-то решила разгуляться вовсю. «А-а! — подумала Анна Викторовна. — Рванет — так рванет!» — и распахнула сначала портфельчик, потом рюкзачок...

Бомбы или какого-то намека на нее не было. Книги — были, тетради — тоже, пенал — был, на донышке — какие-то болты, обломки игрушек и фантики от жвачек. Нет, бомбы не было.

Героиня выпорхнула из мужественного учительского сердца, и на глазах Анны Викторовны сами собой навернулись слезы. Она глубоко-глубоко вдохнула шалый весенний воздух и посмотрела вокруг: на эти серенькие березки, робко прижавшиеся друг к дружке, на школу, на небо, по которому плыли ватные клочья облаков, и поняла, что вполне счастлива — можно было жить дальше.

6.

Подходил к концу последний урок. Домашка была списана в дневники, шумок плыл по классу. И только Витька и Петька сидели молча и торжественно — как судебные заседатели перед вынесением приговора: «Казнить, нельзя помиловать!»

Иванова сидела, не поднимая от парты глаз. Перед ней еще стояла та самая картина: Анна Викторовна, входящая в класс с «разминированными» ранцем и портфелем и Витька с Петькой, разом повернувшие головы в сторону Катькиной парты.

7.

Прошло-пролетело три года...

«Директору школы № 81. Довожу до Вашего сведения, что учитель Смирнова Анна Викторовна регулярно опаздывает после звонка на урок на 5—10 минут, плохо объясняет новый материал, небрежно проверяет тетради и дает сомнительные оценки работе администрации школы. Доброжелатель из коллектива учащихся».

Лидия Георгиевна прочитала записку, откинулась на спинку кресла и, усмехнувшись, подумала: «Интересно, что за «оценки»? Надо бы найти этого «доброжелателя». Может пригодиться. Найти несложно — по почерку. А впрочем, к чему — сам объявится».

...Лидия Георгиевна шла домой с работы. На перекрестке она остановилась, ожидая, пока не схлынет поток машин.

— Здравствуйте, — услышала она рядом.

— Здравствуйте... — Лидия Георгиевна повернула голову и встретилась с честными глазами Кати Ивановой.

Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, всего несколько секунд. Наконец Лидия Георгиевна усмехнулась:

— Запиши мой телефон, девочка. Вечером я дома. Запомнила?

— Запомнила, Лидия Георгиевна.





1.

Скелет звали Васей. Он стоял в школьной лаборантской, в углу, возле большого окуня с распоротым брюхом и кошкой, с которой напоказ сняли шкуру. На соседних полках обитали другие замореныши: маленький беркут, который когда-то взмахнул крыльями да так и остался; гадючка, которую плотно-наплотно запихали в банку с желтым спиртом, и скелет кошки без головы.

Когда Вовке случалось быть дежурным, ему приходилось бывать здесь и нести в класс то кошку, то гадючку, то еще кого-то. Тогда Вовке беспричинно становилось тоскливо, сердечко подпрыгивало и становилось у горла. Тошноту можно было перетерпеть, но вот что было делать с глазами: они просились плакать. Особенно они щипали и мешали жить спокойно, когда со своей третьей парты Вовка наблюдал, как Татьяна Викторовна тыкала указкой то в Васин живот, то в грудь или «путешествовала» по вывороченным кишкам окуня. На это смотреть не хотелось, а точнее — не моглось. Вовка закрывал глаза и представлял, как у его кота Борьки вдруг лопнул живот, а он, Вовка, изучает эту лопнутость и записывает наблюдения в тетрадку. Или еще хуже: с папы сняли кожу, мясо и оставили только кости — как у Васи — и они всем классом учат скелет папы.

Когда Татьяна Викторовна вызывала Вовку к доске: «А ну-ка, Сидоров, расскажи нам о строении пищевода крысы», — он бледнел и получал двойку за неподготовленность.

— Да, Вова, — качала головой Татьяна Викторовна, — надо будет позаниматься с тобой дополнительно — ничего ты не смыслишь в строении организма.

А Вовка и не хотел смыслить. Пусть лучше то, что внутри, — внутри и будет. А когда оно напоказ — страшновато и... неправильно. Нет, он, конечно, понимал, что от биологии врачи происходят и что это штука полезная, но когда он смотрел на Васю, что-то замыкалось в его голове и не пускало любить биологию.

Другое дело — география: там всё живое, а если и жрут друг друга, так это самой природой велено. А вот так: чтобы в потроха или ребра указкой тыкать — такого в природе нет.

Однажды Вовка смотрел по телевизору фильм про привидения. Оказывается, они вовсе не страшные, а несчастные, и это оттого, что несхороненные. Особенно поразило Вовку совсем еще юное привидение мужского пола с печальными мутными глазами и рукой на перевязи (эту руку 300 лет назад сломали на попытках нехорошие люди и бросили тело в глубокую пропасть). В конце фильма добрая девушка полюбила привидение, разыскала по его наводке несчастные кости и собственноручно их схоронила, обливаясь слезами. А на память одела на костяшку пальца свое золотое кольцо.

После этого фильма спать Вовка не мог — ему вдруг представился Вася, который когда-то был совсем живым и потом погиб. А еще потом нашли его косточки и сделали для школы наглядное пособие. И теперь, вместо того чтобы покоиться в земле, как принято после смерти, его выставляют напоказ. А мальчишки перед уроком дурачатся над ним: то бейсболку на череп наденут, то сигарету промеж пальцев засунут, а однажды, пока Татьяна Викторовна ходила за журналом, приделали ему огурец в том месте, где после смерти костей нет.

Ржали долго, даже Татьяна Викторовна улыбнулась, хотя и покраснела чуток. А вот Вовке почему-то не ржалось.

Когда Вовка заснул, то лучше бы не засыпал: он увидел, как на письменный стол, который стоял рядышком с его кроватью, прямо из открытой форточки слетел беркут. Слетел, расправил крылья, да так и остался. Потом появилась кошка без головы, а рядом с ней — скелетик крысы. Они расселись вокруг Вовкиной кровати и чего-то ждали. И вот появился Вася. Он сел на краешек постели и грустно вздохнул. А Вовка и не испугался — эка невидаль: скелет вздыхает, не такое еще по телевизору видывали. Он лишь спросил: «Вася, чего тебе?». А тот еще раз вздохнул — уже глубже, еще тяжелее — а вместе с ним все замореньши.

— Плохо мне, Вовка: упокоиться не могу. Заколебали меня и училка эта, и дети, и стояние это дурацкое в лаборантской («И нас, и нас заколебало», — закивали птицы и звери). Мой дух по земле шастает, а я вот у вас учебным пособием работаю. Непорядок это, согласен?

— Согласен, — кивнул во сне Вовка. — Непорядок.



— Может, ты сможешь, а?.. — Вася почесал затылок и устался на Вовку пустыми глазами.

— Я не против... а как?

— Подумай, может, догадаешься? — сказал Вася.

...И Вовка проснулся оттого, что кот Борька терся о его щеку своим мокрым носом.

«Ой, — подумал спросонок Вовка. — А может, это не Борька, а дух какого-нибудь кота, который в другой лаборантской стоит?» Он потыкал кота пальцем. Нет, Борька был всамделешным — плотным и пушистым, и в нем часто-часто бухало сердечко. «М-да, — вздохнул Вовка. — А каково тем, кто не похоронен? Тяжело».

И в его голове вдруг мелькнуло единственное правильное решение...

2.

Татьяна Викторовна ворвалась в кабинет директора и с порога закричала злобным шепотом:

— Пал Палыч! Скелета нет!

Пал Палыч, как настоящий школьный директор со стажем, не отрываясь от какой-то писанины, спокойно переспросил:

— Чьего скелета?

Татьяна Викторовна опешила:

— Как «чьего» — моего!

Пал Палыч положил ручку и внимательно посмотрел на Татьяну Викторовну, устанавливая диагноз:

— Вашего?

— Да, почти... Мой-то, конечно, при мне, а вот того, что в лаборантской — пшик. Вчера был — сегодня нет.

— Может, вышел? — предположил Пал Палыч, продолжая наблюдать Татьяну Викторовну.

— Куда вышел? Зачем? — она заморгала на Пал Палыча. — Он же того... скелет...

— Да вы не расстраивайтесь, Татьяна Викторовна, присаживайтесь и по порядку мне все расскажите.

Пал Палыч усадил ее в мягкое директорское кресло, а сам сел напротив:

— Вот так, все хорошо, расслабьтесь, голубушка, и рассказывайте.

— Что вы так на меня странно смотрите, Пал Палыч? — заволновалась Татьяна Викторовна. — Я — ничего, я — в себе, а его — нет.

— И где же он?

— Нет. Вчера вечером запирала лаборантскую — был; сегодня утром отперла — нет. Украли.

— Ага, — кивнул Пал Палыч. — Украли. И в землю закопали. Да кому он нужен? Сорок лет работаю в школе — еще не слыхивал, чтобы скелеты крали. Не цветной, чай, телевизор (хотя и их сейчас столько — что хоть не кради) — а скелет! Не крадут их, милочка, не крадут — не в моде.

— Да? — грустно переспросила Татьяна Викторовна. — А его все равно нет.

— Ну, что ж, — вздохнул Пал Палыч. — Пошли искать.

...Он обошел лаборантскую шагами Шерлока Холмса, постоял перед ободранной кошкой, взглянул на окуня с комком кишок под брюхом и покачал головой:

— М-да, мужественная вы женщина, Татьяна Викторовна.

— Что? — не поняла она.

— Мужественная, говорю. Я бы здесь дня не высидел, а уж если месяц — то непременно с ума бы сошел. А вы вот двадцать лет... М-да, — и он, как тогда, в кабинете, внимательно посмотрел на учительницу.

— Почему? — не спросила Татьяна Викторовна, — здесь уютно.

— Да?.. Ну-ну... А позвольте спросить, это стульчик, что у подоконника, тут у вас постоянно стоит?

— Который? Этот? Нет, никогда не стоял. Он все больше у стола, подо мной. А что?

— Да так... — Пал Палыч подошел к окну. — А верхний шпингалет у вас тоже никогда не запирается?

— Верхний? Запирается. Как окна летом помыли, так и заперли. Ах!.. — Татьяна Викторовна глянула по направлению пальца Пал Палыча. — Открыт! Так вы думаете?..

— Вот-с, — сказал Пал Палыч. — И не думаю, а понимаю-с: выпрыгнул ваш скелетик из окна. Кстати, он у вас какую обувь носит?

— Обувь? Никакую. Голый он. То есть совсем голый.

— Тогда помощники были у него, и не из крупных — гляньте-ка.

Она подсемила к подоконнику:

— Батюшки! Следы!

— Да-да — следы. Насчет фасона не ручаюсь, а размерчик где-то 37 — 38 будет. Грязная работа.



— А как же они шпингалет закрыли, если через окно ушли — нижний-то закрыт, — задумчиво проговорила Татьяна Викторовна.

Пал Палыч посмотрел на учительницу как Холмс на Ватсона:

— Молодец! Делаем выводы: скелет был передан злоумышленником 37 размера через окно, скорее всего, ночью или поздно вечером (днем — рискованно: перед школой хоть и пустырь, но мало ли кто заметит). Только ночью! А школа ночью на замке, и Валентин Иванович — сторож хороший, плохих сейчас держать опасно, время не то. Вот и выходит, что с 21-00 до 7-00 ваш похититель провел здесь.

— Как — здесь? Где — здесь? — Татьяна Викторовна заметалась взглядом по лаборантской.

— А вот на том диванчике, где вы, милейшая, только что сидели. Ночь-то он провел, но спать — не спал: на таком деле, да 37-го размера — не заснешь, тем более в присутствии этих, ваших... (Пал Палыч глянул на замореньшей.) М-да, верхний шпингалет открыть — открыл каким-нибудь крючком, (вот, например, тем, на котором у вас плакатики висят), а закрыть — никак. Сам — тридцать седьмого размера, а ночью не спал... М-да, ну и сила же духа! Стало быть, тут не корысть — тут идея.

— Идея? Какая может быть идея — спереть скелет? Кому он нужен?

— Не знаю, не знаю. А интересно бы узнать, где наш идеолог взял ключики от лаборантской — замок-то цел. Вы, Татьяна Викторовна, свои не теряли?

— Нет. То есть — да. В аккурат на прошлой неделе и теряла. Вечером потеряла, а на следующий день на большой перемене нашла — у порога лежали, видно, выпали. А я, дура, у завхоза брала.

— У порога, говорите? Подкинули вам, голубушка, ключики-то. Вечером Григорьевна полы моет по всей школе. Она тщательная — заметила бы.

— Ой!.. — пропела Татьяна Викторовна.

— Вот вам и «ой» — наш он, похититель тридцать седьмого, местный. Хотите, расскажу, как оно было?

— Да неужели?

— А вот так: с ключом-дубликатом, который сейчас запросто в любой мастерской сделать можно, наш герой остается после второй смены и проникает в лаборантскую. Разбирает скелет...

— Зачем — разбирает?

— Ну, Татьяна Викторовна, вор же маленький, не волок же он его целиком через подоконник. Волок бы — что-нибудь да отпало бы, косточка какая или еще что. Ан, нет — чисто. Нет-с, разобрал — и через окошко подельнику своему передал.

— Подельнику?

— А то кому же? Ему здесь ночь сидеть, так что вещь должна быть в сохранности, а не валяться под окном. А когда Валя школу отпирал — он вышел и, как говорится, растворился в массах. А ключик подбросить в нашей суете — ничего не стоит. Найдете вы ключик — и в другом направлении думать будете.

— Неужто, наш?

— Наш. Найдём. Похититель скелетов. Хотя странно... Зачем это?.. Столько риска, страха. Ради чего? Непонятненько, — Пал Палыч полез за сигаретами, которые оставил в кабинете.

— А как мы его найдём?

— А вот как: ищем молодого человека, ста пятидесяти сантиметров роста, куняющего носом сегодня на уроках.

— Да все они куняют.

— Ну, не скажите: если бы я ночку у вас тут просидел, я бы не просто кунял (Пал Палыч снова посмотрел на заморенышей). Найдёте. Даже по родителям не пойдём узнавать, кто сегодня дома не ночевал. Узнаю. А теперь, Татьяна Викторовна, серьёзный вопрос.

— Какой?

— Забудьте, что вы женщина.

— Как это?

— А вот так: все, о чем мы сейчас говорили, надо сохранить в полной тайне. В полной! — Пал Палыч пронзил глазами Татьяну Викторовну. — Тут дело иде-оло-ги-чес-кое!

— Да ну? — Татьяна Викторовна посмотрела по сторонам. — Иде-оло-ги-ческое, — голосом сыщика НКВД повторила она: — Буду молчать, Пал Палыч. Вот вам крест — ни слова, никому.

— Я вам верю, — Пал Палыч подал ей руку. — Помните — идеологическое...

3.

«Сам не справлюсь, ни за что не справлюсь. Кто поможет? Дело такое... необычное — толком и не объяснишь. Может, Юрка? Нет, парень он что надо, да и друг хороший, но не поймет — у башки пальцем покрутит и «чокнутым» обзовет. Так, Сашка... Нет — рас-



треплет: как же — скелет крали! Во здорово! Толька? Этот подошел бы, понял: его бабушка каждое воскресенье в церковь таскает, но... трусоват. А то еще скажет, что красть грешно. Да, плохо — сам не справлюсь».

И вдруг его словно молнией пронзило — Верка. Конечно, она. Вовка вспомнил, как в прошлом классе они ездили в Питер и ходили в зоологический музей, а потом в школе на «круглом столе», который организовали Татьяна Викторовна, обсуждали эту экскурсию. Обсуждали вяло: «ничего, звери там всякие, птицы», «понравилось, особенно мамонты и мастодонты», «а китяра-то какой огромный в вестибюле — здорово!». И вдруг Вера Кошелева, которая сидела на заднем плане «стола», вздохнула и сказала: «Жалко. Их похоронить всех надо, животных этих — они ведь умерли». Татьяна Викторовна тогда что-то очень громко и умно говорила о пользе для науки и человечества, но и после этой речи Вера опустила глаза, покивала головкой — «да-да, конечно — польза», но в конце концов все равно вздохнула: «Жа-алко...»

«Она поймет! Больше не к кому. А если разболтает, все-таки девчонка?.. Нет, не разболтает. Ладно — попробую».

...Вовка подкараулил Веру после уроков на углу проспекта, где девчонки разлетались из общей стайки по домам. Он прошел за Верой полквартала и только тогда решился:

— Вера... Кошелева!

Она остановилась, испуганно глядя на раскрасневшегося Вовку.

— Тебе чего?

— Слышь... это... Вер... дело, короче, есть. Пошли я расскажу.

И — рассказал. Все как есть: и про Васю, и про заморенышей, и про фильм с привидениями, и про сон свой.

— Ну? — она подняла на Вовку глаза, а в них жили слезы и тревога. — И что же делать? Так ведь неправильно. Что же делать?

— Их... надо похоронить.

— Как?! Они же в лаборантской у Татьяны.

— Их надо... выкрасть.

— Ох! — Вера остановилась, глаза у нее сделались еще больше и пронзительнее. — Я не умею красть.

— Я тоже. Но можно попробовать, есть план. Красть буду я, а ты примешь Васю и спрячешь, куда я покажу. А на следующий день мы его похороним.

— Мне его не поднять — он тяжелый и неудобный.

- Я разберу его и сложу в сумку, — сказал Вовка.
- Мне не поднять... — она остановилась. — Но я попробую.
- Так ты согласна?!

Она кивнула.

- Не испугаешься?
- Испугаюсь. Но я помогу, ведь Васю надо похоронить. И всех остальных тоже.

Вовка не знал, что сказать. Вера — маленькая, худенькая даже в своей осенней толстой куртке, с опущенной головкой — стояла перед ним, и было видно, как ей страшно.

- Вера, это не игра, — сказал Вовка.
- Не игра.
- Ты — никому?..
- Никому.
- Тогда слушай.

И они пошли по тротуару, усыпанному осенними листьями.

4.

Вовка дождался, пока Григорьевна вымыла полы, закрыла лаборантскую и ушла елозить тряпкой по первому этажу. Он быстро вынырнул из туалета, добежал до дверей, вставил ключ, который сделал в мастерской, и через секунду его окружили тени мертвых.

Ох, и навозился же он с этим ключом! Вытащить его из замка не составляло труда: Татьяна Викторовна всегда оставляла его там, а вот добыть деньги на дубликат... Семьдесят рублей! Если бы Вовке давали на обеды! Но нет — на обеды мать не давала, боясь, что он будет покупать сигареты или «что похуже», и совала ему в рюкзачок два яблока или бутерброд.

Вовка вытряс из копилки все до последней копейки — 20 рублей. Вера добавила свои пятнадцать. За три дня они насаждали бутылок на «двадцатку». Остальные пришлось красть — Вася долго терпеть не мог. Улучшив момент, Вовка вытащил из отцовского пиджака «десятку», а недостающие пять внесла на общее дело Вера, оторвав их от школьного обеда.

В мастерскую он вошел зареванный, взлохмаченный и несчастный.

- Ты чего? — спросила его тетенька за конторкой.
- Ключи потерял. Вот, мать дала свои, чтобы вы сделали, — и Вовка протянул ключ.



— Ага, получил по загривку. Растяпа. На вас денег не напаешься. У матки-то, поди, деньги не лишние.

— Не лишние, — всхлипнул Вовка, не поднимая глаз, и вытер нос рукавом.

— Давай сюда. А сам сиди и жди, — тетенька забрала ключ и ушла куда-то.

Вовка сел на лавочку, неприметный и виноватый, и стал ждать.

Минут через двадцать она вернулась с теплым еще новым ключом.

— На, возьми. С тебя пятьдесят. Остальные отдашь матери. Слышишь — матери! И больше не теряй.

— Не буду. Спасибо, — и Вовка выскочил из мастерской. Два — ноль.

...В лаборантской было темно и страшно. Вовка слышал, как умирают школьные звуки: вот, покашливая, прошел дядя Валя, проверяя классы; вот отголосили под окнами мальчишки, которые доигрывали после уроков «в войнушку»; вот вообще стало тихо.

И Вовка взялся за дело: он расстегнул куртку, смотал с себя большой холщовый мешок, капроновую веревку и занялся Васей.

— Ты уж извини, что я тебя... так, — сказал он и начал снимать косточки.

Снимались они плохо, непонятно, но вскоре Вовка нащупал какую-то систему «строения человеческого скелета» (даже Татьяна Викторовна похвалила бы) — и дело пошло на лад. Нужно было спешить: Веру отпустили «к подружке» только до восьми, а ей еще тащить Васю к могиле. В 19-30 она должна была стоять под окном, чтобы оттащить мешок к маленькой рожице на пустыре, где еще вчера вечером Вовка вырыл могилу и замаскировал ее и холмик земли опавшей листвой. Там же была спрятана маленькая лопата, добыта Вовкой на балконе. Ох, и попотел же он! Земля хоть и была податливой после дождей, но ямку нужно было рыть глубокую — все-таки могила — хотя бы до метра. Хорошо, что по телевизору в это время шел какой-то навороченный боевичок и с пустыря сдуло всех мальчишек, — а то всякое бывает: что да зачем, а то и по шее. В общем, судьба была благосклонна к Вовке в этот вечер, и он старался. Часа через два могила была готова.

...Наконец последняя косточка была снята и пристроена в мешок. Вовка глянул на часы — 19-10. Пора открывать окно. Он приставил к подоконнику учительский стул, чтобы открыть верхний шпинга-

лет. Но тот оказался замазюканным краской и открываться не хотел. «Что делать?» Вовка занервничал, заметался, заискал глазами и вдруг увидел большой железный крючок, на который Татьяна Викторовна навешивала плакаты. Сняв его с гвоздя, Вовка поддел хвостик шпингалета и чуть не повис на нем. Что-то щелкнуло — и окно освободилось.

«Ф-фу! — вздохнул Вовка. — А если бы?..» Он не стал додумывать и освободил вторую раму.

В лаборантскую пахнуло свежей октябрьской прохладой, зашевелились перья на крыльях беркута, отчего казалось, что он торопится взлететь и унести отсюда навсегда.

— Я здесь, — Вовка услышал тихий голосок Веры.

— Сейчас.

Он завязал мешок с Васей веревкой и осторожно перекинул его через край подоконника.

— Осторожно — ему же больно, — заволновался голосок Веры.

— Ничего, пусть потерпит — скоро уже.

Напрягаясь изо всех сил, чтобы мешок не выскользнул из рук, и обливаясь потом, Вовка медленно стравил его на землю.

— Все, держу. Ой, какой тяжелый, — голосок Веры напрягся, заволновался. — Все, я потащила, то есть понесла...

— Тащи.

...Закрывает верхний шпингалет не получалось, как ни пытался Вовка. Он уже влез на подоконник с ногами и пытался всем собой протолкнуть шпингалет в дужку. Но — никак. Обмазанный краской, тот не лез.

«Ладно. Пусть так. Может, не заметят. Нижний-то все равно закрыт — никто не влезет».

Он слез с подоконника и начал на ощупь приводить в порядок пространство, забыв убрать стул.

Теперь нужно было ждать до утра. Дядя Валя открывает школу в 7-00. Вся ночь впереди. Маленький электронный будильник, который Вовка на всякий случай захватил с собой, был настроен на 6-00, но мало ли что — еще проспится, не услышится. Нет, нужно терпеть и ждать. Чтобы наверняка.

Глаза постепенно привыкали к темноте, и она уже не казалась такой кромешной и чужой. Вот из нее выплыло чучело кошки, вот большой шкаф с колбами и ретортами. Крылья беркута уже не шевелились, он поскукнел и выпирал из угла темной угловатой массой.



Вовка сел на диванчик и стал ждать. Это было самое трудное.

Чтобы не скучать, он начал считать и вспоминать. Сначала он пересчитал все горящие окна дома через пустырь, потом — негорящие, еще потом начал загадывать, какое из окон быстрее других погаснет. Потом он вспомнил Веру и подумал, какая она смелая и своя. Еще потом... еще... Спать было нельзя, совсем нельзя. А сон все ближе и ближе подкрадывался к нему, тяжелил голову, веки. «А может, ничего, может — будильник?.. Нет, нельзя... нельзя...» Вовка встал и начал ходить по лаборантской: пять шагов — туда, пять — обратно, пять — туда, пять — обратно... Не спать... Не спать...

Он вспомнил, как уговаривал маму отпустить его с ночевкой к Юре, чтобы «хорошенько подготовиться к зачету по русскому языку». «К Юре? — сказала мама. — К Юре — ладно, у него благополучная семья».

Мама почему-то делила все семьи на «благополучные» и «неблагополучные». Чтобы попасть в первый список, необходимо было соблюдать ряд неизменных условий:

1. Родители живут вместе и хорошо одевают ребенка.
2. Всегда присутствуют на родительских собраниях и имеют в доме бабушку.
3. Ездят на дачу (и лучше на своей машине) и систематически выбивают на улице ковры или одеяла.
4. Здороваются при встрече, приятно улыбаясь в глаза.
5. Не пускают ребенка на улицу после семи вечера и имеют телефон.

А вот в «неблагополучные» попасть было совсем легко. Когда Витька Семенов бывал у Вовки в гостях, мама после его ухода поджимала губы и качала головой: «Нижняя пуговичка на куртке оторвана, джинсы — «бахромой», поздороваться как следует не умеет. М-да, неблагополучная семья...» Когда же она увидела, как Толькин папа возвращался домой пьяным, то настрого запретила Вовке ходить в эту «неблагополучную семью».

А вот Юркина — значилась в ее списке вполне «благополучной», даже больше. Сам Юрка всегда был как картинка, хоть по телевизору показывай или снимай на обложку журнала: волосики ровненько подстрижены, брючки — глажены, глазки — умненькие. А «здрась-сьте» он умел выпевать так сладко, с приулыбкой. И бабушка имела. И родители на собраниях. И дача. И даже машина. Но ночевать к Юрке Вовка не пошел бы ни за какие коврижки.

Как-то еще во втором классе Юрка пригласил «избранных» на свой день рождения. Вовка тоже оказался в этом числе — может быть, потому что здоровался с Юриной мамой и как-то однажды открыл ей двери в подъезд.

В этот аристократический круг попали: Таня (ее мама работает директором магазина), Леша (папа — коммерческий директор чего-то железного), Вика (ее папа с мамой всегда ходят под ручку) и Света (у них «вольво»).

Уже с первых минут визита Вовка понял, что он здесь лишний. Его подарок — большой набор фломастеров — весьма скромно смотрелся на фоне блока компьютерных дисков, электронной игры и коллекционных машинок. А за столом Вовка вообще не знал, куда девать руки — они просились делать что-то простое, не праздничное. Он не умел красиво отламывать кусочек торта ложечкой, а норовил взять его в руку целиком и вкусно откусить. Потом, в детской, они все вместе изучали Юркино благосостояние: персональный компьютер, огромные красочные энциклопедии и прочие достижения Юркиных родителей. Руками все это потрогать было можно, но не рекомендовалось.

Уже через час Вовке хотелось откланяться и уйти, но было неудобно, и он, молча сидя на стуле, слушал, как Юрка вешает лапшу на уши девчонкам, у которых блестели глазенки и чуть не текли слюнки.

Нет, другое дело — у Тольки. Как дома, даже лучше. Уже в прихожей тебя обгавкает и оближет Найда — трехгодовалая овчарка; Толькина мама накормит пельменями и даст подзатыльника за грязные ботинки, которые, пока они с Толькой хохочут и дурачатся в маленькой комнате, сама же и вымоет.

Или у Сереги — играть в солдатиков под могучий храп вернувшегося с «ночной» отца.

Нет, к Юрке — ни за что. Но — для мамы это была что ни на есть самая благополучная семья — и она отпустила, вытребовав у Вовки обещание, что он позвонит ей утром на работу — телефона пока у них не было...

...Не спать... не спать...

И он заснул, свернувшись калачиком на диване.

...Проснулся он оттого, что ему в ухо пицал комар: «Пи-пи-пи...» Вовка хотел отогнать его, дернул рукой — и проснулся.



В окно пробивался рассвет. Он выплывал из-за дома напротив, отчего сам дом казался большим черным прямоугольником на темно-синем фоне. В прямоугольнике уже зажглись окна, и в них двигались маленькие силуэты утренних людей.

«Проспал! Все пропало!» — Вовка дернулся, заткнул будильник и ошалело сел на диване. «Нет, не проспал. Только шесть».

Он растер лицо ладонками, прогоняя сон; встал, поприседал, поразмахивал руками, пуская приятный ток по всему телу, и через десять минут был готов жить дальше.

Вот закашлял дядя Валя, пошел отпирать школу. Пора. Вовка разгладил складочки дивана, накинул куртку и рюкзачок, отпер лаборантскую, озирнулся — никого — и, закрыв двери на ключ, на цыпочках заскользил в туалет — затаиться, пока школа не наполнится ребятами.

5.

«Почему — скелет? Зачем — скелет? Для прикола? Нет — такая изощренность, продуманность, мужество, наконец. И этому сопляку тринадцать, от силы четырнадцать... Продать?.. Тогда зачем торчать целую ночь в лаборантской? Проник — открыл — сволок — сам вылез по веревке и концы в воду. А окно — бог с ним, и пусть открыто. Почему закрыл и остался? И все с таким риском и упорством! По-че-му?»

Пал Палыч ходил из угла в угол по кабинету. Первый урок на «кунявость» результатов не дал. «Куняли» в основном с 40 по 42 размеры. Он лично обошел все классы и дал педагогическую установку учителям: после первого урока выявить всех «кунявых». «Это для конкурса, — пояснял он, улыбаясь. — Сатирического конкурса». — «А-а... — понимающе улыбались в ответ Анны Павловны и Татьяны Михайловны, и к концу урока на директорском столе лежали 18 листочков с 36 фамилиями.

На втором уроке Пал Палыч самолично обошел все классы и успел вручить 36 шариковых авторучек «победителям конкурса», пожимая каждому руку и тут же на глаз определяя размер обуви и уровень смущения.

Всем было весело и полезно. А завуч Нина Георгиевна вообще пришла в неопикуемый педагогический восторг: «Пал Палыч, вы гений! Так просто и такая психологическая разгрузка для всего коллектива!»

«Ага, разгрузка... — думал Пал Палыч у себя в кабинете, крутя в руках карандаш и смотря сквозь окно на желтый от листьев пустырь. — Тут еще не такое придумаешь. Твою!.. Зачем он украл скелет? Насолить Татьяне? Тогда было бы проще спереть черепашку: и злее, и циничнее, и веселее — безбашенный Вася. И не нужно было бы томиться до утра в этом склепе. Не-ет! Ему весь Вася нужен был, целиком! Тут не прикол. И не корысть. Тогда — что?! Так, какие сильные чувства способны толкнуть подростка на такой подвиг? Корысть (нет), месть (нет), любовь (может быть), эгоизм (нет), жажда справедливости (что за чушь — а скелет-то тут причем?), жалость (к кому — к скелету?). У-у-у!!! Голова раскалывается. Так, стоп. Думай, думай, представляй, переселяйся. Тебе не шестьдесят, тебе тринадцать — для чего ты хочешь спереть скелет? Удивить возлюбленную? Напугать соперника? Самоутвердиться? Но удивить можно иначе — проще, например, спрыгнуть со второго этажа или накопить ей на сотовый телефон. Вообще от удивления лопнет. Испугать? Да переодеться бандитом или что-то в этом роде. Не тратят для этого столько душевных сил, не сидят с чучелами в одиночке по ночам. Так... Подойдем с другого бока: что такое скелет? Скелет — это то, что остается от человека после смерти. Так (Пал Палыч почувствовал, что в лабиринте его извилин, как искорка, мелькнула мысль, какая-то очень правильная мысль, и приглашала за собой). Так... А где должен находиться скелет? В склепе, в могиле, хоть на дне морском, но не в кабинете биологии. Во! Нашел!»

Он вскочил, достал сигареты, запер дверь на ключ и закурил, чего никогда не делал у себя в кабинете лет уже двадцать.

«В могиле! Там ему самое место. И не только Васе, но и всем этим кошкам, рыбам, птицам, что в Татьяниной кунсткамере томятся. И что же? (мысль запуталась, запнулась о какую-то ступеньку). Так. Красть скелет для того, чтобы похоронить! Какая же тут должна быть душа! Нет сейчас таких! Они вон в компьютере кровящую ведрами разливают, а в глазах — искры, что им скелет — так, побочный продукт жизнедеятельности. На подвиг — во имя скелета? Во имя... справедливости? А если? Тогда — кто? Каков должен быть этот герой? Первое — НЕ любить биологию. Нет, ненавидеть. А точнее — не понимать и не принимать. Второе — чувствовать боль кого угодно: блохи, кошки, слона, человека — сопереживать. Где у нас сопереживают? Только не на биологии, а на литературе.



Пал Палыч засунул окурок в цветочный горшок и рванул из кабинета. Он задал всего два вопроса — биологу Татьяне Викторовне и литератору Вере Львовне. Первой — кто вообще не понимает, а второй — кто из мальчишек бросится наперерез автобусу, спасая щенка от неминуемой гибели? «Наивно — да, но, как момент истины, — сразу скажут». И — сказали...

«Сидоров, Сидоров. Вовка Сидоров. И размер совпадает. Ну, что — будем брать?»

Нет, чего-то не доставало, не пускало прийти в 7-А и ткнуть пальцем — «отдавай Васю, вор Сидоров!»

«Так, — уже спокойнее подумал Пал Палыч. — А где похоронили? И когда? Не может быть так, чтобы один сидел в лаборантской, а второй довершал ритуал справедливости, копая яму. Нет, Вася еще жив. Он не закопан, а спрятан. Хоронить будут сегодня, после школы, вечером. Где? На кладбище? Ну уж дудки — переть 20 килограммов костей в такую даль, чтобы получить по шее от сторожа или попасть в психушку? Дураков нет. Да и у подельника вряд ли размерчик больше, сам далеко не утянет. Так где? Вокруг на километры каменные джунгли. Стоп! А наш пустырь? А березки? Очень лирично и сентиментально — так по-женски. По-женски?.. А почему бы и нет? А вдруг тот, второй, не подельник, а подельница?»

Пал Палыч вспотел. Он быстро вышел из кабинета, даже не закрыв его на ключ, и почти выбежал из школы.

Рошица встретила его левитановской грустью и тишиной. Везде были листья, много листьев. Они устлали землю ровным ковром и готовились из желтых стать коричневыми, а потом и вовсе слиться с землей. Много листьев... И на этом ровном холсте осени, загрунтованном в желтое и красное, Пал Палыч вдруг увидел шероховатость — небольшой желтый холмик на самом краю рошицы, куда редко забегали мальчишки в своих играх.

Он подошел, нагнулся и расшевелил желтое. Рука наткнулась на что-то деревянное. Лопата. «Значит, сегодня»... — подумал Пал Палыч. Он не стал додумывать, а, странно улыбаясь, пошел обратно и потом у себя в кабинете долго курил, глядя из окна на школьный пустырь.

«Да, он не мог оставить окно открытым — это неправильно: могут влезть чужие, может залить дождь, да мало ли еще чего, все равно — для него это было неправильно».

6.

В семь вечера Вовка подошел к школьному сараю. Вера уже ждала его.

— Ну, что, пошли? — спросила она.

— Пошли.

— Странно, в школе все тихо было, будто мы и не украли Васю.

— Да, странно. Даже Татьяна не охала и не причитала.

— Ну и ладно, все равно — пошли.

Все было на месте: и листья, и лопата, и Вася.

— Мы не будем его собирать? — спросила Вера.

Вовка покачал головой:

— Я не смогу. Да и темно. Ничего, я думаю, ему и так неплохо будет — все косточки рядом. А какая — к какой, ему все равно. Ну, я начал...

Вовка скинул куртку, и через десять минут на желтом, спокойном холсте осени появилась черная тревожная проплешина.

— Все. Теперь ты. Я устал.

— Ага, — Вера, которая уже по чуть-чуть насобираала вокруг охапку листвы, рассеяла ее ровным слоем на Васину могилу. И еще через пять минут желтый холст стал ровным, одинаковым, как будто ничего не произошло.

Вера и Вовка стояли рядышком и смотрели вниз — туда, где был Вася, где теперь ему хорошо и правильно. А говорить? Не нужно было ничего говорить.

— К-хе... — вдруг раздалось позади, и ребята обмерли.

По листьям прошуршали медленные шаги, и раздался знакомый голос:

— Он здесь?

Вовка сумел оглянуться. Пал Палыч стоял в шаге от них, держа в одной руке свой старый кожаный портфель, а в другой — две гвоздички.

— Можно, и я поучаствую? — спросил он.

Вовка судорожно сглотнул комок и кивнул.

Пал Палыч нагнулся и положил цветы на Васину могилку. Желтое и красное — это было красиво даже в полумраке наступающего вечера.

Потом они постояли еще немного, и Пал Палыч наконец сказал:

— Поздно уже, ребята. Пора по домам — завтра снова в школу.

7.

Сон пришел к Вовке сразу — словно слетел на легких крыльях. И был этот сон желтым, как осенняя рощица, как листья под нога-



ми, как сама осень. А на краешке сна вдруг появился человек. Он увидел Вовку и пошел навстречу, чуть касаясь листьев, даже как будто и не по ним, а над ними. Вот он совсем приблизился к Вовке — так, обыкновенный молодой человек, видно, женатый, — вон и золотое колечко на пальце, — только левая рука почему-то была на перевязи.

— Здравствуй, Вова, — сказал он приветливо.

— Здравствуй. А откуда ты меня знаешь?

— Я — Вася.

— Вася?

— Ага. Я теперь вот такой — полностью. Спасибо, Вова.

— Да ладно, покойся, — Вовка пожал плечами, дескать — «чѐ уж», но внутри ему стало тепло и приятно и хотелось улыбаться.

— Спасибо... только (ты уж прости), чего-то не хватает мне здесь.

— Чего?

— Понимаешь, привык я к остальным — ну, тем, что со мной в лаборантской жили: кошке, крысе, беркуту — ко всем, понимаешь? Я ведь им вроде как старшим был, а теперь вот как бы бросил. Непорядок. Душа болит. — Он просяще посмотрел на Вовку. — Ты бы не смог, а?..

Вовка представил осиротевшую после Васи лаборантскую, где так же стоят на полках замореныши и, конечно, скучают и завидуют. Он кивнул:

— Я попробую. Не завтра, но попробую.

Вася улыбнулся и протянул ему свою здоровую руку:

— Я знал — ты не откажешь. Прощай, Вовка. И передавай от меня привет Вере — она такая смелая.

— Передам. А что у тебя с рукой? Это не я тебя там, в лаборантской?

— Нет, это давно — лет триста назад, уже почти не больно. Пройдет. Ну, все — прощай.

— Прощай, Вася.

8.

Татьяна Викторовна ворвалась в кабинет директора почти сквозь двери и не касаясь ногами пола.

— А-а-а!!! Нет никого — чисто!

Пал Палыч, как опытный директор, кивнул в ответ, продолжая заполнять какие-то важные бумаги:

- Когда чисто — это очень хорошо, голубушка.
 - Да нет же! Никого — там, у меня! Всех сперли! Даже мышь.
- Пал Палыч отложил бумаги и посмотрел на Татьяну Викторовну.
- Голубушка, а не взять ли вам отпуск?
 - Отпуск? В первой-то четверти? — она растерянно заморгала.
 - А почему бы и нет? Взять — и махнуть куда-нибудь в санаторий или где еще тепло осталось. А насчет путевки я помогу. Ну, как?
- Татьяна Викторовна ошалело смотрела на Пал Палыча.
- Путевка. Какая путевка — нет же никого в лаборантской, все пособия... того.
 - Не беда, голубушка, мы поищем и найдем.
 - Ага, как Васю. Уже полмесяца ищем, а никого не нашли.
 - Что поделаешь, Татьяна Викторовна, что поделаешь — воры сегодня такие умные стали. Вот мне об этом и капитан милиции говорил, что был недавно. Да вы не расстраивайтесь — списали мы Васю, и этих ваших... спишем, если опять никого не найдем.
 - А как работать-то? И где новых взять?
 - Работать?.. Ну, как-нибудь так, на словах. А пособия? Давайте, я вам плакатики закажу — и мыши, и кошки, и человека, и даже мамонта. Только вы не расстраивайтесь — вы нам дороже. — Пал Палыч подошел к учительнице и легонько погладил ее по плечу.
 - Смотреть-то будете?
 - Конечно, буду. Пойдемте, голубушка, посмотрим.
- ...Пал Палыч внимательно осмотрел пустые полки, на которых остались лишь незапыленные квадратики недавнего пребывания замореннейшей; заглянул за штору, зачем-то провел пальцем по подоконнику.
- Нет, на самом деле никого. И никаких следов. Ловко сработано. Ну и ворье! Ладно — разберемся.

9.

Вера и Вовка нашли друг друга на большой перемене.

- Ты знаешь? — спросил Вовка.
- Вся школа знает — никого, — ответила Вера. — Это ты?
- Нет, — покачал он головой, — не я.
- А кто же? Не сами же они?
- Не сами. Я — хотел, но не успел.
- А может быть?.. — и Вера глубоко-глубоко заглянула Вовке в глаза.



- Ты думаешь?!
- Еще как думаю.

...Пал Палыч из окна смотрел на пустырь, который был уже не желтым, а коричневатым — первые морозцы отметились на листьях. Одна коричневая проплешинка в углу пустыря, у березок, казалась чуть коричневее остального.

«Ничего, еще неделя — и всё будет одинаковым», — подумал Пал Палыч. Он закурил, достал из кармана какой-то ключ и, грустно усмехнувшись, подумал: «Старею. Ну и ладно — всё должно быть на своих местах. Наверное, они правы».





Поросенок

1.

— Ну, и что мы будем делать? Брать его с собой к Бабочкиным — стыда не оберешься, оставить дома — уборки на весь вечер, если вообще будет куда прийти... — Мама сидела напротив Вовки, подперев ладошками голову и обреченно глядя на сына.

Вовка сидел напротив за обеденным столом, глядел в тарелку с борщом и молчал. Чё говорить-то: да — поросенок. Ну и что? Он же не нарочно. На свете вон сколько грязи: и на улице, и в подъезде, и дома, а если хорошенько поискать, даже в носу — везде. Что он, виноват в том, что ее много и она его любит? Зачем вообще замечать грязь-то? Это же полжизни нужно потратить, чтобы по десять раз в день руки мыть, чистить-гладить и тряпкой по полу елозить. Времени жалко — вон сколько всего интересного на свете!

В тарелке начала сгущаться желтоватая проплешина жирка. Она превратилась в островок, потом стала похожей на Австралию, которую сегодня объясняли на уроке. Вовка взял ложку и решил подправить материк сообразно географической правде. Но только он отделил Тасманию, как ложка дернулась в его руке, и континент выплеснулся на новую скатерть.

— Поросенок!!! Ну что за наказание! Марш руки мыть! — хором запрочитали мама и бабушка.

2.

У Бабочкиных было чисто, так чисто, как будто это была не обыкновенная земная квартира, а какой-то инопланетный корабль, случайно забредший на грязную Землю. Посредине залы стоял стол с угощениями, покрытый крахмально-чистой скатертью с завиточками; в вазе лежали вымытые до блеска фрукты с глянцевыми боками; сквозь вымытые окна, отражаясь от соседних домов, проблескивали последние лучи заката, придавая и комнате, и столу вид абсолютно-го совершенства.



Бабушка Бабочкина, в свежем переднике и с чистой-лучистой улыбкой, встретила Вовкино семейство в прихожей, где висело чистое, до полной прозрачности, зеркало, а под ногами — чистый паркет, навощенный до матового блеска. Нечего и говорить, что кошка, которая встречала гостей вместе с бабушкой, была такой же — волосочек к волосочку, шерстинка к шерстинке.

И Вовке уже в прихожей стало как-то не по себе. Он аккуратно, чтобы не сделать чего-нибудь не такого, не соответствующего этой вездесущей чистоте, снял ботиночки и поставил их рядышком, а не как дома — какой куда упадет.

Часа два назад, когда его отмывали и причесывали, мама прочла ему целую лекцию о том, как надо вести себя у Бабочкиных: ничего не трогать, не брать с тарелки руками, а только вилкой или ложечкой; не запихивать в рот по горло, замедлить движения, чтобы обезопасить себя и окружающих. Да-да, она так и сказала: «Ты двигайся, будто в тебе батарейка садится, и все будут живы». На все вопросы было велено кивать головой, улыбаться и думать перед тем, как говорить. А еще лучше — вообще молчать.

Бабочкины были «интеллигентной семьей», которая, по словам папы, «среди этого бардака сумела сохранить настоящую дворянскую культуру». О дворянах Вовка знал только то, что они жили за счет крестьян, говорили по-французски и ничего не делали. Во всяком случае, это было все, что он вынес из урока истории. С одной стороны, ему ужас как хотелось посмотреть, как живут те, кто попал в учебник; а с другой — было страшновато: в учебнике дворяне были изображены строгими и опрятными, и Вовка чувствовал, что вполне может влипнуть со своими пролетарскими замашками.

Младшие Бабочкины как-то сразу не приглянулись Вовке. Толик (он же Анатолий, как величали его домашние) был тощей медленной глестой с очками наверху. Пальцы у него были тонкими, костистыми и холодными, а глаза большими и потусторонними — такими только книжки читать. Его сестра — Вероника — еще подавала некоторые признаки жизни: она чуть фыркнула, когда их познакомили с Вовкой, и быстро обежала его с головы до ног своими рыбьими глазками.

Пока взрослые уселись за стол вести умную и приятную беседу, ребята закрылись в детской, которая строго была поделена на «девичью» и «мальчиковую». В девичьей вольготно жили мягкие игрушки всех возможных размеров: от огромного льва с грустной мор-

дой — до плюшевого заморыша с ушами больше головы и ступнями больше ушей. Над Толиной кроватью висел плакат, на котором черный рыцарь на вздыбленном коне замахивался мечом с такой силой, будто обязательно решил снести кому-то голову.

На письменном столе не было ничего, кроме пространства и блеска, а над ним висела полка книг, четко поделенная на «розовенькую» и «голубенькую». На первой сучали Жорж Санд и Шекспир, на второй — Дюма и Купер. И довершали интерьер компьютерный уголок, магнитофон и маленький телевизор — джентльменский набор школьников из «благополучной семьи».

Кроме этого, на столике стояло угощенье: лимонад, горячие пирожки домашней выделки, фрукты, пирожные и причитающиеся к этому инструменты: салфетки, блюдца и ложечки, разложенные в красивом порядке.

Надо было начинать общение. В комнате зависла тревожная, глупая тишина, в которой отчетливо витали две основные мысли: первая — «И зачем он пришел?» и вторая — «И на фиг я пришел?»

Наконец Анатолий, как старший, вежливо спросил Вовку:

— Володя, а какой у тебя компьютер?

«Компа» у Вовки не было, но, дабы не уронить пролетарского достоинства в глазах дворянства, он уверенно развел руки в стороны и сказал:

— Во-от такой!

Вероника прыснула:

— Ты его с рыбалки принес?

— Не-а, — не моргнув ответил Вовка, — из магазина. Там много разных было. Я увидел самый большой — мне его сразу же и купили. Еле домой донесли.

— И что ты на нем любишь делать? — Анатолий строго посмотрел на сестру, которая не выдержала и лягнула:

— Он на нем спит.

— Вероника! — повысил голос Анатолий и, сделав вежливую мордочку, повернулся к Вовке. — А у тебя есть Интернет? Если есть, то мы могли бы переписываться.

Вовку сначала заклинило, но он не сдавался:

— Нет, компьютер есть, а Интернет мы еще не купили.

Вероника подавилась смешком, но ничего не сказала.

— Ну, ладно, — сказал Анатолий, — хочешь поиграть во что-нибудь? — Он подошел к компьютеру, нажал кнопку — и экран ожил.



Поиграть Вовка хотел, очень хотел. Его старенький «Денди», мученый-перемученный, был лилипутом в сравнении с этим красавцем. Эх, сыграть бы, да боязно — а вдруг что-нибудь не то сделаешь, не на то нажмешь — вот и расколот. Похолодев, Вовка все-таки решился:

— Давай в гонки.

— В гонки?.. — теперь уже смутился Толя. — Нет у меня гонок. Мама сказала, что они... А зато есть «Кланки» — интеллектуальная игра, космические пришельцы... Давай?

— Давай! — Вовка почувствовал робость в голосе Толи, и ему стало легче: — Кланки так кланки, даже интересней.

«Кланки» были инопланетянами, полет их кораблей нужно было немедленно вычислять и моментально нажимать на кнопки курсора. Первые пять минут враг наседавал на Вовку, но, воспитанный старым добрым «Марио», он быстро освоился. Теперь инопланетяне один за другим сгорали в огне лазерного луча. Еще минута — и Вселенная была очищена от захватчиков. Вовка вытер со лба пот и откинулся на спинку стула.

— Здорово... — протянул Толя. — Я доходил только до пятого уровня. Здорово. Какой ты говоришь у тебя компьютер?...

— Большой! Во-от такой! — уже почти без иронии подсказала подсевшая к мальчишкам Вероника. — Довольно играть, давайте есть, пирожки остывают.

— Давай! — радостно подхватил Вовка, чувствуя, что робость перед аристократией духа куда-то запропастилась. — Ужас как есть хочу!

Когда они подсели к столику, Вовка двумя пальцами поддел пирожное с кремом и сразу отъел от него половину.

— Ты на тарелочку положи. Вот ложечка. Так удобнее. — Вероника с интересом смотрела, как Вовка расправлялся с пирожным.

— Не-а, — отрицательно мотнул головой Вовка, прихлебывая чай. — Надо, чтобы в руке было — так вкуснее.

— Ты думаешь? — Вероника как-то по-новому посмотрела на блюдце. — Ну, что ж — попробуем. — Она нерешительно взяла кусочек своими прозрачными пальчиками, нагнулась над столиком и откусила. В ее рыбьих глазках мелькнула искорка, потом — другая. — А что, так на самом деле вкуснее. И кто тебя этому научил?

— Никто. Я — сам! — с набитым ртом гордо ответил Вовка. Он дожевывал пирожное, потом тем же манером расправился с пирожком,

допил чай и сказал: — Пошли на улицу, я в вашем районе ни разу не был — покажете.

— На улицу?! — Вероника и Толя переглянулись.

— На улицу. Поиграем. У вас мяч есть?

— Мяч? — заволновался Толя. — Есть. Где-то был. Да-да, точно помню — где-то был. Только, кажется, он не накачан.

— Тащи! Насос-то есть? — Вовка облизал пальцы и обтер руки о штаны.

— Есть, только я...

— Давай-давай, — подбодрил Вовка.

Толик полез под кровать и вскоре извлек из-под нее вялый, пыльный мяч и старенький насос.

— Во! Самое то! — Вовка хлопнул Толика по плечу. — Качай.

— Я... не умею.

— Качать-то? Фу! Давай сюда! — Вовка опытно вонзил иглу, и через минуту вывел мяч из летаргического сна. Сжал его между ладонями, звонко щелкнул и довольно хмыкнул: — Шик! Пошли.

Вероника и Анатолий тревожно переглянулись.

— Вы что? — спросил Вовка.

— Надо... у мамы спросить, — сказал Толя.

— И у бабушки... — поддакнула Вероника.

— Ну так спрашивайте скорее.

Они втроем вышли из детской: Толя-Анатолий, с запотевшими от волнения очками; Вера-Вероника, подевавшая куда-то свои рыбки глазки, с порозовевшими щечками; и Вовка с мячом под мышкой.

— Мама... — протянул Толя. — Можно, мы во дворе поиграем. Там... тепло. Вот и мяч...

— Прекрасно! Прекрасно! — Толин папа театрально взмахнул рукой, будто приветствовал актеров. — Наконец-то! Во двор! С мячом! Прекрасно!

— А во что вы играть будете? — заволновалась мама Бабочкина.

— А где вы играть будете!? — заволновалась бабушка Бабочкина.

Вовка в ответ пожал плечами:

— Везде...

— Как «везде»? Нет! Только во дворе, под окнами, чтобы я видела. Наденьте спортивные костюмы. Только под окнами... — засуетилась бабушка.

— Ба, да ты не волнуйся, — протянула Вера. — Мы поиграем и придем.



3.

Через час все трое ввалились в прихожую. Вовка мигом скovyрнул за задники свои ботиночки. Вера, увидев это, быстро переняла этот нехитрый, но эффективный способ и обернулась к брату, который расшнуровывал замордованные грязью кроссовки:

— Ну что ты копаешься? Давай скорее!

И вот футболисты предстали перед трапезным столом, за которым шел какой-то умный-преумный разговор.

— Господи... — простонала бабушка Бабочкина, узрев это явление, и умный разговор сразу умер. Полминуты прошло во всеобщем молчании, и было отчего: очков на Анатолии не было, вместо них были два синюшные фингала, пуговицы на рубашке напрочь отсутствовали, а руки Толя почему-то спрятал за спину.

На Верином лице сквозь легкий слой пыли просвечивал здоровый румянец, в глазах бегал счастливый бесенок, а щеку наискосок перечеркивала алая царапина. То, что раньше было целомудренной прической, теперь напоминало клоч свалявшейся шерсти доисторического животного.

На этом фоне Вовка выглядел вполне аристократично, не считая грязно-потных потеков на лице и грязных коленок.

— По-ро-ся-та... — опять простонала бабушка Бабочкина. — В ванную! Только в ванную!

— Прекрасно! Просто прекрасно! — снова вознес в воздух руку папа Бабочкин.

4.

Отмытые, розовощекие ребята сидели в детской на полу и руками, с причмоком жадно ели пирожки.

— А у тебя «на головку» ничего получается, — сказал Вовка Толику.

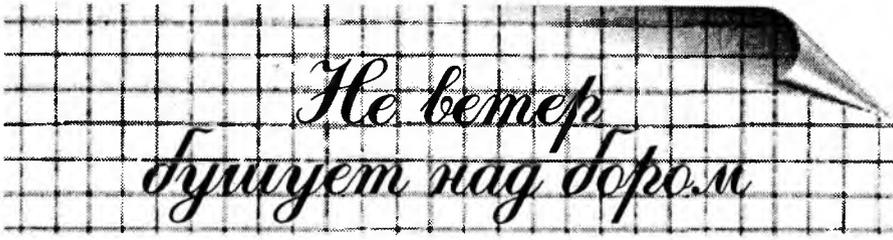
— Угу, — с полным ртом ответил Толик. — Нормально. Сам не ожидал.

— Вова, а ты к нам еще придешь? — с надеждой спросила Вера. — Приходи, а?

— Приду, бабочки. Я вам свою рогатку покажу, и еще меч, и много еще чего...

— Ух, ты! — хором пропели Толя и Вера.





Не ветер бушует над бором

1.

У Мишки родился стих. Как-то сам собою родился, из ниоткуда, из никакой, значит, творческой беременности. Тем более что Мишка отродясь стихов не только не писал, но даже и не читал. Ну, было, правда, лет пятнадцать назад, еще в третьем классе, когда Татьяна Петровна задала им учить наизусть стихотворение «Не ветер бушует над бором» то ли Пушкина, то ли Некрасова, то ли еще кого — имя автора окончательно и бесповоротно стерлось в Мишкиной памяти. Да и сам «ветер» давно отбушевал и напрочь забылся — зачем он? И какой там вообще «ветер», если в пять утра встань, снег вокруг дома разбросай, наскоро запихай в рот чего-нибудь из того, что Маша вчера у печной заслонки оставила и — к мастерским, где ждет — не дождетя хозяина Мишкин ровесник — «ГАЗ-57». А там — то да сё — вот уже и вечер, спать пора, ночь — сутки прочь. Какой там «ветер»? И вот — на тебе. Откуда? Зачем? Ехал он, как всегда, той же дорогой. Ну — солнце, ну — снег блестит, ну — небо голубое, ну и что? Все это уже было, тысячу раз было: и дорога, и солнце, и небо — с чего оно, такое, сегодня-то?

Мишка остановил машину, мотнул головой — нет, не проходит. Зажмурился — не проходит, мается, кружится в голове:

Над снегом, над полем, над лесом

Горит голубой небосвод...

Мишка открыл глаза. Солнце на цыпочках приподнялось над зеленым частоколом сосен, и верхушки их подернулись золотой дымкой. Казалось, что лес тянулся вверх, в небо, рос к солнцу, стараясь успеть за ним, не расстаться. Но вот золотая полоска над деревьями заголубела, расширилась, и весь мир раскололся на золотое, зеленое, голубое и нестерпимо серебряное, колющее глаза блеском. «Ах!» — раздалось внутри Мишки, и было это «ах!» не его, чужое, немного бабье, глупое и счастливое. Так «ахала» Машка, когда он, только что вернувшийся из недельной командировки, небритый, го-



лодный, прижимал ее к себе и, не в силах больше ждать, тянул подол платья вверх.

Мишка чертыхнулся, полез за сигаретой, долго искал в карманах замащенного ватника спички. А в голове летали строчки:

*Над снегом, над полем, над лесом
Горит голубой небосвод,
И солнце по тропкам небесным
Красивою птицей плывет.*

Строчки эти распирала Мишку, просились сказать, выплеснуться. И Мишка открыл было уже рот, но оглянулся вокруг и смутился: говорить, читать, или как его там, — было некому. Он подумал: «Читать стихи для себя, да еще вслух все одно, что пить в одиночку. Нет, больше так не могу!» Он стрельнул недокуренную сигарету в сугроб, завел мотор, развернул на «пяточке» машину и, забыв про стенокардию своего «газика», погнал его под восемьдесят в село.

Дорога летела под колеса, и Мишка спиной чувал, как растут у него из лопаток большие белые крылья, сильные и просторные. И «газик» чувал это: не фыркал, не гремел старыми ребрами, а плавно несся, будто над самой землей.

Мишка резко тормознул у своего дома. «Машина, выбрызнув из-под колес снежную пыль, разом сникла и чуть задымилась, переводя дух.

«Машутка!» — прямо с порога закричал Мишка. Жена выпорхнула из горницы, глянула на него и — ах! — прижалась спиной к косяку, смятенно поднеся руку к груди: «Ты чё, Миш? Случилось чё?» Мишка блеснул глазами: «Случилось!» — и, помогая себе тяжелой, корявой ладонью, продекламировал, нажимая голосом на каждое слово: «Над снегом, над полем, над лесом...»

Маша еще более округлила глаза и остолбенела окончательно: «Ну?...»

— Что «ну?» Это — я! Понимаешь, это я сочинил, я!

— Ой! — она закусила губу и всхлипнула: — Ой, Мишенька, да как же это? Да за что же это, а?

А Мишка опять взмахнул ладонью и повторил: «Над снегом, над полем...» — и вдруг тоже сник, тупо глядя на готовую разрыдаться жену:



— Вот так, значит... над полем... над лесом... Придумал я... Слышь, принеси кваску, а я присяду.

Машка метнулась в горницу, схватила с полки кружку и, черпнув из кадки шипучего клюквенного кваса, подсемила к мужу:

— На... Как же это ты, а? И что теперь будет?

Мишка выдул квас тремя большими глотками, вытер рукавом рот и сказал:

— Не знаю. Еду, слышь, еду и — на тебе, сами в голове появились. Как обухом. Никуда от них деться не могу.

— Мишенька... — Машка сникла и ткнулась лицом в мужнину фуфайку. — Что ж делать теперь-то? Может, спросить у кого?

— У кого?

— Ну, к примеру, у Татьяны Петровны — она в стихах понимает. Мишка в упор посмотрел на жену:

— Молодец! Пошли!

2.

Татьяна Петровна, зябко кутая плечи в старенький пуховый платок, сидела в классе над ребячьими тетрадками. В дверь робко постучали. Она вздрогнула и, подняв глаза, сказала: «Войдите».

Сначала бочком, держа в обеих руках тертую ушанку, вошел Мишка. За ним, чуть прячась за мужа, — Машка.

Татьяна Петровна, — начал Мишка. — Это, значит... мы к вам. Может, помните, Мишка я Павлов из третьего «А».

— Господи! — Татьяна Петровна всплеснула руками. — Мишенька, Машенька! Какие вы взрослые стали, большие. Проходите, проходите, я очень рада. Что у вас там стряслось?

Мишка подошел к учительскому столу, с уважительным ужасом глянув на ту самую доску, у которой столько раз пускался «в плавание», и, помявшись, сказал:

— Я, Татьяна Петровна, стихи придумал. Но не сам, нет — вы не подумайте, они во мне сами придумались.

— Стихи? Ты? — Татьяна Петровна глубоко и недоверчиво заглянула Мишке в глаза.

— Ага, я, — опустил глаза Мишка. — Я не нарочно.

— Ну, читай...

Мишка вытянул руки по швам и, шмыгнув носом, прочел: «Над снегом, над полем, над лесом...» Он читал, глядя в класс, и видел за партами своих ребят из того, далекого-далекого детства: Петь-



ку-жмота, Юрку-я-позову-папу, Тольку-рыжика. Они смотрели на Мишку во все глаза и удивлялись, и немного завидовали...» Красивою птицей плывет!»

— Всё? — спросила Татьяна Петровна.

— Всё, — тревожно ответил Мишка. — А что — мало?

— Нет, стихи хорошие. А ты уверен, что это ты их сам придумал. Может быть, прочитал где-нибудь, а теперь случайно вспомнил?

— Нет, точно — сам. Не читал я после школы книг-то, Татьяна Петровна, не до того было. Мои они — точно. Я их и не придумывал, они из меня сами появились.

— Да, Миша... У тебя талант, — покачала головой Татьяна Петровна.

— Нет, не нужно мне никакого таланта! Татьяна Петровна, миленькая, возьмите их у меня, возьмите, пожалуйста — покоя не дают.

— Как это? — растерялась учительница.

— А вот так — давайте я их вам на бумаге напишу, может, и отстанут — жить не дают. Так в башке хорошо было — пусто и ясно, а теперь гудят и гудят!

— А тебе не жалко — стихи-то ведь хорошие?

— Ой, не жалко! Давайте бумагу — вдруг да поможет.

Мишка сел за свою парту, взял ручку Татьяны Петровны и на листочке в косую линейку начал выписывать, чуть высунув от натуги кончик языка: «Над снегом, над полем...»

Когда все было готово, он с глазами, полными надежды, вручил листок:

— Вот, Татьяна Петровна, — дарю! А мы пошли. До свиданья. Будьте здоровы.

И Мишка с Машкой проворно вынырнули из класса.

— Ф-фу... — уже дома выдохнул Мишка, наливая себе стопку самогонки. — Кажется, отвязались, проклятые.

— Что? — засуетилась Машка. — Не вспоминается? Неужели?

— Вроде, не вспоминается.

— Ну и слава Богу! Какие там стихи — вот и корова не доена, и тебе крыльцо чинить надо. Какие стихи?

3.

Спалось Мишке трудно и многосонно. В первой серии сна он был Мишкой, но почему-то с большой белой бородой и в красном тулупе, перетянутом мохнатым кушаком. Он сидел в классе и пялился на



доску, у которой Татьяна Петровна что-то объясняла. Вот она взглянула на него и строго спросила: «Павлов, а ты почему здесь? Тебе пора обходить свои владенья». — «Какие владенья, Татьяна Петровна?» — растерянно спросил Мишка. «Как какие? Те, где ветер бушует над бором. Иди сейчас же и обойди!»

Мишка встает из-за парты, путается в бороде и потеет оттого, что ему надо что-то обходить. Но если уж сама Татьяна Петровна сказала — делать нечего, надо. Он выходит из класса во двор, а там серебряный снег и горящие под солнцем верхушки сосен — так красиво. И ничего страшного нет в том, что все это нужно обойти — ладно. Мишка уже порывается было шагнуть в воздух, но тут появляется Машка. Она хватает его за рукав кафтана и не пускает: «Ты куда? Крыльцо починил? Дрова привез?» И Мишка тяжелеет, снимает кафтан, отрывает бороду и покорно идет рубить дрова. А рубить не хочется, а хочется как там, в стихе: «дозором... владенья свои...»

Он просыпается. Это оттого, что Машка во сне кладет на него свою мягкую тяжелую руку. Сначала Мишка покорно лежит под Машкиной рукой, потом осторожно снимает ее со своей груди и садится на кровати. «Ишь ты, обнимает, будто заграбастать хочет, — думает он непривычно зло про Машку. — Крыльцо, говоришь? Дрова?» Мишка встает и подходит к окну.

С черного неба, потыканного мелкими звездами, смотрит луна. Она сегодня большая и похожа на круглую мордашку с носиком и бровками. А от луны по снегу рассыпаны золотые и серебряные крошки, они перемешались друг с другом и переливаются: желтый — серебряный, желтый — серебряный. И снова в Мишкиной груди всплескивается вчерашний «ах!» И он уже не стыдится его — напротив, от этого «аха» так грустно и тепло становится на сердце. А почему? Нет, Мишка не знает. От этого незнания он сердится и пьет квас большими глотками, потом забирается в постель и, повернувшись спиной к Машке, закрывает глаза.

И сон тихо влывает в него. Он пьет водку с мужиками из бригады. Вдруг Серега — квадратный амбал с мордой, похожей на бампер «КРАЗа-214», спрашивает Мишку: «А ты, говорят, стихи пишешь. Почитай». Мишка отнекивается, тушует, пытается отшутиться: «Да ничё я не пишу, куда мне», но Серега кладет ему на плечо свою тяжелую лапу и повторяет: «Почитай. Может, я тоже хочу стихи послушать». — «И я хочу», — гудит Акимыч. «И я», —



поддакивает Юрка-электрик. «И я», — гудит мастер Борис Петрович. Они окружают Мишку и ждут, а лица у них серьезные, и в глазах что-то такое тревожное, будто потеряли что или боятся потерять — как в конторе перед получкой, когда никто не знает, будут давать деньги или опять не будут.

Мишка встает, принимает подобающую позу и начинает читать: «Над снегом... К-ха... Над лесом...» И тут он с ужасом понимает, что забыл стих. Ужас, какого Мишка никогда не знал, растекается по телу. Мишка пытается успокоить себя: «Забыл, ну и черт-то с ним — что уж...», но чувствует, что холодный пот прошибает его и здесь, во сне, и там — наяву. Нет — ни словечка. Забыл! Он вздрагивает и просыпается.

Утро. Машка уже встала и о чем-то ласково толкует в хлеву с поросенком. За окном просыпается лес. Он уже надел легкую темно-синюю шапочку раннего рассвета и сбросил на землю белую простынь тумана. Мордочка луны побелела и ушла к горизонту; дырочки звезд почти заклеились, лишь низко-низко, почти над крышами, висит-переливается холодная Венера.

Мишка сидит на кровати и вспоминает. Но стиха нет. Нет и нет, и бог с ним, зудилой. Мишка думает: «Сейчас расчищу дорожку, поем — и на работу. Всё как было, всё как надо». Он находит в сених лопату и идет к дверям, но по пути заглядывает в хлев: «Слышь, Маш, ты стих мой не помнишь?» — «Чё? — оборачивается на мужа Маша. — Какой стих?» — «Да нет, я — так». И Мишка уходит.

4.

В голове ясно и пусто. «Газон» скрипит бортами, тащится под колесами дорога. Пятнадцать километров — до карьера, пятнадцать — обратно. Пятнадцать — до карьера, пятнадцать — обратно. Мишка говорит сам с собой, там, внутри: «Как там было? «Не ветер бушует над бором, не...» Нет, не помню. Как дальше-то? Заехать спросить что ли?» И руки его сами поворачивают руль в сторону школы.

Татьяна Петровна так же сидит в своем платке над тетрадками. На скрип двери она медленно поднимает голову, еще наполовину оставаясь там, среди буквочек и запятых, и вопросительно смотрит на Мишку.

— Татьяна Петровна... вот хочу вспомнить, как там дальше будет: «Не ветер бушует над бором...» Мишка краснеет и опускает глаза, как тогда, пятнадцать лет назад.



Татьяна Петровна что-то ищет среди тетрадок, листочков, книжек и вот, найдя, берет в руку листок, легко улыбается и читает:

*Над снегом, над полем, над лесом
Горит голубой небосвод,
И солнце по тропкам небесным...*

Мишка вздрагивает:

— Я вспомнил — «Красивую птицей плывет». Я вспомнил, Татьяна Петровна!

Она улыбается и тянет Мишке листок: — Возьми, а то...

Мишка мотает головой и тоже улыбается:

— Нет, Татьяна Петровна, я теперь никогда не забуду.

...Серебряная пыль из-под колес. Тугие, острые лучи пронзают кроны убегающих назад сосен. 15 — туда, 15 — обратно. Не привыкать! Мишкины руки сами ведут машину. Вот там — первый поворот, а вот там — ямка. Пусть ведут!

Мишке легко и ясно. И за спиной белые-белые крылья, и серебряный воздух вливается тонкой струйкой в кабину, и летит дорога, и солнце по тропкам небесным красивую птицей плывет.





1.

Вовку напугали. Утром он никак не хотел идти в садик, сонил глаза и весь был похож на тряпичную куклу. Он сидел над манной кашей, бросив руки по бокам вниз, и тупо смотрел в тарелку.

— Ешь! — Бабушка занервничала перед ним, то ставя руки в боки, то подсовывая к Вовке тарелку. — Да ешь же!

— Не хочу. Не буду, — бубнил он, не поднимая глаз.

— Ешь, я говорю, а то сил не будет.

— Будут.

— Откуда?

— Изнутри.

— Из какого еще «нутри»? Посмотри на себя — кожа да кости, не мальчик а суповой набор, нет там уже никакого нутра. Ешь!

Вовка молчал, не поднимая брошенных плетью рук.

— Ну, ладно, — бабушка перешла на таинственно-зловещий тон. — Кто не ест, к тому Червяк приходит.

Вовка встрепенулся:

— Какой червяк?

— А ты не знаешь? Червяк! Красный Ненасытный Червяк из Подвздошины. Они там специально живут для тех, кто не ест и в садик ходить не хочет. Вот сейчас ты кашу не ешь, а он все слышит и уже в путь собирается.

Вовка представил себе это Красного Червяка, ненасытного, да еще из Подвздошины. Он был очень красным, длинным и жирным.

— А что он со мною сделает?

— А они, червяки эти, малоежками питаются, когда те спят. Заползают в форточку или из отдушины и живьем едят.

Вовку пробрал холодок. Он испуганно поднял глаза и спросил:

— Ба, а ты не будешь защищать меня от червяка?

— Не буду! Ты мою кашу не ешь — вот и не буду.

— Я съем... съем.



Вовка торопливо взял ложку и, давясь, быстро вычерпал все до самого доньшка.

— Теперь не придет? — он с надеждой поднял глаза на бабушку.

— Теперь не придет, — бабушка довольно улыбнулась. — Он слышал, как ты скребешь по тарелке — и уснул.

...Весь день в садике Вовка думал о Червяке: как тот плотным клубком свернулся у себя в Подвздошине и ждет, слушает, когда Вовка забудется и не поскребет по тарелке ложкой. Вовка уже видел, как червяк поднимает свою огромную ненасытную голову и прислушивается. А голова у него в чешуе и из пасти выглядывает кончик красного языка.

За обедом Вовка पहले всех съел невкусный, пахнувший дешевым маслом и общей кастрюлей детсадиковский суп, тщательно выскреб со дна остатки картошки. Второе — котлету с макаронами — он скреб еще громче, а когда пил компот, то со «скребом» доставал со дна стакана вялые, сморщенные сухофрукты.

После обеда он чувствовал неприятную тяжесть в животе — Вовка не умел есть столько, но было нужно, иначе Червяк его услышит и приползет, чтобы... чтобы... Вовка даже представить себе не мог этого «чтобы» — слишком оно было страшным. Нет, лучше потерпеть, а он пусть остается у себя и не приползает.

— Вот молодец! — сказала Татьяна Викторовна. — А я и не знала, что ты так умеешь — ни крошки не оставил.

Вовка только кивнул в ответ и погрустнел: теперь ВСЕГДА нужно будет есть ВСЁ, хочешь — не хочешь, а нужно. Иначе...

...Дома Вовка решил схитрить.

— Бабушка, а Красному Червяку нужен только скрип? Он его услышит и не придет?

— Какому червяку?... — остолбенела бабушка. — А, этому? — И усмехнулась, понимая Вовкину хитрость: — Нет, дружок, ему нужно, чтобы ты сыт был, одним скрипом его не обманешь, он умный.

— Но скрипеть все равно нужно?

— Нужно-нужно, не мешай...

Две недели Вовка ел все. Поправиться у него не получалось, а вот живот стал болеть. Однажды в садике его вытошнило, и Вовка целый день бился в тревоге: еда ведь не в животе, значит, червяк может прийти. Может или нет? На всякий случай он достал старую тарелку, которая служила подставкой под цветочный горшок, и, затаившись в туалете, долго скреб по ней ногтями — может, не придет.



Когда наступало время еды, Вовка чувствовал непонятную тревогу: сердечко начинало биться чаще и играть совсем не хотелось. Еда была нужна, но только для того, чтобы поскрипеть. После этого от завтрака до обеда, от обеда до ужина он успокаивался, но вскоре снова звали за стол. Еда стала мукой.

2.

— Да не скреби ты по тарелке — аж озноб берет! — Аня бросила ложку и, передернувшись всем телом, посмотрела на мужа. — Пять лет с тобой живу, думала — привыкну. Не — мо-гу! Есть вместе с тобой не хочется!

Вовка, весь красный, сидел перед женой и смотрел наискосок от нее, не смея заглянуть в глаза, но рука его сама, казалось безо всякого Вовкиного участия, тихонько делала те самые движения — скреб, скреб... Почти неслышно, скользя по жирку, оставшемуся от гуляша, но все равно — скреб, скреб...

— Что молчишь? Хватит ложкой шевелить — съел уже все! — почти крикнула Аня.

Вовка напряг руку, заставляя ее послушаться. Рука сопротивлялась, тужась побороть Вовку и жить так, как ей хочется и всласть наскрестись по тарелке. Вовка почти бросил ложку на стол, и сразу ему стало страшно, будто обязательно, всенепременно должно было произойти что-то ужасное; будто он бросил меч, которым защищался от невидимого, но безжалостного врага. Как зовут этого врага, он не знал — забыл, ему 35 лет, а этот враг по жизни преследует его — затаился где-то и ждет. И спастись можно только одним — скреб, скреб...

Вовка дрожащими пальцами достал сигарету, закурил. Аня сидела напротив и молча, неподвижно смотрела в сторону от Вовки. И казалось, из тяжелых камней в ней выстраивается какое-то решение. Она встала и, не говоря ни слова, вышла из кухни.

— Я пойду пройдуся, — услышал Вовка из комнаты.

— Пойдем вместе, — предложил он, боясь и одновременно надеясь остаться один.

— Нет, я пока одна. Я скоро. А ты помой посуду.

Через пару минут дверь за женой захлопнулась.

...Вовка потушил сигарету и посмотрел на ложку. Никого не было. Теперь можно. Он взял ложку и обреченно, чувствуя странную защищенность, стал скрести по тарелке — скреб, скреб... Через

минуту он понял — хватит, он защитил себя, по крайней мере, до ужина. Можно было просто жить, не опасаясь, что кто-то невидимый следит за тобой.

3.

Красный Ненасытный Червяк опустил большую чешуйчатую голову и свернулся кольцом внутри Вовки — его снова не пустили, не дали насытиться. Ничего, он подождет — когда-нибудь наступит и его час. Он подождет.





Все мы, конечно, помним сказку, как жила-была девочка, и была у нее злая мачеха, которая заставляла бедняжку работать: то 50 розовых кустов за ночь посадить, то мешок мака по зернышку перебрать, то три платья к утру сшить и много чего еще. А девочке некуда было деваться: малолетка, да и от жилплощади с пропиской в баюшкином доме не сбежишь. Вот и терпела. И все принца ждала. Старая сказка, старая — лет поди триста будет.

...Череповец. 2002 год. Ноябрь. Мы сидим с Таней в маленьком кафе, пьем чай и едим пирожные. Ей четырнадцать лет; тоненькая, как спичечка; русые волосы до плеч и огромные ясные глаза, в которых застыло то ли терпение, то ли ожидание. Ей странно и немножко неловко оттого, что вот так можно просто сидеть в кафе, необязательно пить чай и беседовать. Она рассказывает:

— Я работаю у моей мачехи. Утром мне разрешают пойти в школу и пробыть там до двух, а потом я должна стоять за прилавком и продавать. Этим я отрабатываю то, что меня кормят и одевают. Возвращаюсь домой в шесть, отдаю деньги, отчитываюсь и помогаю сортировать товар. А если его нет, то мне нужно приготовить ужин на сегодня и обед на завтра и еще убрать квартиру, потому что, если я не приберусь или не сготовлю, меня будут называть дармоедкой и ленивой тварью.

— Таня, а кто будет называть — папа?

— Нет, папа никогда не обижает меня, он все больше молчит. Придет с работы, поест и молча смотрит телевизор или читает газету. Обзывает Елена Петровна — его новая жена.

— Ты так и называешь ее — Елена Петровна, а не «мама»?

— Моя мама умерла, она была одна — другой быть не может. Когда папа женился вторично, то он сначала просил называть его новую жену «мама», но я не смогла. Когда мы с Еленой Петровной впервые посмотрели друг другу в глаза, то все сразу стало понятно: мы никогда не будем друзьями, мы чужие, а теперь даже враги, и обе это понимаем. Просто я младший враг, а она старший.

— И в чем же выражается эта вражда, когда она появилась?

— У нас двухкомнатная «хрущевка», комнаты смежные. Пока была жива мама, маленькая комната была моя, я там спала, там были мои игрушки, мой шкафчик — мой мир, а родители жили в «большой». После прихода Елены Петровны меня сразу выселили в «большую», игрушки мои частью запихали в нишу, частью выкинули. Елена Петровна сказала, что я уже почти взрослая и все эти тигрята, медвежата и куклы уже не нужны. Она отобрала то, что «соответствует возрасту», а прочее... прочее просто исчезло. Я однажды пришла из школы — а его уже нет. Да, я уже не ребенок, но я так любила свои игрушки, особенно те, которые мне подарила мама.

— А как реагировал на это твой папа? Неужели молчал, не защитил?

— Никак он не реагировал. Может быть, ему было жаль меня: однажды он подошел, погладил меня по голове, заглянул в глаза так, как будто все понимал. Но ничего не сказал и ничем не помог.

— Таня, а где и когда ты делаешь уроки?

— На работе. Покупателей не так много, товар у нас штучный — я все успеваю: и устные, и письменные задания. У меня даже «трек» почти нет. Сначала было неудобно разрываться между работой и уроками, а сейчас я научилась переключаться.

— А свободное время, подруги, посиделки-тусовки, кавалеры, наконец?

— Все это в школе, как у других, но только до двух: и подружки, и кавалеры, и все остальное. В школе я отдыхаю, там жизнью пахнет. А вот дискотеки и все такое — этого у меня нет: все выходные, с десяти до шести я на «точке». Пробовала как-то отпроситься у Елены Петровны, так она мне сказала, что все эти «дерганья» и «кривлялки» — пустая трата времени и что у нее нет на это лишних денег.

— Но ведь ты работаешь, тебе, по крайней мере, должны зарплату выдавать.

Таня усмехается:

— Я пробовала об этом говорить. Елена Петровна молча посадила меня рядом с собой, взяла калькулятор и насчитала мне такую сумму, что я, вроде как, ей еще и должна остаюсь. И все как будто правильно.

— И что же было в этой калькуляции?

— Всё: счет за еду, одежду, обувь, «моя» часть коммунальных платежей, даже туалетная бумага.



— Но ведь родители обязаны по закону содержать ребенка, не требуя от него никаких выплат.

— И это я говорила. Но Елена Петровна сказала, что я не ее ребенок.

— Почему ты не хочешь поговорить с отцом по этим вопросам?

— А у меня такое чувство, что она его загипнотизировала, или ему просто удобно так жить. Когда была мама, то мы вместе и гуляли, и ели, и говорили о чем-то простом и приятном: о знакомых, животных, погоде, о том, что в телевизоре. А теперь разговоры только о деньгах и о том, что все вокруг враги и сволочи. Папа отдает свою заводскую получку Елене Петровне, чтобы она ее «прокручивала» — они на автофургон копят. А накопят — папа будет развозить на нем товар (ему об этом уже сказали).

— Таня, ты заканчиваешь девятый класс, а что дальше?

— Я бы очень хотела учиться в старших классах, а потом поступить в институт, на меня не пустят. Да и не потянуть: в 10 и 11 классах учиться трудно, мне уже не совместить работу и учебу.

— И ты собираешься «бесплатно» работать всю жизнь на свою мачеху?

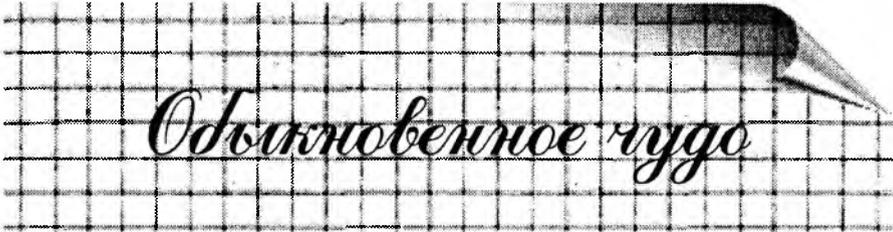
— Всю жизнь — нет. Но пока придется. Если я уйду на другую работу, она выживет меня из дома, мне уже намекнули об этом, Елена Петровна очень умная и предусмотрительная: она как-то села напротив меня, холодно посмотрела мне в глаза и сказала: «Здесь все работают *у меня*, а тот, кто не хочет, — уходит». Я поняла. Если бы я знала, как и куда сбежать, — сбежала бы. Но пока у меня нет ни документов, ни специальности. Может, когда вырасту, решусь, или найдется хороший человек, который вытащит меня отсюда.

— Принц?

— Да, принц, кто бы он ни был — рабочий, военный, бизнесмен, для меня он будет принцем. А пока — я жду.

...Мы выходим из кафе и прощаемся. Я смотрю ей вслед. Какая она маленькая, тоненькая, такой-то и носить хрустальные туфельки. Эй, волшебники, принцы, вы есть? Где вы?..





Обыкновенное чудо

— А теперь последний конкурс! — радостно объявила Снегурка. — Конкурс на самого сильного и надежного кавалера. Вам, мальчики, нужно подхватить на руки ваших девчонок и донести их, быстро, но бережно, от Деда Мороза до меня.

— Да! — пробасил Дед Мороз и стукнул об пол посохом. — От меня до Снегурки. Бережно, но быстро. А самому надежному кавалеру (он засунул руку в мешок), а самому надежному — вот!

И в руке его оказалась самый настоящий картридж к приставке «Сегга».

— Ох! — хором выдохнули все пятиклашки, и шарики-ролики закрутились в их головах с утроенной силой. Картридж! Это не записная книжка, не шоколадка, не ручка — это картридж! На халяву! Даже Петька-бегемот, который был монументальнее и неподвижней памятника Верещагину, и тот закрутил-завертел головой и заволновался всеми щеками и животом. Картридж! На халяву!

— Хи-хи-хи... — засмутились девчонки, пофыркивая «вот еще!» и с надеждой бросая быстрые взгляды в сторону Юрочки — с бабочкой.

Мальчишки в момент просекли ситуацию и разом рванулись к бледной и щуплой, как лесная поганочка, Леночке. Черт с ним! Пусть на минуту — кости в руках, зато потом — картридж в кармане: Ленка-то легонькая, как перышко. Минута позора — и ты с добычей! Картридж!

Бедная Леночка, вообще не привыкшая к какому-либо вниманию, из бледной вмиг стала красной и чуть не уписалась от волнения. Мальчишки окружили ее стеной.

— Ленка! Я тебя, как пушинку!»

— Ленка! Давай ко мне!

— Ленка! За пять домашних!

— А я за десять!

Готовая упасть в обморок, Ленка из неприметной Золушки вдруг на глазах у всех превращалась в Королеву. Но королевой быть не



привыкла. Она вконец растерялась и уже протянула ручку, чтобы отдать ее кому-нибудь, только бы поскорее, однако Дед Мороз был не только волшебником, но и по совместительству директором школы. Педагогически верно оценив ситуацию, он еще раз бухнул об пол посохом и скомандовал: «Петрова! Опустить руку! Кто с кем сидит — тот того и понесет. Так судьба решила! По парам разойдись!»

Пятиклашки послушно отступили от полуобморочной Леночки и разошлись по судьбой и Марь Палной назначенным парам.

Юрочка — с бабочкой с ужасом посматривал на свою судьбу — толстушку-хохотушку Юльку и тихо проклинал себя за то, что не делал по утрам зарядку.

Только стоял рядом с долговязой Викой, которая была выше его почти на голову, а с прической — на все две. Он представлял себе, как Вика будет свисать с него вправо и влево, когда он потащит ее к Снегурке, и ему делалось страшно.

Витька прикидывал в уме, что «бережно и быстро» может донести свою Верку и на спине, на закорках. «Поди не растрясу. Никто не говорил, что так нельзя. Вот оно и быстрее получится. Не рассыплется — и не такое на переменках выдерживала».

Вовка обреченно подошел к Леночке. Вообще-то никогда не носил на руках девочек, знаки внимания были другого рода — ну, там учебником по башке или за косичку, если таковая имела, или еще как. Но чтобы на руках!..

Он стоял рядом с Леночкой и чувствовал себя примерно так же, как пещерный человек на великосветском балу или как индеец племени мумба-бумбу, которого посадили перед компьютером и велели в него войти. Он бы и вошел, да экран больно маленький.

Вот Вовка и был этим индейцем: рядом — предмет знакомый, но в таком назначении, как нести, — ни разу не употребляемый. М-да...

А Леночка стояла рядом и, как верная супруга по парте, готова была сделать все, что велит ей Вовка. Внутри нее теперь жило только одно желание: поскорее бы все это кончилось: подняли бы ее и отнесли куда-нибудь, желательно поближе к туалету.

— На старт! — поднял посох Дед Мороз.

— Внимание! — предупредила Снегурка.

И хором скомандовали: — Марш!

Юрка, как автопогрузчик, подставил «граблями» руки под Юльку и обреченно окаменел.

Вика располагалась на Тольке и никак не могла расположиться. Ее руки то хватали его за спину аж до попы, то перепоясывали по горизонтали. Но ничего не получалось.

— Господи! Чё ж ты такой маленький?! — наконец не выдержала Вика. — Ухватиться не за что».

— Какой вырос, — хмуро шмыгнул носом Толька. — Давай еще пробовать. Залезай.

Витька подстремил руки и подмигнул Верке: «Иго-го! Чё стоишь — поехали!»

Верка сразу поняла, хохотнула и оседлала Витьку: «Но! лошадка быстроногая!»

Вовка тяжело, всем корпусом повернулся к Ленке.

— Ну, давай.

— На... — упавшим голосом сказала Ленка и осталась неподвижной.

— Чё — «на»?

— Бери.

Вовка похлопал глазами, нагнулся и подхватил Ленку. А она обхватила его одной рукой за шею, а вторую выставила чуть в сторону, как крылышко. И получилось все это у нее как-то само собой — ловко и естественно, как будто ее всю жизнь носили на руках мальчишки. А Вовке стало почему-то совсем не тяжело, напротив, даже легче, чем было без Ленки. Легко-легко, будто крылья за спиной выросли. Только сердечко стучало маленьким праздничным молоточком.

Нет, Вовка ничего не понимал. Он прямо стоял у «старта» и смотрел перед собой, совершенно не видя ни маленькую Снегурку на том конце спортивного зала, ни баскетбольный щит над ней, не слыша ерзаний оседлываемых соперников. В глазах у него было: «Вот так ни фига себе!..»

А Леночка затихла у него на руках, как пригрелась. Затихла и смотрела Вовке в глаза каким-то новым для нее взглядом. И никто-никто не сказал бы, что всего минуту назад она была «бледной поганочкой» — такими блестящими, счастливыми вдруг сделались ее глаза, и так легко, почти невесомо лежала ее рука на Вовкином плече.

...Юрка, с растерзанной где-то у правого уха бабочкой, весь пунцовый, мужественно доволоч хохочущую Юльку до финиша и первым свалил ее к ногам Снегурки.



Вторыми прибыли ноги Вики, которые, как таран, торчали вперед из-под Толькиных закукорок.

Следом за ними прискакала Верка на Тольке.

Последним был Вовка... Он шел, нет, не шел, а ступал по зашарканному полу спортзала и не дыша нес не Ленку, нет, — нес Ее; нес, как хрупкую статуэтку, ценнее которой нет ничего на свете. А она смотрела Вовке в глаза и была, казалось, не здесь, а где-то далеко-далеко — в самых первых девичьих мечтах, которые еще случайно слетают к девчачьей кровати по ночам. И вдруг эти сны стали явью.

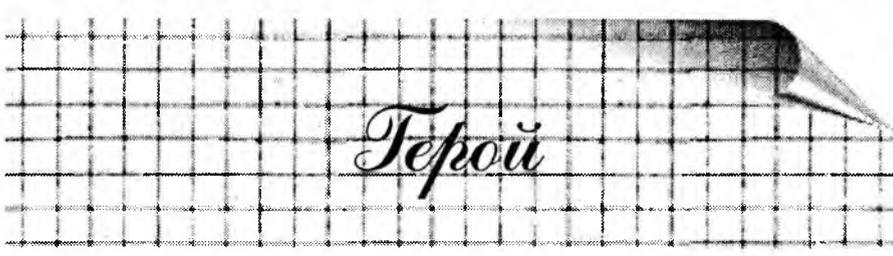
Вовка не спешил, напротив, он словно боялся, что все это может кончиться, и шаги его сами собой делались короче, плавнее.

Снегурка — Марь Пална — глядя на них, вдруг заморгала, и глаза ее заблестели то ли от лез, то ли... так полагалось блестеть глазам внучке Деда Мороза. Да и сам Дед — Юрий Семеныч — качнул головой, как-то глубоко-глубоко вздохнул и совсем не по роли заломил набекрень свою красную шапку.

И ребята, еще пунцовые от бега и азарта, вдруг разом затихли. А Юлька фыркнула: «Подумаешь...» и с неприязнью посмотрела на Юрку — уже без бабочки. И Верка вздохнула и щелкнула Тольку по носу: «Лошадь — ты и есть лошадь».

А когда Вовка медленно-медленно, бережно-бережно, как и полагалось по заданию, опустил Леночку на пол, наверное, свершилось чудо: ее глаза не погасли, а так и остались светиться счастьем. И это было так красиво.





Герой

«И тогда он встал под градом пуль и снарядов, высоко поднял знамя и шагнул навстречу врагам. И враги испугались мужества героя и побежали». Этими строками Анна Павловна закончила урок внеклассного чтения во втором «А», закрыла книгу и глазами юной пионерки обвела класс. Класс молчал.

— Ну, ребята, что вы можете сказать о подвиге этого мальчика? — спросила Анна Павловна.

Все дружно опустили глаза в тетради: одно дело слушать и видеть перед собой мальчишку со знаменем, а другое — что-то говорить по этому поводу. Чё говорить-то? Здорово! — и всё тут. Только Вовка тяжело вздохнул и нахмурился.

— Так, Вова, я вижу, что ты хочешь что-то сказать, — посмотрела на него Анна Павловна.

Вовка вылез из-за парты и, смотря куда-то под ноги учительнице, пробубнил:

— Да... Крутой пацан... А мы вот сидим и безударные гласные учим. А он и без гласных — вот так! И все увидели — герой!

...Ночью Вовке не спалось — думалось. «Так и жизнь пройдет — никто тебя не заметит. А так неинтересно, надо, чтобы заметили и сказали: «Герой!» М-да... В Чечню не сбежишь — денег на дорогу нет, а рядышком никакой войны. Сплошное безобразие. Можно, конечно, и без войны — ну, там утопающего спасти или девочку из-под машины вытащить, или на худой конец, как Лев Толстой про Муму. А еще лучше — мир спасти, как Шварц или Брюс Уиллис. Эх-х... — Вовка вздохнул там, в мыслях: — Плавать я и сам не умею, да и пока еще дожدهшься эту утопленницу из-под машины. Как Лев Толстой писать — тут борода нужна, в ней весь секрет, а у меня пока ничё не растет. А вот насчет спасти мир — надо подумать, это проще...»

Весь следующий день Вовка усиленно смотрел «Новости» по всем каналам и отслеживал угрозу миру. В Израиле взрывалось; В Чечне



стрелялось; Европу топило; по НТВ предупредили о конце света, но не уточнили когда; Америку догрызал СПИД, Африку — голод; Россия садилась на иглу: Японию покрывал очередной тайфун; таяли ледники, и в небе зияли озоновые дыры. Короче говоря, работы для Вовки было невпроворот, надо было только решить, с чего начать.

И он решил: с того, что роднее и ближе: с Бен Ладена. Тем более, что папа, с которым Вовка смотрел телевизор, сказал, глядя в экран: «Поди-ка поймай этого гада — все они на одно лицо. Может, сейчас сидит где-нибудь в соседнем кафе, пьет чай и к теракту готовится».

...На следующее утро Вовка пошел не в школу, а к соседнему кафе «Русалочка». Он оборудовал себе наблюдательный пункт напротив, через дорогу, на скамеечке. Для вида Вовка достал учебник «Чтение», положил его на колени и стал ждать.

До 11-00 Бен Ладан в кафе не появлялся, а входили и выходили ненужные Вовке соотечественники белой масти. В 12-05 появилось что-то похожее, с орлиным носом и черными глазами. Вовка вскочил со скамеечки и, чуть не сбивая машины, понесся на перехват. Он осторожно, как бы не при чем, приблизился к стойке, где потенциальный противник о чем-то говорил с барменом. Вовка прислушался.

— Слышь, Васильич, — услышал Вовка, — плесни-ка грамм 150, башка трещит.

«Нет, — огорченно подумал Вовка, — не он, у Бен Ладена башка не трещит, это от него трещит. Это наш, русский, хотя и не наш». И он вернулся на исходную позицию.

И вот после четырех часов мучительного наблюдения, когда осенний холодок уже начал пробирать Вовку, появился он, Бен Ладан. Конечно, он, кто же еще? По сторонам озирается, в руке сумка, большая, тяжелая — вон как руку оттягивает. И лицо точь-в-точь как у того, в телевизоре, даже страшнее. А в сумке взрывчатка. Точно! Надо спешить, скорее!

Вовка запихал «Чтение» в рюкзачок и рванул к ближайшему телефону-автомату. Набрал 02 и взволнованным гражданским голосом затараторил: «Дяденьки менты! Скорее — в нашем кафе Бен Ладан с бомбой! Точно он! Я запомнил с телевизора. По сторонам озирается и страшный такой! Нет, ничего я не вру и не балуюсь. Я Вовка из второго класса 101 школы. А тот — в кафе «Русалочка».

Скорее, дяденьки менты, я вас ждать буду. И возьмите с собой непременно Дукалуса и Каменскую».

С бьющимся сердечком-молоточком Вовка стоял на «стреме» и следил, чтобы Бен Ладен не удрал до приезда ментов. Ох, не приедут! Не поверят! Удерет!

Но жажда подвига, видимо, грызла не только Вовку — менты приехали. Вовка издали помахал им рукой — мол, здесь я, товарищи. Из машины вышли двое милиционеров — длинный и короткий — и неспешно подошли к Вовке.

— Ты звонил?

— Я!

— А почему не удрал?

— Как?! Тут же Бен Ладен!

Милиционеры переглянулись. Желание надрать Вовке уши как-то стерлось с их физиономий, а на его месте обосновалось что-то похожее на страх.

— Какой, к черту, Бен Ладен? Что ему тут делать?.. — неуверенно спросил короткий, кашлянул и кивнул на кафешку: — Здесь, говоришь?

Вовка закивал:

— Здесь, здесь! А можно, я с вами пойду? Я помогать буду. Я ничего не боюсь, вы не думайте. У вас пистолеты есть?

Милиционеры опять переглянулись. Жажды подвига на их лицах не было. Длинный сказал:

— Ну, показывай...

И они втроем вошли в кафе.

Бен Ладен сидел в углу и пил пиво. Сумка с бомбой стояла рядом. По движениям милиционеров было видно, что они очень любят жить и очень хотят, чтобы Вовка ошибся.

...Вовка ошибся.

Он стоял на улице у кафешки, а по его лицу текли слезы. Менты нависли над ним, но Вовка не замечал их и не боялся — не до того было.

— Чего реवेशь, сыщик? — спросил длинный.

Вовка глотал слезы и хлюпал носом.

— Не реви, — сказал короткий. В голосе его не было ни угрозы, ни раздражения, напротив, он был спокойным и, кажется, даже ласковым. — Не реви. Молодец — проявил бдительность. В какой ты, говоришь, школе учишься?



— В сто перво-ой, — сквозь хлюп ответил Вовка.

— Все — иди домой, — длинный положил свою большую руку на плечо Вовке, и милиционеры уехали.

...Назавтра, на втором уроке, двери 2-А отворились и на пороге возник сам Павел Семенович — директор школы. Ребята, как солдатики, повскакивали из-за парт и вытянулись в приветствии.

Пал Семеныч обвел класс торжественным, полным значения взором и спросил:

— Кто из вас Вовка, которого вчера не было на уроках?

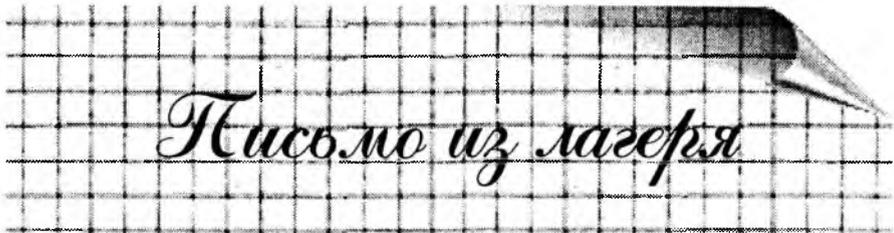
Все, включая Анну Павловну, с ужасом посмотрели на Вовку, а он опустил глаза и сделался вдвое меньше себя.

Пал Семеныч посадил ребят, подошел к Вовке и протянул ему свою большую директорскую руку:

— Ну, дружок, спасибо. От всех граждан России. Сейчас, ребята, звонили из милиции и просили поблагодарить ученика 2-А класса Вовку за бдительность.

Вовка поднял глаза и, еще не веря своему счастью, робко протянул Пал Семенычу свою ручонку. И все 25 однокашников с восхищением смотрели на него и видели одно и то же: как Вовка под градом пуль и снарядов поднимает знамя и смело спешит навстречу врагам.





Письмо из лагеря

Здравствуй, милая мамочка!

Передаю тебе весточку через тетю Иру (это мама Юрика — моего друга). Я писал это письмо ночью в пятницу перед родительской субботой, а потом тихонько передал его Юре, чтобы не заметила и не прочитала наша вожатая Нина. Кажется, она ничего не заметила и не заподозрила. Это очень хорошо.

У меня все даже очень неплохо. Помнишь, по телевизору мы смотрели передачу про армию? Теперь мне кажется, что и я в армии. У нас режим, или распорядок дня, и очень строгий. Надо суметь заснуть в 22-00 и проснуться в 7-30. Потом прибрать кровать, сделать зарядку, помыться и все такое разное, сдать вожатой комнату и в 8-15 быть на построении — там нас считают. Это интересно: тебя кричат, а ты должен откликнуться: «Здесь!» И лучше в строю не шевелиться, а то на тебя громко кричать будут и смотреть страшными глазами. Мы сначала шевелились, но потом на Петю Сидорова закричали за шевеление, и он описался. Теперь мы не шевелимся.

Когда мы идем на завтрак, то разучиваем отрядную песню. Песню надо разучивать громко. Я раньше не умел громко, а теперь меня научили: надо напрягать горло и выпучивать глаза — тогда получается.

Кормят нас хорошо, так хорошо, что вожатая Нина называет нас «проглотами» и «дармоедами» (это потому, что от нас пользы никакой, а только сплошное беспокойство).

После завтрака у нас «время полезных дел», после чего немного побаливает живот. Я все пытаюсь понять, почему эти дела называют «полезными», но пока не пойму, для кого от них польза.

Потом мы идем на «мероприятия»: это когда надо делать то, что делать совсем не хочется.

После обеда легче: можно поиграть. Но в футбол и волейбол я играю совсем плохо, поэтому мне приходится быть болельщиком



(это такое назначение): я сижу на лавочке и подбадриваю свою команду голосом и ладошками.

А когда бывает кросс, то у меня покалывает в правом боку, но бежать все равно нужно, иначе я подведу отряд и на меня снова будут кричать.

Купаемся мы в речке, в загончике из проволоки, — это чтобы никто не утонул, а если и утонул, то на виду у спасателей. В воду надо забегать по свистку и по свистку выбегать. Это даже интересно: купаешься и постоянно ждешь — когда же засвистят.

С 17 до 19 у нас «отрядная подготовка» — нас учат жить коллективом, «в одной семье». Я, видимо, плохой семьянин: во время обучения мне все время хочется или поспать, или погулять одному по лесу и послушать, как ветер в соснах шевелится. Но одному нельзя: мы всегда должны быть на виду и в коллективе.

После ужина у нас свободное время, только я не знаю, что с ним делать. Можно смотреть телевизор, но смотрят его все вместе, а вместе шумно и непонятно, о чем фильм. От корпуса отлучаться нельзя. Я хожу недалеко, подбираю шишки и кидаюсь ими в деревья. Или мы с Юриком играем в шашки. Но каждый день кидать шишки и играть в шашки не хочется, а хочется, чтобы рядом было какое-нибудь животное — кошка, собака или бабушка — с ними спокойно и уютно. Но животных в лагере нет — они могут переносить инфекцию. А вот комары есть. Я никогда не знал, что на свете может быть столько комаров. Они страшнее даже чем наш физрук Пал Палыч: он покричит-покричит и смолкнет, а эти — не смолкают.

А еще у нас очень веселый директор лагеря. Он постоянно улыбается, только непонятно чему. Он улыбается и говорит, что у нас здорово и весело. Ему лучше верить, а то Вера Питина как-то на общем построении вполголоса не поверила, так вожатая Нина вечером провела с ней разъяснительную беседу, и Вера сразу поверила. Теперь она тоже, как наш директор, постоянно улыбается — и в строю, и на мероприятиях, и на обеде. Я как-то спросил ее, чему она улыбается, так Вера почему-то побледнела и убежала от меня.

А еще у нас есть буфет, просто замечательный буфет. Там продают чипсы, колу и мороженое. Но туда лучше не ходить, особенно в свободное время: помнишь, мама, по телевизору про каких-то «дедов» рассказывали. Я тогда не понял, кто это. Сейчас понимаю.

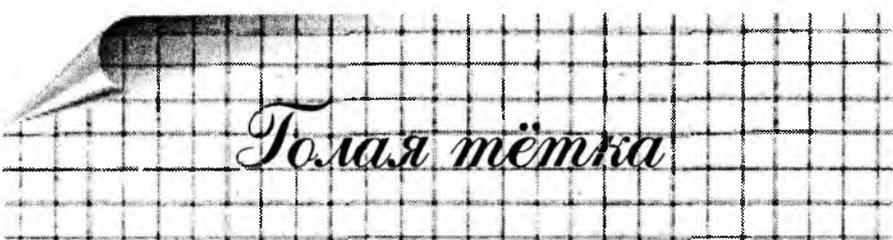
А еще я пытался танцевать на дискотеке, но у меня ничего не получилось. Там слишком громко и голова болит. Но вожатая Нина

говорит, что надо учиться танцевать вместе со всеми, что это весело. Я пытаюсь, я честно пытаюсь, только после этого ночью кошмары снятся: какое-то чудовище с тысячью головами и миллионом рук и ног, и еще огромной глоткой. Оно кричит — и я просыпаюсь.

Самый мой единственный друг — Юрик. Он тоже не умеет танцевать и задыхается на кроссе. Юрик взял с собой в лагерь календарик и каждый вечер прокалывает в нем дырочку на месте прожитого дня. Он считает, сколько осталось, и говорит, что маме надо от него отдохнуть, поэтому он здесь. Ты, мамочка, тоже отдыхай от меня. Ничего. Я потерплю, ведь я очень-очень тебя люблю.

Павлик





Голая тетка

Купили как-то Вовка и Лешка по жвачке, развернули один паке-тик — а там!.. Тетка... Голая! То есть вообще голая. Ну, ей Богу, голая. Да если бы просто без ничего, а то смотрит на них с картинки и будто хочет чего. Или просит. Или убеждает. Вот так живот с черной полоской внизу выставила, под грудь себя руками поддерживает и язычком по губам водит, будто стонет: — А-а-а...

Сели Вовка и Лешка на лавочку, которая первая попалась, и с ладошки на тетку смотрят. Сердечки постукивают, даже про жвачку забыли. Сидят, обомлели и молчат. И оторваться не могут — так она им в душу запала. И она на них глядит и, вроде, усмехается.

— Лешка, — говорит Вовка. — А ты бы на такой женился?

— Я бы... — протянул мечтательно Лешка. — Я бы сразу.

— А я бы — нет.

— А чё?

Вовка посуровел, но глаз от тетки не отвел:

— А ну их — у них только одно на уме.

— Это что же? — Лешка уважительно глянул на друга.

— Чё-чё, такая вот перед тобой крутится, а сама только и думает про твою зарплату.

— Да-а? — удивился Лешка. — А что она думает про мою зарплату?

— Ну... это... значит... — Вовка что-то мужественно вспоминал. — Значит, как она будет жить на твою зарплату. Вот.

— Слушай, а почему она должна жить на мою зарплату? — поинтересовался Лешка. — Зарплата-то моя...

— Ну... так полагается, — Вовка неуверенно пожал плечами.

— Нет, — не согласился Лешка. — Тогда бы не женился. По крайней мере на этой.

— А на ком бы женился?

— На Ленке Маликовой! — не раздумывая, выпалил Лешка.

Оба разом замолчали и разом же начали представлять Ленку Маликову из 2-А класса на картинке вместо тетки. Представлялось

трудно: ни вверху, ни внизу Ленка Маликова никак не влезала в теткинны габариты и не хотела снимать фартучек, юбочку и все остальное. Ну не хотела — и все тут! Лешка аж зажмурился от натуги, а Вовка напрягся так, что захотел в туалет. Но — не представлялась, Ленка Маликова раздеваться не хотела.

— Ф-фу! — расслабился Лешка. — Не получается.

— И у меня тоже, — кивнул Вовка. — Не хочет. И вообще, вредные эти девчонки, и зачем на них женятся? Им всегда хочется от тебя того, чего тебе ну ни сколечки не хочется. Вот я вчера не хотел бегать на переменке за Риткой, а она заставила: обозвала сопливочкой и язык слюнявый показала — пришлось бегать, ничего не поделаешь. А когда догнал, такой крик подняла, будто я ее уже пнул. — Вовка вздохнул: — Пришлось пирожок отдать, а то бы наказали.

Лешка понимающе вздохнул:

— Ага. Как это называется... попытка изнасилования.

— Вот-вот, — кивнул Вовка. — Его самого.

Они совсем по-другому посмотрели на тетку. Жениться на ней хотелось все меньше.

— А тебе, Лешка, какие больше нравятся: тоненькие или толстенные? — спросил Вовка.

— Мне-то?.. Ну, не знаю — Лешка почесал затылок и нахмурился: — Тоненькие — они злые, деручие и голосистые. Как Верка Сидорова. Когда на математике Толька ей случайно из трубки в ухо шариком попал, она так заверещала, что из соседнего класса училка прибежала. Так вот, заверещала и на парту бухнулась. Да как закричит, что она теперь калека и пусть Толька на ней принудительно сейчас же женится. Если бы не врачаха, Толька, пожалуй, и согласился бы. Я его понимаю.

— А толстенные?

— Толстенные?.. Они скучные и медленные. И плачут, даже если их случайно толкнешь. Да плачут-то так, будто ты злодей и щенка обижаешь. После такого плача так тяжело в груди делается, будто и впрямь злодей. Да... Они, толстенные, жалостью берут. Нет, не женился бы...

Лешка глянул на тетку и никак не мог понять, что бы она сделала, если бы ей из трубочки — в ухо: завизжала или заплакала. Хотелось попробовать, а вот жениться уже не хотелось. И Вовкина рука вроде как обмякла, и тетка лежала на ладошке, как перед разводом.



— А еще они вообразалки и завистницы, — сказал Вовка. — Катька с Машкой ух! какие подруги были, пока Машка в новом свитерочке не заявила. И так перед Катькой, и эдак: ах, мне папа купил! ах, мне он и это купит, и то купит, он обещал. А Катька возьми и ляпни: «Это он потому тебе покупает, что извиняется за то, что вас с мамой бросил». Теперь по разным партам сидят и пакостят друг дружке: то Катька Машку «разведенкой» обзовет, то Машка Катькиному Левочке перед всем классом галстучек поправляет. М-да... Интересно, а эта замужем? — И оба взгляделись в тетку, ища на ней следы замужества. Наконец Вовка сказал:

— А вот мой папа дяде Васе на кухне по пьянке говорил, что они ненасытные.

— Да? — удивился Леша. — А у меня мама совсем мало кушает, всё больше на папу за столом глядит да сметаны ему в борщ подливает. Странно, наши девчонки в школе на обеде тоже суп и второе недоедают.

— А еще папа говорил, что они внутри пустые, бессовестные и языкастые.

— Это да. Вот вчера Верка Южлева у меня домашку сдула, а когда Нина Петровна догадалась об этом, то Верка завизжала, что это я у нее сдул. И даже заплакала, будто от обиды. Так честно заплакала, что я сам чуть не поверил. А потом мне на перемене язык показала и дразнилась: «Получил, получил, пару получил»... Бессовестная... М-да... А эта, интересно, в школе училась?

И мальчишки снова посмотрели на тетку, которая все также призывно и нагло пялилась на них.

— Нет, — сказал Вовка. — Не буду я жениться. Совсем. Я как-нибудь так.

— Я тоже, — грустно поддакнул Лешка, скатал из тетки шарик и стрекнул его подальше.

Они развернули вторую жвачку и не, глядя, бросили вкладыш под скамейку. Потом встали и понесли свою тяжелую мужскую тоску-печаль по тротуару. А навстречу им шли тетки — детсадовского, школьного, послешкольного и пенсионного возрастов. Шли, готовые завизжать, укусить, ненасытиться, отобрать. И Лешке с Вовкой казалось, что все они смотрят только на них и делают язычком по губам: — а-а-а...





Депутат

Смотрели как-то Вовка с папой телевизор — передачу про депутатов. Смотрели-смотрели, и вдруг Вовка спрашивает:

— Пап, а пап, а депутаты много получают?

— Кто — как: один много, другой еще больше, а третий — убил бы как много.

— А-а... поэтому они (Вовка кивнул на экран) и болтаются, что хорошо жить хотят?

— Во-первых, не «болтаются», а баллотируются; а во-вторых, они и так уже хорошо живут. А в-третьих, они нужны, чтобы приносить какую-то государственную пользу.

— Ага, — кивнул Вовка. — А куда они эту пользу приносят?

— Ну, как... подумают-подумают, запишут свое думанье и начинают его кричать и доказывать, что оно самое правильное и полезное.

— Кому доказывать?

— А всем, кто вокруг столпится.

— И что же, — засомневался Вовка, — за это еще и деньги платят?

— Ага, — усмехнулся папа. — Еще какие.

— А кому больше верят: тем, кто громче кричит?

— Нет. Верят больше тоненьким. Знаешь, я правило вывел: все депутаты делятся на три группы: тоненькие, упитанные и толстенькие. Кого из ребят на заводе ни спрошу — все тоненьким верят. А бабы — те и подавно. Тоненькие жалче — пусть поддепутатствуют, хоть откормятся. А толстенькие — хватит им уже, им это даже опасно — еще помрут от пережора.

— А я? — Вовка пощупал свои кости. — Я — тоненький?

— Ты?! — папа от удивления поставил бутылку пива на стол. — Ты не просто тоненький, ты — кошечка. Тебя не то что в депутаты — сразу в президенты бы выбрали.

— В президенты?.. Страшно... А вот депутатом... Пап, а что еще нужно, чтобы депутатом стать?



— Критиковать.

— Это как? — не понял Вовка.

— Ну, как бы этот тебе объяснить... Короче, недовольным быть всем, что вокруг, и громко об этом говорить, а еще лучше — кричать. То — не так, то не эдак. Вот все тебя и заметят и скажут, что ты пользу приносить хочешь: заменять плохое хорошим. Это называется предвыборная программа.

— А что это... крики... критиковать нужно? — спросил с пристальным интересом Вовка.

— Да что угодно, а больше — то, что мешает жить народу легко и свободно. Тебе вот что мешает?

— Мне-то?.. Школа мешает. Витька Хомяков из соседнего подъезда очень мешает.

— Ну вот и... так их — в хвост и в гриву. Тогда все заметят и тебя выберут. Ладно (он допил пиво) — я спать пошел. Спокойной ночи... депутат.

И папа ушел спать. А вот Вовке совсем не спалось — думалось.

«А если и мне попробовать. Как говорит бабушка: «Попытка — не пытка». Самое большое, что могу получить — по шее. А если выиграю — богатым сделаюсь. Папа шутит: «Благосостояние нашей семьи повысилось: мы были нищими — стали бедными», а я возьму — и семье помогу, и себе, конечно, тоже. И еще прославлюсь, как этот... как его... ну, что на Ленина похож, в кепке, только живой пока. И обо мне будут говорить и слушать меня. Здорово! Так, с чего начнем? Надо подумать, кого для народа можно покри... порки... как его? А начнем-ка со школы».

Вовка взял ручку, выдрал из тетрадки листок и начал писать свою предвыборную программу:

1. Какой козел придумал писать после Ж и Ш — И? Попробуйте сказать Ж-И-ВОТ, НОЖ-И, ДРОЖ-И — глупость какая-то получится. Я русский человек и не могу говорить как какой-то хохол — слюнявя наши могучие шипящие согласные. Долой это бесполезное и жестокое правило, из-за которого я и мои друзья получают двойки. И ЧА-ЩА — тоже долой. Хватит издеваться над русской речью и русскими школьниками!

Вовка перечитал. Получилось убедительно и даже патриотично. Вовке как-то сразу понравилось критиковать, и он продолжил:

2. Арифметику — тоже долой! Зачем считать «столбиком», если магазины завалены дешевыми калькуляторами. За окном 21 век, а

мы... — стыдно! Не будет арифметики — и двоек тоже не будет, и у всех будет хорошее настроение — а это для ребенка самое главное.

3. Физкультуру и школьный буфет можно оставить, а физрука Пал Палыча выгнать на стройку или на завод — мужик он крупный и сильный, а занимается ерундой: стоит, ничего не делает и орет на нас. Ему бы мешки ворочать, а он — свисток в зубы, нас — в одну колонну и — по кругу, по кругу! Как в тюрьге. Да здравствует свобода! Долой физрука Пал Палыча! Дайте нам мяч и футбольное поле — мы сами разберемся.

Щечки Вовкины порозовели, глазенки заблестели — он начал понимать тайный смысл предвыборной кампании.

4. Говорят, в нашей стране мало денег. А если вообще убрать все школы? Сколько полезного народа освободится! Учителей — переучить (они согласятся): пусть стоят у станков, продают еду или ботинки, работают кондукторами в автобусах. Им понравится, и стране не нужно будет им платить. Это ведь сколько денег сэкономить можно! Да мы сразу же не то что Америку — Японию догоним. И дети будут счастливы — что может быть лучше на свете, чем радостные детские лица? Долой школы!

5. И Витьку Хомякова тоже долой! Собраться всем двором, и пусть каждый, кого он обидел, даст ему по шее или ниже — только один раз даст. Но от души. У нас хорошие врачи — он поправится, но больше драться не будет. Ребята, когда мы вместе — мы сила. Бей Витек Хомяковых — наглецов и подонков! Очистим от них наш двор для лучшей жизни!

6. И вообще, долой всех, кто нам мешает (Вовка входил в раж, ручка нервно и быстро спешила по листку). Долой учителей, кондукторов, продавцов, дворников — пусть жизнь станет свободной и всем нам будет легко и радостно.

Уф-ф... Он устало откинулся на стуле: предвыборная компания измотала его силы. «Хм... подумал Вовка. — А ведь сам Путин тоже когда-то учился в школе... Может быть и я... А? Когда-нибудь?... Хм...» Мечтательная улыбка наполнила на Вовкину физиономию.

Он переписал набело свои предвыборные каракули, поискал в карманах папиного пиджака спонсорскую помощь, чтобы завтра наделать ксерокопий, и пошел спать, чувствуя себя вполне государственным человеком.

И приснился ему сон: он, Вовка, на общешкольном собрании — в красивом черном костюмчике, с галстучком, с зачесанными набок

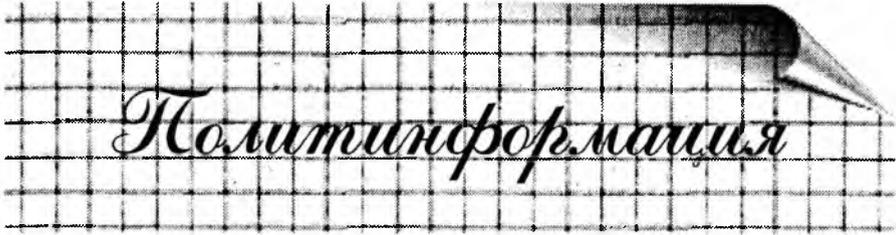


волосами — читает свою программу. В первых рядах — учителя и сам директор Дим Димыч. А народ — за ними. Вовка читает и видит, как все больше и больше загораются глаза ребят и тускнеют — у учителей. «Ой, какой тошенький... — Вовка слышит голосок Тани Булкиной. — Мне его, девочки, так жалко, ну так жалко. Я — за него». — «Ага, и я — за него, на хрен мне эта школа, дело делать пора, бабки зарабатывать!» — раздается бритый бас Вальки Шульмана из 10-А. И вслед за ним — «И я...», «И я...» И вот уже зал взрывается аплодисментами, и отличница Юля Яковлева идет к Вовке на сцену и вешает ему на грудь табличку «Наш выбор!»

...Вечером Вовка пришел домой унылый и помятый. В дневнике через всю страницу раскрасовилось директорское послание: «Родителей — в школу!», а под глазом разливался синяк — депутатский ответ Витьки Хомякова.

«Нет, — вздохнул Вовка. — Не в славе счастье. Пусть другие болтаются... или как там его. Критиковать — дело тонкое, надо учиться и учиться. Так что пока ЖИ-ШИ пиши с буквой И».





Политинформация

— Ребята! — Анна Викторовна обвела 6-А взглядом, полным значительности. — У нас сегодня политинформация. В стране набирает силу предвыборная кампания, и вы, как будущие граждане, обязаны знать, что это такое. Кто может ответить: что такое предвыборная кампания? Так, Петя Сидоров, пожалуйста.

Сидоров поднялся из-за парты, огладил костюмчик и ответил:

— Предвыборная кампания — это когда министры, губернаторы и те, кто хотят сесть на их место, широко улыбаются с телевизора и обещают все исправить.

— Так, неплохо. А ты, Витя?

— Это когда депутаты идут в народ, Ну, там, дурачатся с ним вместе, танцы танцуют, водку пьют или в футбол гоняют. Это чтобы их народ за своих принял.

— Интересно. А еще? Таня, пожалуйста.

— Это когда листовки пачками в почтовые ящики понатыканы и смазливые девицы по квартирам шастают — подписи клячат.

— Ну, ладно. Кое-что из особенностей предвыборной борьбы вам известно. А вот за какие партии, к примеру, проголосовали бы вы, если бы вам было 18 лет?

— Я — за Яблоко! В нем витаминов много и у главного ихнего, ну как его... садовода, короче, — галстук у него красивый, — быстро отреагировал Петя Спешушкин. — И говорит этот главный так основательно, будто на самом деле знает, как эти витамины выращивать.

— Червей в твоём яблоке больше, чем витаминов, — буркнул стриженный под «ноль» Борька Булкин. — Яблочки. Садоводы-любители, гниль интеллигентская, блин, твою... Я — за ЛДПР, за Жирика! Он — наш! Даже мой батя так ругаться не умеет, как он. А видели, какой у них девиз? «За русских и бедных»! В натуре! — И Борька нехорошо скосил глаза в сторону Фаида Ярохмедова. — И еще! Я не разу не был в Индийском океане. А хочется.



— А я вот за Хакамаду, — преданно вздохнула Ирочка Ермолова. — Ах, какая женщина, ах какая!.. Такая вся тоненькая, умная, молодая — и уже при деньгах. Я — за нее!

— Ха, конечно, с Чубом свяжешься — будешь при бабках. — хохотнул Игорь Савицкий. — Они с ним вместе с СПСе тусуются. А у нас вот в доме свет недавно за неуплату отключали: ни телевизор тебе посмотреть, ни радио послушать. А у холодильника, как у нашей кошки, что ни неделя — течка от такого светопредставления.. Ильич, который Ленин, — тот лампочку придумал, чтобы горела. А Чуб твой рыжий — лампочку, чтобы не горела. Нет, я за коммунистов!

— Да-а... — язвительно пропела Вера Веточкина, — а моя бабушка рассказывала, что при коммунистах колбасы не было, и компьютеров тоже, и одни ботинки носили по пять лет. А все что было, — это танки и пушки.

— Тьфу, — усмехнулся Игорь, — у меня и сейчас колбасы нет, а компьютера и подавно. А ботинки — вона, смотри (он выставил ногу в проход между партами) — мы эти ботинки брат брату уже в аккурат пять лет передаем. И сносу нет. А танки и пушки — это хорошо. Я тогда еще больше за них.

— А я толстый, — печально вздохнул Славик Нестеров. — Мне овощи и фрукты показаны, даже прописаны. А они дорогие. Придется голосовать за аграриев, может чего подешевле нарастят.

— Ну и дурак! — хохотнул Саша Синицын. — Тебе двигаться больше надо. Голосуй за Единую Россию. Смотри, как они в футбол гоняют. Вот выберешь их — сразу похудеешь.

— А мне по фигу, — Пашка Вихарев сплюнул на пол. — Я вообще голосовать не пойду. У меня батяня 12 лет голосует, а все в тех же штанах — и зимой и летом.

— Эдик Франковский, а ты?

— Я? Я — за Буша.

— Как за Буша? — растерялась Анна Викторовна. — Нельзя за Буша — не наш он, не русский.

— Вот и глупо, что нельзя. Вот как проголосуем все за него — сами Америкой станем, богатыми будет. Как долларами расплачиваться — так можно, а голосовать нельзя? Где логика, Анна Викторовна?! За наших-то — голосуй не голосуй, только глотку надорвешь. Нет — я за Буша!

— Фиг ли твой Буш? — протянул Николай Романов. — Я вот — за царя! Царь, он как грохнет кулаком по столу: мочить в сорти-

ре — и все тут! И все разом кинутся! Мочить значит мочить — и никаких там тебе размышлений.

— Ваня, — Анна Викторовна посмотрела на Ваню Лебеда, тихо сидящего в уголке. — А ты — за кого?

— Я-то? А мне все равно, кто выиграет. Мой пана — генерал, у него 200 танков и десять тысяч солдат. Они и Борьке, и Саше, и Славе, и даже Вере всегда пригодятся, если они победят. Лишь бы дачу дали достроить, а то никак пятый этаж не можем закончить. Ну, а если не дадут... 200 танков — это 200 танков... — и Ваня прицельно обвел класс взглядом.

— Анна Викторовна, а вы за кого? — спросила Вера.

— Я?.. Я — за правду.

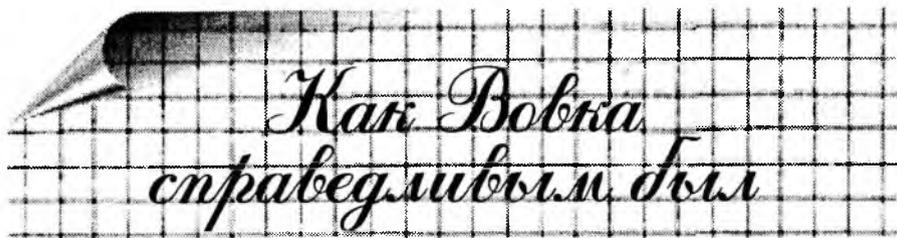
...Ржали долго, минут пять, пока не уписался Славик.

— Анна Викторовна, где же вы такую партию видели? — спросил, еще задыхаясь от смеха Вовочка, — Может, вам в монастырь бы, а?..

Анна Викторовна кивнула:

— Может.





Как Вовка справедливо м. был

Смотрел как-то Вовка с папой телевизор, а там дикторша такая, со сладкой медовой фамилией, с удовольствием про катастрофы рассказывает и выводы делает: «Жизнь россиянина, — говорит, — стоит по государственным расценкам не более пятидесяти тысяч рублей».

— Пап! — удивился Вовка. — Это что значит: и меня, и тебя, и бабушку за эти 50 тыщ купить можно и с собой увести.

— На фиг мы с тобой, а тем более бабушка с ее геморроем кому-нибудь нужны, сынок. — Папа усмехнулся, налил рюмашку, опрокинул ее в себя, матюгнулся на экран и добавил: — Вот если, к примеру, ты летишь на самолете, а ему почему-то лететь надоело, — тогда за то, что от тебя осталось, может быть, эти 50 тыщ и кинут. И то если хорошо попросить. Или — живешь-поживаешь ты в своей «хрущевке», а ей, старухе, стоять уже немоготу, и она, стало быть, со всей своей пятиэтажной высоты тебе на голову х... — падает, короче говоря. Тогда тоже, может быть, дадут. Или плыл ты, плыл на подводной лодке, а она ка-ак!..

— Папа, а если не в лодке, а так — шел по улице, а тебе на башку — кирпич?

— Ну, тогда с кирпича требовать и будешь.

— Несправедливо... — протянул Вовка.

— А как же, — поддакнул батька.

...Шли как-то Вовка с мамой по улице. Холодно. Ветер по лицу будто мокрой тряпкой хлещет, домой бы скорее — чай горячий пить. И видит Вовка: на этой мерзлюке у ступенек магазина девчонка в вязаной шапчонке стоит и газетами торгует. Вся скукожилась, нос красный, в глазах то ли слезинки, то ли льдинки блестят. Но стоит, только еле слышно: «Свежий «Спутник»... Свежий «Спутник»...»

Вовка потянул маму за рукав:

— Слышь, мам, неужели ей не холодно — вон вся как ледышка?

Мама только усмехнулась:

— Здесь ей холодно, чтобы дома не было голодно. Она, сынок, газетами этими семью кормит.

И только начал было Вовка представлять, как такая кормежка происходит, как вдруг видит — «мерс» крутой рядом с магазином останавливается, а оттуда вылезает фря этакая — шубка норковая до попки, на голове шапка-мохнатка с козырьком и теплыми наушниками, а под шапкой глазища-наглища. Вылезла, дверцу хлопнула, кнопочкой пикнула — и к магазину.

Вовка загляделся:

— Мам, а мам, а зачем ей такая шапка — она же в машине, там тепло. Такую бы шапку вот той девчонке.

Мама снова усмехнулась:

— Пошли домой, путаник. Той девчонке мильон газет продать надо, чтобы эту шапку купить. А у этой — и шапка, и машина, и все остальное — за просто так.

И Вовка, как тогда, у телевизора, протянул:

— Несправедливо...

...Гулял как-то Вовка с бабушкой во дворе и видит: шавка ржавенькая стоит на снегу и лапами по очереди перебирает-греется, и поскуливает тихонько. А невдалеке пуделек, весь в завитушках и с тапочками-теплушками на лапках, хозяйку прогуливает. И как-то разом в Вовкиной головенке все в один ряд выстроилось: и русский утопленник из «хрущевки» за 50 тысяч — и девчонка с газетами — и псина эта безродная. И вдруг как заорет Вовка: «Это несправедливо! Несправедливо!»

— Господи! — Бабушка от испуга чуть на геморрой свой не села. — Вовочка, что с тобой?!»

А он зубки сжал, слезы по щекам текут, а рёва — ни звука, весь вглубь ушел рев-то.

И решил Вовка, начиная с завтрашнего дня, справедливым быть.

...На первом уроке Вовка поднял руку:

— Татьяна Петровна, вот вы ставите Павлову одни «пятерки». Это потому что его папа вас на машине из школы домой подбрасывает? А у Петькиного папы нет машины, что же теперь ему до конца жизни одни «тройки» получать? Несправедливо.

Татьяна Петровна, пунцовая аж до шеи, взвизгнула: «Во-он!», да таким голосом, что все 25 второклашек повскакивали с мест в порыве немедленно бежать из класса.



На втором уроке Вовка снова поднял руку и сообщил, что несправедливо ставить «пятерку» Славке Воронову — он всю контрольную с подпарточного учебника сдул. «Я сам видел!» — почти крикнул Вовка.

Славкина «пятерка» осталась целехонькой, чего нельзя было сказать после перемены о Вовке: он сидел потрепанный, но непокоренный.

На третьей, «обеденной» перемене в столовой Вовка взял свою тарелку и, бледный, но решительный, подошел к буфетной стойке. Он поставил тарелку перед кухаркой и срывающимся голосом сказал: «Это не курица — это кости от курицы. Дайте мне настоящую, с мясом». — «Что? — кухарка поставила руки в боки и пронзила его заплывшими жирком глазками-щелочками: — А ну, дуй отсюда, недокормыш, а то и на тебе мяса не будет. И больше не показывайся. Не нравится — дома жри!

Когда на четвертом уроке Вовка снова поднял руку, весь класс в предвкушении замер, а Татьяна Петровна заранее начала краснеть.

— Что тебе, Сидоров?

— Татьяна Петровна, можно выйти?

— Ф-фу, вздохнула училка. — Выйди-выйди, и если хочешь, до конца урока.

Вовка вышел. Но Татьяна Петровна отпустила его зря: еще на перемене Вовка обнаружил вопиющую несправедливость и решил немедленно ее исправить.

Несправедливость эта была «Расписанием уроков», где почему-то у одних классов было по четыре, а у других по пять, шесть, а то и больше занятий. Вовка достал ручку и старательно зачеркнул все лишние после четвертого, уравнив в правах всех мучеников школы.

К началу пятого урока вся школа стояла на ушах. Счастливый рев: «Отменили!» волной пронесся по коридорам, классам, залам и курилкам и вмиг смыл всякие педагогические плотины. Школа выплеснулась на улицу и быстро растворилась по свободе.

...Вовка стоял в центре плотного полукруга завучей, классных руководителей и просто учителей, а перед ним в кресле восседал сам Петр Семенович — директор. И грянула буря! Она ревела, швыряла маленький кораблик с волны на волну, хлестала ливнем и совсем не слышала писка: «Это несправедливо!» Она гремела: «Злостное хулиганство!» Она выла: «Исключить! Родителей!» и, наконец, вышвырнула Вовку вместе с дневником, исписанным-исполосованным красной пастой, на улицу.



...Вовка подошел к своему подъезду. У дверей, переминаясь с лапы на лапу, мерзла шавка, а поодаль в теплых тапочках гулял пуделек. По дороге величаво прокатил черный «мерс», а где-то, далеко и близко, совершенно бесплатно гибли люди. И этим никто не интересовался.

«Не хочу быть справедливым! Быть справедливым — несправедливо!» — само собой сложилось в Вовкиной голове. Он открыл дверь и, отпнув мерзлую псину в сторону, вошел в подъезд.





Пятница, тринадцатое

Вовка вошел в класс тихий-претихий, и лицо у него было такое, будто он только что вместе с бабушкой молился в церкви — строгое и тревожное. Он подождал, пока Петька-Шварценеггер не расскажет всему классу и Леночке, как он вчера во-от так! — этому — в лоб! тому — в глаз, еще вон тому — подсечка и — джись! — все лежат! Подождал, потом медленно, почти ощупывая каждый шаг, прошел к своей парте, ни на кого не глядя, осторожно снял рюкзачок, нагнулся и стал шарить рукой по столу, щупать болты, зажимы на крышке. Взял стул, потряс его, покачал головой и поставил на место. Потом, как в замедленной съемке, вытащил из рюкзачка всё школьное, сел, положив руки перед собой, и замер, глядя на доску неподвижным взглядом.

Класс глядел на него с нехорошим предчувствием. Юрка, у которого еще не прошел фингал, полученный от Вовки, и Юлька, которой вчера Вовка незаметно подложил в суп тритона, переглянулись. Люся и Женя прижались друг к другу. Верка — соседка Вовки по парте — ткнула его пальцем в плечо и спросила:

— Ты чё? Заболел, да?

Вовка молчал, не обратив никакого внимания на тычок и так же безжизненно смотря перед собой. В классе повисла жуткая тишина. Верка выгнулась к лицу Вовки и заглянула в глаза:

— Вов, а Вов, тебе плохо? Может, врача, а?

Он молча встретил ее взгляд и глухим голосом, как в фильме ужасов, произнес:

— А ты знаешь, какой сегодня день?

Верка непонимающе заморгала:

— День? Кажись, пятница.

— А число? — еще глуше спросил Вовка.

— Число? Вроде, тринадцатое... Ах! — обмерла Верка.

— Вот тебе и «ах», — сказал Вовка и, отведя от нее глаз, снова уставился в доску.



— А-а, ерунда все это, — протянул Славка. — Суеверие. Ну и что, что пятница, ну и что, что тринадцатое? Я не верю. Глупости все это. — Он уселся на парту напротив учительского стола и нарочно беспечно развалил по столу учебники.

Но тревога поползла по классу. Вот она заползла в пиджачок Петьки, и он почувствовал, что потеет; вот юркнула в трусики Машеньки, и ей срочно захотелось в туалет; вот постучалась в тетрадь Юльки-зубрилки, и та начала нервно перепроверять домашнюю работу по арифметике; вот забралась в кошелек Тольки-жмота, и он засунул его во внутренний карман и застегнул карман на пуговку. Весь 1-А замер. Все отделились друг от друга, стали ощупывать стулья, парты, проверять содержимое портфелей, как будто готовились к отражению атаки невидимого врага. И стало тихо. Совсем тихо.

Анна Павловна подошла к классу и сразу почуяла недоброе: из-за дверей не доносилось ни звука. Она вошла в класс и недоброе материализовалось в виде двадцати маленьких сфинксиков, застывших за партами. Вот сфинксики медленно выползли из-за парт и молча вытянулись по стойке «смирно», не издавая ни звука. Анна Павловна почувствовала, что ей становится страшно. Она обвела класс взглядом и неуверенно поздоровалась: «Здравствуйте, ребята. Садитесь».

Сели. И замерли. В той же позе.

— Да что с вами сегодня?! Что вы такие неживые? Случилось что-нибудь? — взорвалась Анна Павловна. Я тебя спрашиваю, Вера! Почему у тебя лицо, будто ты швабру проглотила? А ты, Вова? Тебя что, загипнотизировали? — учительница взволновалась не на шутку.

Вовка потусторонними, невидящими глазами глянул на нее и протянул: — Пятница. Тринадцатое.

Анна Павловна замерла и... рассмеялась:

— Господи, я-то уж думала!

Она села за учительский стол, но стул под ней вдруг подломился, и Анна Павловна ухнула под стол вместе с журналом, успев, однако, свободной рукой спасительно ухватиться за край шторы. Карниз, на котором висела штора, был повешен еще во времена, когда в этом классе училась Вовкина бабушка. Почуввав вес Анны Павловны, он решил, что пора, и, сорвавшись с петель, ухнул следом за ней. Один его конец пришелся по большой вазе с хризантемами, другой — по башке Славки, а сами шторы похоронно накрыли и Анну Павловну, и первые две парты.



Из-под штор неслись призывные визги о помощи и видно было нервическое шевеление, но никто из оставшихся 16 сфинксиков не решался идти на помощь: в воздухе висело: «Пятница, 13». От напряжения Катя Синичкина стала сползать со стула в тихий обморок. Люся и Женя, не сговариваясь, хором описались, но боялись встать и бежать в туалет: пятница, 13! Петька от переживаний стал басом икать. От Юрки запахло. Соседка сползавшей Синичкиной Риточка мужественно попыталась удержать подругу от окончательного падения, вскочила со стула и схватила ее под мышки. Но лужица от Люси и Жени подтекла ей под ноги, и Рита вместе с Синичкиной и ее обмороком поскользнулась на парту спереди, где цепенели Владик и Жорик. Не ожидая нападения сзади, они заорали так, что Люся и Женя описались повторно, а в соседнем классе прервался урок.

Анна Павловна выпуталась из шторы первой и с мокрой хризантемой в растрепанной прическе и большим мокрым пятном на платье стала выпутывать первые две парты.

А Вовка и Верка переглянулись, кивнули друг другу и протянули: «Пятница. Тринадцатое. Это только первый урок...»





Террорист

Летние каникулы, как ясно солнышко, закатились за горизонт, бросая из-за него свои последние прощальные лучи.

Вовка сидел за столом, делал уроки и думал: «Сиди вот и учи эти бездарные гласные. И деление столбиком учи, будто на калькуляторе посчитать нельзя. И вообще, какое мне дело до того, что три тысячи лет назад какой-то Геракл задушил какого-то льва, Шварценеггер чертов. Не хочу! Хочу отдыхать! А тут еще эта контрольная по русскому 11 сентября».

И тут его осенило. Недавно Вовка вместе с папой смотрел по телевизору передачу, в которой рассказывали о взрывах в Америке; как самолеты насквозь протыкали небоскребы, и те страшно рушились. А 11 сентября как раз год — година этого безобразия. А еще Вовка смотрел, как арестованный черный дядька рассказывал о порошке, которым взрывали дома в Москве.

«Все! — сжав зубы, решил Вовка. — Не быть контрольной!».

Вечером он взял целлофановый пакет и на ближайшей стройке насыпал в него цемента. Дома перемешал цемент с сахарным песком и добавил немного порошка какао «Несквик». Смесь приняла зловещий серо-коричневый цвет. Потом достал сломанные электронные часы-будильник, отвел от них проволочку и поместил все это в порошок.

Наутро Вовка заявился в школу рано, пробрался в чуланчик на первом этаже, где хранились лопаты, ведра и другая хозяйственная чепуха, и аккуратно пристроил пакет на видном месте.

Первый урок прошел безоблачно. Но на второй перемене Вовка, с тревожным, гражданским выражением лица, подошел к классной руководительнице и сказал: «Марь Пална, мы тут с ребятами в прятки играли. Я забрался с чуланчик, что под лестницей. А там — пакет. Я посмотрел для интереса. А в нем — порошок какой-то и вроде как часы. Мне даже показалось, что тикает...»

Марь Пална, смотревшая те же передачи, сразу похолодела и мелкой трусцой побежала к директору. Директор, выслушав ее, че-

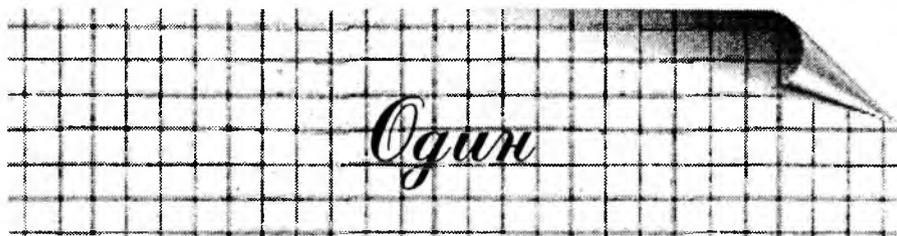


рез три ступеньки спустился в чулан и убедился — точно, пакет на месте. Чуть приоткрыв его, он увидел часы и тоже вроде услышал, как они тикают. Дрожащими руками он набрал 02 и после этого объявил всеобщую школьную эвакуацию.

Прибывшие в школу саперы, от греха подальше, не стали выяснять химический состав порошка и на месте производить разминирование, а, взяв пакет, осторожно свезли его на полигон и там рванули. Взрыв показался убедительным, и в отчет вошло: «Разминирование зарядного устройства фугасного типа». Это вполне устраивало всех: и отчетность, и желание остаться в живых, и школу, и... Вовку. Было заведено уголовное дело о терроризме, а сам Вовка, награжденный Почетной грамотой ФСБ «За бдительность» стал на целую неделю школьно-национальным героем.

За контрольную по русскому языку, которая все равно состоялась завтра, Марь Ванна не решилась вклеить герою «пару», а самолично исправила синей ручкой все его ошибки. И Вовка понял, что страх творит чудеса, им нужно только уметь пользоваться. «Какая там у нас следующая контрольная?»





Как-то вечером, совершенно случайно, Вовка понял, что он ОДИН.

Нет-нет, и мама говорила в соседней комнате по телефону с тетей Верой; и папа лежал на диване и смотрел телевизор, в котором громко и непонятно спорили какие-то умные дяденьки; и бабушка шевелилась на кухне; и кот Ларик на подоконнике жмурился в подслеповатое весеннее окошко — все свои были рядом. Как вчера. Как неделю назад. Как год. И Вовка тоже был с ними: сидел на ковре в детской и расставлял в три атакующие шеренги солдатиков. И ничего такого не произошло: не грохнуло, не сверкнуло — все как всегда. Но теперь — вдруг! — Вовка стал ОДИН, между ним и всеми остальными то ли пробежала трещинка, то ли выросла стена — он не понимал, просто мама, папа, бабушка — все люди отделились, сделались чужими — НЕ ЕГО, Вовки.

Странно. Только что, вот только что мама была, как обычно, — мама. А теперь она?.. Кто теперь она? Вовка прислушался к ее голосу, стараясь вернуть маму обратно, и даже с силой произнес внутри себя: «Мама, моя мама!» Но теперь это было просто слово, из него что-то исчезло, что-то самое главное.

Вовка резко вскочил с ковра, отчего солдатикки сбились со строя и упали один на другого, — вскочил и поспешил на кухню — проверить: бабушка теперь, как раньше, — бабушка или тоже только слово.

— Тебе чего? — бабушка смотрела на Вовку, продолжая шевелить руками. С картофелины, которую она чистила, свисала длинная кожура и медленно, будто сама собой, тянулась к мусорному ведру. — Погоди — еще не готово. Иди поиграй.

В кухне пахло жареными котлетами и еще чем-то вкусным. Но бабушки там не было. Точнее, нет — она была, но уже не такая, как утром, как полчаса назад. Она была отдельно от Вовки. Или он от нее?..

Вовкам запутался, и ему стало страшно. Он не хочет так! Пусть лучше всё будет, как только что было: он играет в солдатиков, папа смотрит телевизор, мама... бабушка... Ларик — они ВМЕСТЕ.

Но нет. Вовка почувствовал, что в нем будто открылась дверца, и



из-за нее вышел такой же Вовка, с его глазами и ушами, в его же штанишках и с той же царапиной на лбу, вышел и смотрит на него изнутри. Да-да, смотрит и ждет чего-то. И этого «внутри» вдруг стало так много — целая комната. Пока было не разобрать — что в ней, но Вовка уже различал очертания некоторых предметов: вот, вроде, его любимый пластмассовый рейнджер Джейк с гнущимися туда-сюда руками и ногами; вот Катя из тридцать шестой квартиры; вот горка апельсинов, которые обожал Вовка. А сам он — тот, что внутри, — стоит посередине комнаты и не знает, что делать.

А папа, мама, бабушка... Они — есть. Да, конечно, они есть. Но — где-то. А Вовка — один, такого второго нет.

Не хотелось играть с папой в шашки, не хотелось есть бабушкины котлеты, и даже шептаться с мамой перед сном — не хотелось. Неживые предметы были честнее — они как стояли или лежали на своих местах, так и остались такими же. А люди, которые только что делали вид, что они вместе с Вовкой, обманули его: и вовсе не для него они и не его они, а... чужие. Вовка боялся произнести это слово, выпустить его из себя на язык, но оно подобралось само и выплыло откуда-то из темноты мыслей: они чужие, они — сами, я — сам.

«Может быть, утром пройдет?» — с надеждой подумал Вовка.

За ужином он сидел тихо, нет-нет да и вглядываясь то в папу, то в маму, пытаясь «приблизить», вернуть их себе. Но они не возвращались, хотя сидели рядом — рукой дотронуться можно.

— Ты что сегодня такой задумчивый? Не заболел ли? — Бабушка перехватила его взгляд и, положив вилку, дотронулась до Вовкиного лба своей мягкой ладошкой. От ладошки было тепло и приятно.

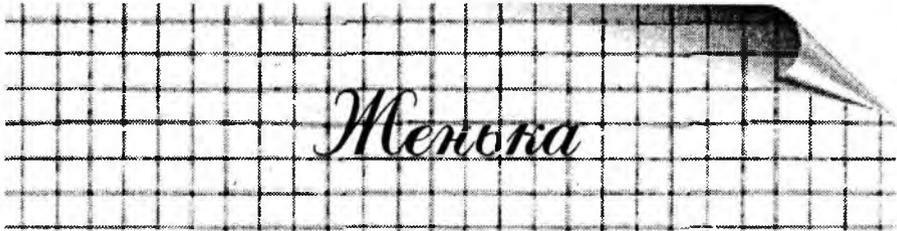
«Бабушка меня любит. — подумал Вовка. — Но она тоже — в себе. Как жалко. А интересно, как там — в ней?» Он попытался представить себе бабушкин мир — бабушкину комнату — даже напрягся, но ничего не получалось. И в мамину — не получалось. И — в папину. И Ларика — не получалось тоже.

— Нет, ба, — вздохнул Вовка. — У меня ничего не болит, просто спать хочется

— Да, весна — авитаминоз, всем спать хочется, — кивнула мама. — Давай-ка, дружок, в кроватку. Пей чай и — баиньки.

... Он лежал в своей постели. В комнате было темно. Как в Вовке. Темно и пусто. И эту пустоту нужно было чем-то населять. Он еще не знал, как это трудно и долго.





Женька

1.

Черепашка умерла ночью.

Утром, перед школой, Вовка по привычке заглянул в ее закуток, чтобы потрогать плотненький, шершавый панцирь, положить кусочек огурчика и сказать: «Пока, Женька, мне в школу». Он сразу почувствовал неладное: глаза черепашки были закрыты и как-то вдавились внутрь, и вся она окаменела, он нее не тянуло медленной теплой жизнью, которую Вовка всегда чувствовал ладошкой. Нет, теперь этого живого тока не было, а было холодно и неподвижно. Вовка взял Женьку на руки, потрогал морщинистые лапки-коготки. Они подавались под его нажатием, но сами не жили. И головка не жила. И хвостик.

— Мама!!! — закричал Вовка. — Женька!!! Женька!!!

— Что такое? — мама почти вбежала в детскую, услышав пронзительный Вовкин крик. Она увидела Вовку, черепашку и сразу все поняла.

— Дай мне, — попросила она.

Вовка протянул ей ладошки с черепашкой. Может, это неправда. Может, она не умерла, а уснула. Да-да, черепахи осенью впадают в спячку, Вовка слышал об этом. Может, и Женька?..

Он широко открытыми глазами смотрел на маму. Пусть она скажет, что Вовка ошибся. Разве так может быть: вчера еще Женька ползала по полу, пытаясь перебраться через поставленную Вовкой преграду из планочек, еще вчера он трогал ее острые коготки и кормил кусочками яблока. Ему так нравилось, когда она открывала рот и медленно откусывала от угощения кусочек. Еще вчера...

Мама подняла глаза и на Вовку, и он понял:

— Она?..

Мама кивнула:

— Она умерла, Вовик. Так бывает. Она просто старенькая была, совсем старенькая, как наша бабушка — помнишь? Вот и...

Но Вовка уже не слышал: уши будто заложило, и на глаза напозла мокрая пленка, из которой тихой струйкой потекли слезы.



Они, наверное, выливались из того комочка, который сгустился в горле и мешал дышать. Было не горько, нет — было невозможно. Так не могло быть. Но так было.

Мама положила мертвую Женьку в клетку, села на корточки рядом с Вовкой и взяла его руки в свои.

— Мы ведь любили ее, правда? — спросила она.

Вовка кивнул.

— ...и кормили. И играли. Ведь так? Она на нас не в обиде?

Вовка кивнул.

— ... просто она устала жить. Так бывает.

— Мы ее... похороним? — сумел спросить Вовка.

— Конечно. Вечером. А сейчас надо идти в школу. Надо.

— Он молча собрал свой рюкзачок, оделся, плохо попадая в рукава куртки, и, не притронувшись к завтраку, ушел.

2.

На уроках он рисовал черепаху. Она выходила у него такая живая, с поднятой четырехугольной головкой и большими глазами. Вовка сделал ее глаза голубыми, с черной живой точкой зрачка посередке. Черепаха ползла, ее правая лапка тянулась вперед, а хвостик не волочился по земле, а был приподнят.

— Сидоров!

Вовка вздрогнул и уронил ручку.

— Ты чем занимаешься?! — Татьяна Петровна тучей стояла над ним. Вот она отодвинула Вовкину руку, которой он загоразивал черепаху, и гневно сказала: — У нас сейчас урок русского языка, а не природоведения. Черепах будешь рисовать на нем, а сейчас возьми ручку и пиши: «Мы любим свою Родину». Родина, Сидоров, пишется с большой буквы.

Вовка любил родину, но еще больше он любил черепаху, поэтому ручка не слушалась, и буквы выходили дрожащими и непатриотичными.

— Нет, — сказала Татьяна Петровна. — Это тебе мешает.

Она протянула руку к листку с Женькой, чтобы разлучить их с Вовкой.

— Не дам! — пронзительно закричал Вовка, закрыл листок руками и навалился на них всем собой.

— Что такое? — страшным холодным голосом спросила Татьяна Петровна. — А ну-ка, дай листок.

Она отодрала Вовку от парты и протянула руку к черепахе. Вовка хотел защитить ее, но вдруг испугался, что листок помнется и

Женьке будет больно. Он только и сумел, что поднять на учительницу широко раскрытые глаза и закричать: «Не надо. Она умерла!»

В классе стало тихо. Так тихо, что было слышно, как между рамами возилась поздняя осенняя муха.

— Кто умер? — недоуменно переспросила Татьяна Петровна.

— Черепаха... — еле слышно прошептал Вовка. — Моя черепаха.

— Ну и что? Жаль, конечно, но все однажды рождаются и умирают, — значительно, сделав умные глаза, сказала Татьяна Петровна. — Черепаха сдохла, а ты живешь и должен учиться. В частности, учить язык, которым мы изъясняемся, и...

— Она не сдохла! — закричал Вовка. — Женька умерла. Навсегда! Лучше бы это я умер! И язык этот ваш тоже умер!

Он упал личиком на парту и завыл.

Леночка Оленева шмыгнула носиком и тоже почему-то заплакала, и Юлька-погремушка — за ней следом. И даже Рома Дуров почувствовал, что глаз у него стало больше, а язык пропал куда-то. Класс слушал Вовкин вой и молча соглашался: нет, не стоит весь великий и могучий русский язык черепахи.

...На перемене Генка Волков — вечный забияка, драчун и прогульщик — подошел к Вовке и протянул ему яблоко: «Хочешь? Знаешь, когда у меня Джек... (он слотнул тяжелый комочек, так и не сумев произнести то самое, окончательное, необратимое слово)... я тоже тогда...мне тоже было... Я тебя понимаю. Возьми яблоко».

Вовка кивнул и взял. Они постояли с минуту молча. Генка положил свою лапку на Вовкино плечо, чуть потряс его и молча пошел прочь.

3.

Хоронили Женьку втроем: папа, мама и Вовка. Нашли тихое место на склоне речки, в заброшенном парке, в двух шагах у маленькой тропинки.

Папа саперной лопаткой вырыл ямку. Он рыл и рыл, обрубая корешки ивняка и вытаскивая землю, и никак не мог остановиться, хотя ямка была уже очень глубокая.

— Саша, — мама положила ему на плечо руку. — Довольно.

Папа вздрогнул, будто очнувшись, и смущенно кивнул: «Да-да, конечно». Он выпрямился, отряхивая с колен свежую землю, закурил и отошел в сторону, пропуская вперед Вовку, который прямо, очень прямо стоял с коробочкой в руках и смотрел, как копает папа.

Вовка на прощанье открыл коробочку из-под конфет, куда положили Женьку, погладил ее шершавый панцирь и вдруг пронзительно по-



чувствовал, что виноват. Виноват в том, что... в том, что... Он искал в себе вину перед Женькой и не находил, хотя твердо знал, что виноват: что не сделал чего-то такого, чтобы она была жива, что, конечно же, можно было сделать. Наверное, можно было, если бы знать, что вот так...

На Женькину могилку мама набросала желтых и красных листьев, папа сделал зарубку на соседней осинке — на память — а Вовка положил капустный лист и кусочек огурца. Они постояли еще минуту все вместе и ушли.

...Ночью Вовка долго не мог заснуть. Он думал — он обязательно должен был понять что-то очень важное. Если он не виноват в том, что нет Женьки, то кто тогда виноват — непременно кто-то должен быть: плохое никогда не бывает само по себе, за него наказывают. Если он не выучил урока — ставят двойку. Если мама поставила чайник на плиту, а сама заговорила по телефону с тетей Зиной, а чайник сгорел, — виновата мама. Если он гулял на улице с открытой шеей и получил ангину — виноват он, кто же еще? Значит, Женька тоже провинилась перед кем-то? Но чем? Она была тихая и добрая. А Вовка ухаживал за ней и любил ее. Может быть, неправильно ухаживал? Нет, вроде бы, правильно.

Он вспомнил бабушку. Она тоже была добрая и тихая и делала всем только хорошее. Почему же тогда она не проснулась однажды утром? Провинилась? Ее наказали? За что?

Вовка сучил с себя одеяло, встал с кровати, выставил ладошки перед собой и, расталкивая темноту, пошел в спальню родителей.

— Ма... ма-а... — тихонько потряс он за плечо маму. — Ма-а...

Она проснулась, вскинулась, испуганно глядя на Вовку:

— Что случилось?

— Мам... А я больше в Бога не верю.

— В кого?

— В Бога.

Мама села на кровати перед Вовкой:

— Бог-то тут при чем?

— Я просто думал, за что умерла Женька. Ведь кто-то сделал так, что ее не стало. Зачем он так? Ты говорила, что Бог добрый и дает каждому то, что он заслужил. Женька не заслужила... — Вовка не смог договорить, опустил голову и замолчал.

Мама обняла его теплыми от сна руками, спрятала у себя на груди, и хорошо, что Вовка не видел ее глаз. Он просто затаился в родном тепле, так и не вымучив у матери правду Женькиной смерти.





Вера Васильевна забыла на учительском столе очки. Обычно она заканчивала урок, закрывала журнал и ритуально привычным жестом вкладывала очки в бархатный футлярчик и отправляла его в сумочку. А сегодня она ушла, а футлярчик остался лежать на столе. И вообще в последнее время Вера Васильевна стала все забывать. Ведет урок, объясняет, где какие реки текут или народы обитают, и вдруг замрет и мучительно ищет пропавшее слово — такое простое, обычное слово. Постоит с полминуты в напряженном недоумении, поищет это слово в себе, найдет, встрепенется — и урок плавно течет дальше. А бывало, что не находит. Вот и вчера: ее указка привычно путешествовала по карте и вдруг уперлась в маленький островок в Индийском океане. Она начала: «А это...» — и будто споткнулась. Она старалась назвать этот островок, и было ясно, что они знакомы, но слово пропало, затерялось в закоулках ее памяти и находиться не хотело. И урок споткнулся и тек уже совсем по-другому — натужно и скомкано. И все понимали: Вера Васильевна просто стареет. Мда, сорок лет в школе — это не шутка. Но сама Вера Васильевна признаваться в этом не хотела и в знак протеста устраивала бесконечные проверочные работы и опросы. Вот и завтра должна была состояться очередная пытка — зачет по Африке.

«И какое мне дело до этой Африки, а ей до меня, — думал Вовка из 6-А. — Ну, живут там всякие негритосы, по пальмам ползают; обезьяны там разные — макаки-бубуины, а мне-то что — пусть живут. Попробуй запомни: Зимбабве, Антананариву — язык сломаешь. Надо учить то, что рядом — ну, там Вологда, Кадуй, Мусора, а Африка — далеко и ненужно. Только морока одна».

Единственно, что прочно завело в Вовкиной голове из бесконечных имен и названий великих континентов, это Титикака, озеро такое в Андах. Вовка пытался понять, за что его так обозвали, но в голову лезли одни гадости. Однако запомнилось почему-то. Увы, одной Титикакой зачет не сдашь, поэтому, когда Вовка увидел на



столе футлярчик, в нем вспыхнула идея: стащить очки — и зачета не будет, и хана всей Африке вместе с Америкой — ничего Вера Васильевна не увидит, можно будет списывать и считывать, сколько хочешь. А за один день очки не закажешь.

Дождавшись, пока ребята схлынут на перемену из класса, он прошел мимо учительского стола — и футлярчик приобрел новое место жительства — во внутреннем кармане Вовкиного пиджачка. А дальше — дело техники: смешаться с ребятами и — шито-крыто.

...Дома Вовка долго рассматривал очки. Так, ничего особенно — очки как очки, такие же, как у мамы, бабушки. Но нет — от *этих* исходила какая-то особая энергия, будто в стеклышках за сорок лет скопилось столько лиц, оценок, строчек и умных знаний, что они не подпускали к себе и жили своей, особенной жизнью и даже без их обладательницы заставляли себя уважать и бояться. Да и как не бояться — это были очки самой Веры Васильевны.

Вовка уже ругал себя за то, что поддался искушению, ему теперь казалось, что проще выучить вообще всю Африку, вплоть до самой мелкой речонки, чем держать в своих руках эти очки. Они пытали Вовку своим присутствием, ему казалось, что он не дома, а в школе. Географией пахло и на кухне, и в спальне, и даже в туалете.

«Вот возьму и просто выброшу их на улице. Вот так: раз-два и вся недолгая», — решил Вовка. Он взял очки с собой во двор и честно пытался закинуть их в мусорных бак, но они будто налились свинцом, и сколько Вовка ни пытался вытащить их из кармана, — вытащить не мог. Прогулка была испорчена: в футбол не поиграть — а вдруг выпадут и разобьются, с ребятами не поборюкаться — еще раздавишь.

«Что же это такое? — думал Вовка. — Живые они что ли?»

По неизвестной ему причине, он просидел два часа над учебником географии (этого не бывало никогда) и красиво разрисовал две контурные карты. Ему даже понравилось: Африка и Южная Америка стали роднее и понятнее, а Титикака как-то подзатерялась среди рек, гор и стран.

Сделав географию, Вовка снова достал очки. Они уже не казались ему враждебными и смотрели на него не с укоризной, а, вроде бы, даже одобряюще.

«Надо вернуть, — подумал Вовка, но вдруг почувствовал, что не хочет возвращать их: очки словно приобрели над ним какую-то ма-

гическую власть, как будто сама Вера Васильевна незримо присутствовала здесь и вела к знаниям.

«Нет, отдам — как же она без очков: последние слова растеряет. Она, конечно, вредная, но полезная. Кто его знает, может, когда-нибудь и съезжу в эту Африку...»

Но на завтра урока географии не было — Вера Васильевна заболела. Весь класс ходил как именинник, один лишь Вовка был тихий и унылый.

— Ты чё, заболел что ли? — спросил его сосед по парте Женька Протасов. — Не хандри, Вера загулась — наш день! Зачета не будет. Старая — долго проболует. Кайф!

Вовка кивнул, но сердечко его сжалось: «Это она из-за очков. Расстроилась и заболела. Какой я...» Он подобрал для себя несколько эпитетов, которые обычно звучат в мальчишеском туалете.

...Домой Вовка плелся совершенно разбитый и гулять вечером не вышел. А ночью Вовке меньше спалось, больше думалось и ворочалось. «А если Вера умрет? Вот так — затоскует и умрет. И я буду в этом виноват. Может, узнать ее адрес и вернуть очки?.. Как? А в почтовый ящик подкинуть. А как узнать адрес? Никак...»

За две недели, пока Вера Васильевна болела, очки сделались Вовкиным проклятьем: они укоряли, обвиняли его во всех смертных грехах и заставляли сидеть за учебниками. Почему-то теперь совершенно необходимо было делать и математику, и русский, и даже ботанику, которую Вовка обычно слегка почитывал перед уроком. Учителя недоумевали: «Вова, где же ты раньше был? Значит, можешь, еще как можешь — смотри: одни пятерки», а ребята качали пальцем у виска: «Ну ты, блин, даешь. Ботаник!» В ответ на это Вовка смотрел в пол и молча пожимал плечами, дескать, бог его знает, как все это получилось. Но он-то знал. Проклятые очки.

И вот, наконец, в расписании уроков Вовка прочел: «география». Сердечко его забило тревожно и радостно. «Выжила. Пережила. Слава богу». Когда Вера Васильевна вошла в класс, Вовка разволновался так, что вспотел и начал громко икать. «Да, я тебя понимаю, — шепнул Женька. — Заикаешь тут. — И кивнул в сторону учительского стола. — Снова начинается...»

Футлярчик с очками лежал в кармане. Нужно было сделать так, чтобы очки «нашлись». Как — плана Вовка пока не придумал.

Но вот Вера Васильевна подошла к столу, открыла сумочку и достала... футлярчик, точно такой же, какой лежал в Вовкином



кармане, и вынула из него очки. Она внимательно осмотрела класс, как будто вновь знакомилась со всеми, и начала урок. И была Вера Васильевна свежее, моложе, чем та, которая две недели назад теряла слова. И очки были другие — новенькие, с блестящей современной оправой и такими же блестящими стеклышками.

— Ну-с, ребята, кто расскажет мне о богатствах Африки? — спросила она, обведя взглядом класс.

Все быстренько воткнули взгляды в учебники, пытаясь за минуту вспомнить, что же такое Африка, а Вовка сразу поднял руку (нет, это рука сама поднялась).

— Сидоров? — удивилась Вера Васильевна. — Ну... пожалуйста.

И пять минут Вовка путешествовал по Африке, и пять минут и ребята, и Вера Васильевна удивленно смотрели на него.

— Молодец... — только и смогла сказать учительница, когда Вовка завершил свое путешествие у мыса Игольный. — Молодец. Пять.

...А очки? Вовка так и не смог расстаться с ними, и сейчас, уже через тридцать лет после того урока, они лежат в ящике письменного стола профессора Сидорова Владимира Петровича. И когда что-то не ладится в его жизни, он достает их и, улыбаясь, вспоминает о чем-то.





Как Вовка своё мнение имел

Иметь свое мнение — дело хлопотное: что-то защищать надо, отстаивать, ругаться и, разумеется, синяки и шишки получать. А то как же, ведь у другого мнение тоже кулаки есть.

До второго класса Вовка своего мнения не имел — получалось так, что взгляды на жизнь мамы, папы и бабушки совпадали с его взглядами. Даже когда не хотелось идти в садик или есть манную кашу, мама строго говорила: «Надо!», и они быстренько совпадали. Да и как не совпасть — это же мама — ее надо слушаться; или папа — его надо бояться; или бабушка — ее не слушаешься, а она на ночь сказку не расскажет и пряников тайком от мамы Вовке не купит. Нет, лучше пусть совпадают, тем более что кашу можно быстро съесть, а в садике совсем не плохо, если бы только днем спать не укладывали.

Впрочем, случилось как-то, что Вовка почувствовал острую необходимость заиметь собственное мнение. Они всей семьей были в гостях у тети Шуры — маминой подруги. А у тети Шуры была дочь Вика — Вовкина ровесница. Она как-то сразу не понравилась Вовке: тощая, ноги как палки и глаза злючие и колючие — того и гляди, что-нибудь выкинет. Когда их с Вовкой оставили в детской один на один с тортом и чаем, ему было сразу заявлено, чтобы он ничего не трогал, потому что руки у него грязные и заразные, и не шмыгал носом — потому что противно, и не брал кусочек торта с цветочком — потому что это не его. А когда они ели торт, Вика смотрела Вовке прямо в глаза, будто изучала, отчего хотелось встать и уйти. Наконец она спросила:

- А у вас в садике бассейн есть?
- Нет, — отрицательно покачал головой Вовка.
- Фу! — Вика презрительно передернула плечиками. — Дурацкий садик. Для бомжей.

Вовке стало обидно за свой садик. Он положил недоеденный кусок на тарелку, встал из-за стола и направился в зал, где взрослые о



чем-то смеялись и побрякивали вилками. Он подошел к маме и потянул ее за рукав:

— Мам, а мам, пошли отсюда.

— Что?.. — мама покраснела и бросила растерянный взгляд в сторону тети Шуры.

— Пошли домой, здесь плохо. Не буду я есть их торт. Эта Вика зазнайка и дура, и пусть плавает в своем бассейне. Я домой хочу.

Короче, Вовкино мнение совершенно не совпало с мнением мамы и папы. Он сорвал именины, маме пришлось за него извиняться, и вскоре они ушли. А дома Вовка был наказан: он стоял в углу и не плакал, а думал: «И чего я такого сделал? Я правду сказал: эта Вика — дура. За что меня в угол. Ну и ладно!»

Собственное мнение выдохлось из Вовки через час — он попросил прощения, и его отпустили играть во двор.

Во дворе тоже случалось, что его мнение не совпадало с мнением ребят. Например, они хотели играть в футбол, а он предпочитал «вышибалу». Но это пустяки — футбол тоже ничего.

В конце концов, где-то в глубине души Вовка решил, что иметь свое мнение себе дороже и делал то, что ему скажут. Но сегодня оно, это собственное мнение, вдруг проснулось. И проснулось так некстати — на уроке русского языка. Анна Петровна раздала тетради с контрольными работами и начала рассказывать о том, кто и какие ошибки допустил.

— Сидоров, — она дошла до Вовки. — Сколько раз я говорила, что ЖИ, ШИ пишется с буквой И, а ЧА, ЩА — с буквой А? Я тебя спрашиваю!

Вовка опустил глаза в тетрадь, в которой стояла огромная раздраженная «двойка», и в груди его вдруг стал сгущаться тугой, злой комочек.

— А я не верю... — сказал он.

— Во что ты не веришь? — удивилась Анна Петровна.

— В русский язык не верю.

— Это как?

— А вот так. Вы всегда говорите ЧЯ-ЩА, ЩЮ-КА, и не слышу я никаких А, У, а слышу Я и Ю.

— Ну и что? — строго сказала Анна Петровна. — А по правилам надо писать именно А и У. Правило такое есть, понимаешь — закон такой.

— Это дурацкий и неправильный закон. От закона ребенку должно быть хорошо, а от этого — плохо, — ответил Вовка.

Анна Петровна смутилась, но тут же перешла в контратаку:

— Мал ты еще законы переписывать. Вот вырастешь, поумнеешь, что-то из себя представлять станешь — тогда пожалуйста. А пока записывай «Работа над ошибками» и исправляйся. Итак, ребята, слушаем и пишем: чу-жой, жи -ву, шу -пальце...

Вовка надулся, взял ручку и стал писать: чюжой, живу, щюпальце.

...На переменке собственное мнение разгулялось еще больше: Вовка заявил Таньке Веткиной, что она ябеда и подлиза и за это пятерки получает. Танька разревелась и побежала жаловаться Анне Петровне, а весь класс одобрительно, но с некоторой опаской смотрел на Вовку. Но этим не кончилось: еще через урок, на обеде, Вовка во всеуслышание заявил, что первое есть не станет, что это «собачья похлебка». В результате весь класс отставил тарелки, а Вовкин дневник обогатился побудительным предложением «Родителей — в школу!»

...На следующий день Вовка стоял, опустив голову, у своей парты, а Анна Петровна выговаривала маме, что он «совсем от рук отбился», «плохо влияет на коллектив», грубит и не делает то, что нужно» — короче, разные-всякие гадости. Мама грустно кивала в ответ и ничего не отвечала. Почему? — думал он. Мама должна защищать его, ведь он — ее сын. Даже если он не прав, даже если он сделал что-то не так. Почему она укоряюще смотрит на него, почему не говорит, что он хороший и правильный.

Душная волна протеста вскипела в Вовкином сердечке и краской обожгла щеки.

— Анна Петровна, — вдруг перебил он учительницу, — у вас дети есть?

— Что?.. Дети? Есть... — она осеклась, растерялась и заморгала. — Причем тут мои дети?

— А вы их любите?

— Да... конечно.

— А когда их ругают, вы тоже сидите и киваете?

— Ну... — Анна Петровна мучительно подбирала педагогически правильные слова. — Если их ругают за дело... — протянула она и переглянулась с мамой.

— А какая разница, — спросил Вовка, — своих детей надо защищать всегда.

Тишина на минуту зависла над классом, не находя, как ей разрешиться. Учительница и мама — каждая — ушли в себя и что-то там



искали (Вовка чувствовал это), искали и не находили. Их взгляды уже не пересекались, а блуждали в пространстве.

— Ладно, Вова... Мы хотим тебе только хорошего, — сказала наконец Анна Петровна.

— Конечно, только хорошего, — поддакнула мама.

— А если мое хорошее — это не ваше хорошее? — неожиданно для себя спросил Вовка.

— Тогда... тогда тебе трудно будет жить на свете, — со значительностью ответила Анна Петровна.

— Ну и ладно. Зато... зато (он мучительно искал слова, которых пока еще так мало было в его головке), зато мне будет легче... внутри.

...Они шли домой. Легкий ветерок от скуки перебирал желтые листья, в небе шурилось октябрьское подслеповатое солнце, и какая-то дрема была разлита вокруг. Наверное, к зиме.

На перекрестке мама с Вовкой остановились — горел «красный».

— Вова, ты хочешь домой? — спросила мама.

— Угу, — кивнул Вовка. — Поскорее бы.

— А почему ты не идешь?

— Как почему — светофор мешает, — Вовка непонимающе посмотрел на маму.

— Ты хочешь домой, но терпишь светофор, потому что так надо, так полезно, иначе тебя может задавить машина. Так и в школе, и дома — чтобы было хорошо и спокойно, надо потерпеть то, что нужно, даже если не хочется. Иначе — беда.

Вовка задумался. «Красный» сменился «зеленым», они перешли дорогу и уже через пять минут поднимались по лестнице.

А собственное мнение начало таять, прятаться в тайничках Вовкиной души, как будто его поймали, выставили напоказ перед всеми и сказали, что оно вредное и неправильное. И ЖИ-ШИ надо писать с И, и Танька — не ябеда, и суп в столовой — не «собачья похлебка». Неужели это правда?





Паучок

1.

Паучок упал на дно ванны и никак не мог из нее выбраться. Он доползал лишь до середины стенки, замирал, стараясь подтянуться, зацепиться за что-нибудь, но не находил и срывался обратно. Но уже через несколько секунд, словно отдышавшись, он снова и снова карабкался вверх и срывался снова.

Вовка прищелкнул язычком: здорово — такой маленький, а такой упорный. Уже минут десять, как мама загнала Вовку в ванную, чтобы он «был человеком, а не поросенком». Нужно было стать под душ, но — как: там был паучок и Вовка боялся его. С самого начала он хотел закричать: «Ма-а! Там паук! Я боюсь!», — но потом засмотрелся на это маленькое сражение за жизнь и теперь не знал, что делать.

Сам Вовка боялся избавиться от непрошеного гостя — он не любил насекомых. Однажды по его руке пополз случайный таракан — и крика было столько, будто это не таракан, а собака Баскервилей. Вовка помнил это ощущение-щекотание по руке — противное, даже омерзительное шевеление лапок по коже — и всякий раз передергивался, когда вспоминал его. А теперь — паук. Нет, ни за что Вовка не сможет ни хлопнуть его тапкой, ни смыть водой, ни вообще сделать что-то еще, чтобы наконец ванна освободилась. Почему? Он не знал. Не сможет — и всё. Противно.

Надо было звать маму. Вовка уже захватил ртом воздух для крика, но паучок снова сорвался вниз и замер. И крик проглотился, выдохся.

«А что он мне сделал — за что мне его убивать. Он просто живет. Вот он какой — маленький, а какой упорный. Я бы так не смог. Я бы лежал на дне и ждал, когда придет на помощь мама. А ему ждать некого — он САМ».

Дверь распахнулась.

— Ты почему не моешься? А ну-ка марш!

Мама сделала шаг вперед, чтобы запихать Вовку в ванну. А ему вдруг стало страшно: вот сейчас мама увидит паучка, откроет кран и смоев его в черную дырку.



— Я уже! Я уже! — Он заторопился, заснимал штанишки, рубашку — только бы не подошла, только бы не заметила.

— Ну? — мама не уходила, а, поставив руки в боки, ждала, когда Вовка заберется в ванну и пустит воду. — Давай-давай, поросенок, залезай.

А в ванне сидел паучок. Сейчас он заползет на Вовкину ногу и будет противно щекотаться. Бр-р! Вовка весь покрылся пупырышками. А может, сказать? Тогда все будет просто: никто не станет щекотаться, Вовка спокойно вымоется, станет человеком и спокойно пойдет пить чай с бутербродами. А паучок утонет и никогда уже не помешает ему жить. Никогда.

Вовка занес ногу и ощутил холодок ванны. Вот он уже забрался весь и положил руку на вентиль крана, чтобы пустить воду.

— Мам, я уже моюсь, уже — ты иди, а?.. — он почти умоляюще посмотрел на мать.

— Ф-ф! Какой стеснительный, — фыркнула мама и почти хлопнула дверью.

Вовка, внутренне содрогаясь, нагнулся и прислонил свою ладошку рядышком с паучком, который все так же неостановимо лез и срывался.

— Ну? — прошептал Вовка. — На, на же. Иди сюда. Лезь. Мне мыться надо.

Паучок задумался, как будто прислушиваясь к Вовкиным словам, и... щекоча, заполз на палец и остановился.

— Молодец — понял!

Вовка привстал на цыпочки и протянул руку к отдушине:

— Иди. Там твой дом.

Он просунул палец в пыльную темноту и замер.

По пальцу прощекотало, и Вовка почувствовал, что свободен.

2.

— Ты чего такой цветущий, как именинник? — спросила Вовку мама, наливая чай и ставя перед ним сырны́е бутерброды.

Он пожал плечами. Почему-то хотелось улыбаться.

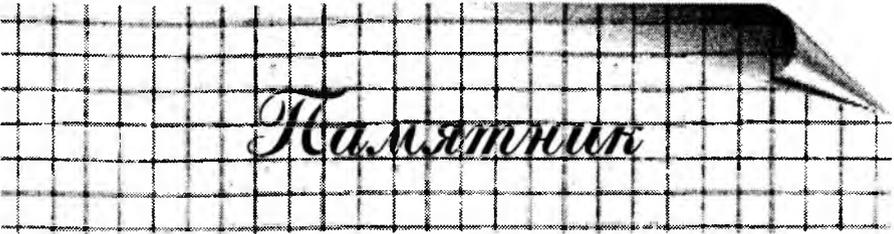
— Так, ничего.

— Я всегда говорила: вода снимает усталость. Вот приходи каждый день со двора — и под душ.

— Угу, — кивнул Вовка и впился в «сырник».

...Он лежал в постели и думал о паучке. Думал, и легкая улыбка блуждала по его лицу. Было легко, почему-то так легко на сердце.





Памятник

В 5-А на классном часе проходили памятники: Лермонтов, в летнем сюртучке, замер в поэтическом вдохновении; Пушкин был величественен и недосягаем; голова Льва Толстого, вознесенная на трехметровом постаменте, гениально хмурилась и была, кажется, всем недовольна; Ленин зачем-то сжимал в руке кепку, а Верещагин вонзил свой тяжелый, каменный взгляд в пространство. Памятники, памятники, памятники. Все они были такие значительные, даже маленький Милютин в Комсомольском парке. От них веяло вечностью, и Вовка нутром ощущал это.

— Как вы думаете, ребята, зачем людям памятники? — спросила Анна Павловна.

— Чтобы не забывали, — ответил Юрка.

— Чтобы уважали, — добавила Лена.

— В благодарность, — напрягшись, изрекла Верочка.

— А ты как думаешь, Вова? — спросила Анна Павловна.

Вовка вздохнул. Конечно, хорошо этим Пушкиным-Лермонтовым: они умные, даже гениальные. Написали, изобрели, построили всего такого разного-полезного — вот и стоят себе теперь припеваючи, а люди их помнят и только хорошее о них говорят. А что он, Вовка: поживет-поживет да и умрет, и никто о нем не вспомнит. А ведь это несправедливо — он ведь тоже жил.

Душная волна протеста шевельнулась в Вовке и выплеснулась словами:

— Ну и что — памятники? Все равно они давно умерли: и Пушкин, и Лев Толстой. Им уже все равно. Вот если бы при жизни им памятник поставили — другое дело. А так...

— Ха, — усмехнулся Витька. — Памятник-то от слова «память». Чего живого-то помнить — он и так есть. Надо сначала, чтобы умер, а потом уже и памятник. А то одно хвастовство выходит.

— Вова, — спросила Анна Павловна, — а ты хотел бы, чтобы и тебе через лет сто памятник поставили или улицу твоим именем назвали?



Вовка снова вздохнул. Хотеть-то, он, конечно, хотел бы, да ведь сколько всего в жизни наворотить надо, чтобы памятник потом себе заполучить. И — обидно: сам Вовка его не увидит — памятник будет стоять, а Вовка лежать. Дико несправедливо: книги писал, под пули лез, города строил, а при жизни никакой благодарности — напротив, одни упреки и лишения. А ему, Вовке, уж точно не видать себе памятника: тут не то что город, а домашнюю работу по арифметике сделать как следует не удастся. Так и затеряется Вовка среди памяtnичков на городском кладбище. И будут ходить к нему два раза в год его будущие жена и дети. А умрут и они — всё, никому он не будет нужен.

Бабушка как-то раз взяла Вовку с собой на дедушкину могилку. Он шел и удивлялся, видя целый город крестов, надгробий, обелисков. Неужели под каждым лежит бывший живой человек. Вовке стало страшно, когда он представил, что всего в полутора метрах под ним рядами лежат умершие — сколько их!

Дедушкина могилка затерялась, спряталась среди улочек и переулочков этого города: оградка «два на два», лавочка, железный памятник, выкрашенный синей краской, с блестящим крестиком наверху и пожелтевшей фотографией. И вокруг — сорняки до колена. А рядом — такие же заросшие могилки. Нет, такого будущего для себя Вовка не хотел.

— Анна Павловна, а за то, что человек просто жил, памятники в городе не ставят? — спросил он, тревожно взглянув в глаза учительнице.

— Нет, — покачала она головой. — Не ставят.

...Ночью Вовка маялся. Из головы никак не выходила дедушкина могилка. «Как сделать так, чтобы не попасть туда, в этот страшный город, а остаться где-нибудь на площади или хотя бы в скверике? Может быть, закон какой-нибудь придумать или книжку написать? Или подвиг совершить?» — перебирал он возможные варианты своего увековечивания. «Да... закон. Тут на тройку еле-еле натянешь хоть по арифметике, хоть по литературе. Какое там — книга. А подвиг? Оно бы, конечно, можно, да где же его взять. А то еще совершишь, а те, кто остался, подумают-подумают, порешают-порешают и скажут: «Он, конечно, герой, но на памятник не тянет». Зря и пропадешь. Что, ну что же такого сделать?»

Вовка взбаломутил всю постель, загнал в угол подушку и не находил места рукам и ногам. Почему именно сейчас нужно было решить

эту задачу — как стать памятником, он не знал. Но — только сейчас! Иначе не уснуть, иначе вообще жить дальше невозможно.

«Странно, — подумал Вовка, — а почему ни маме, ни бабушке, ни папе это не нужно? Живут они себе спокойно: работают, телевизор смотрят, обедают. Может, это и не страшно, если о тебе потом забудут? Может, это и правильно?»

Мама еще не легла спать, готова на утро сырники для всей семьи. Вовка ссучил с себя одеяло, встал с кровати и тихонько прошел в кухню.

— Мам, а мам?.. — протянул он, заглядывая в дверь.

— Господи! Ты почему не спишь? — всполохнулась мама.

— Мам... а как сделать так, чтобы потом... ну, когда тебя не будет, о тебе помнили?

— Что? Ты это о чем? Тебе еще жить да жить — зачем ты о пустяках думаешь. Иди лучше спать.

Но Вовка не уходил. Идти было некуда: в детской, кроме темноты, другого ответа не было.

— Ну мам...

— Хм... — она заглянула Вовке в глаза и перестала суетиться руками по столу. — Ладно, садись, поговорим. Хочешь чаю?

— Угу, — сказал Вовка и сел напротив.

Они пили чай с завтрашними сырниками, а за окном один за другим погасали окна, и ночь становилась плотной, беззвучной. Она стал в мире главной. Но здесь, в маленькой кухоньке, было светло и тепло и можно было пить горячий чай, и рядом была мама.

— Вова, — спросила она, — а что такое «помнить человека»?

Вовка растерялся:

— Ну... как? Знать его биографию, что он сделал, его внешность.

— И чью же ты биографию знаешь?

— Пушкина... немножко. А еще... еще... — Вовка напрягся, но ничего больше вспомнить не мог.

— А внешность?

— Много кого: Петра Первого, Льва Толстого, Лермонтова — да много их.

— И что же — ты всех их уважаешь?

Вовка задумался:

— Наверное. Уважать — не знаю. Но помню. Стихи Пушкина — помню; то, что Петр Ленинград построил — тоже помню.

— И за это ты их уважаешь? — спросила мама.



— Наверное. Они... вот такие... большие... значительные. А я маленький (Вовка пригорюнился).

— А вот мне кажется, — сказала мама, — что оставить после себя память — значит прежде всего оставить после себя не имя, не стихи и города, а жизнь, которую ты подарил жизни.

— Как это: жизнь подарил жизни? — не понял Вовка.

— А вот так, смотри: бабушка с дедушкой оставили меня, мы с папой оставили тебя. Ты — память о нас, даже если о нас не думаешь. А еще можно дерево посадить. Оно будет расти, расти, бросит семена — и новые деревья появятся. Они тоже будут память о тебе.

— А как же памятники?

— А что — памятники? Когда я вижу памятник Петру Первому, я вовсе не думаю о его заслугах и подвигах, он для меня — просто имя.

— А Толстой? А Пушкин? — не унимался Вовка.

— Так же и о них — просто имена заслуженных людей. Я даже могу пользоваться их трудом: открытыми законами, книгами, но... никакой специальной памяти, специального уважения не испытываю. Просто имена. Спасибо им. И только. А живое — то, что от тебя осталось, — оно, даже если и имя твое забыло, все равно помнит о тебе. Вот смотри, у тебя на виске родинка. Такая же была у твоего прадедушки — значит, ты его помнишь.

— Н-нет... — покачал головой Вовка, тем не менее чувствуя, что что-то начинает понимать — что-то такое, отчего темнота становится не такой страшной. — Я не помню прадедушки.

— Помнишь-помнишь, — усмехнулась мама, — просто не знаешь об этом. Ты — памятник ему, живой памятник.

— А дерево — оно ведь не от меня будет?

— А ты знаешь, что тот же Лев Толстой посадил не одну тысячу деревьев. Эти рощи живут до сих пор. Если бы не он — этой жизни бы не было.

— Да? — удивился Вовка. — А я думал, что он только книги писал.

— Не только, — улыбнулась мама.

— Ну... тогда ладно... тогда ничего.

Мама притянула его к себе и крепко-крепко обняла, чмокнув в вихрастый затылок.

— Все, дружок, давай спать.

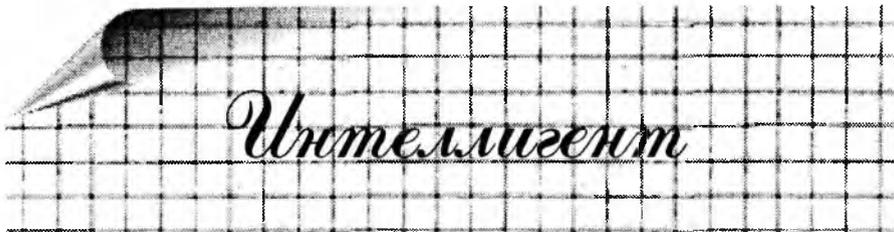
— Давай, — сказал Вовка.

...А во сне он увидел дерево, такое большое, зеленое и счастливое. «Привет», — сказал ему Вовка. «Привет», — ответило дерево. «Ты мой памятник?» — спросил Вовка. «Да», — ответило дерево. «А ты долго будешь жить?» — спросил он. «Долго, очень долго — всегда. Видишь вон те два маленькие деревца? Это мои дети. Они тоже памятники тебе». — «Здорово», — сказал Вовка.

И вдруг около дерева появился мальчик. Вовка не был с ним знаком — так, просто мальчик с большой родинкой у виска. Он подошел к Вовке и протянул ему руку: «Здравствуй, я твой памятник», — сказал он. «Как, — удивился Вовка, — и ты тоже?» — «И я», — кивнул мальчик.

И там, во сне, Вовка улыбнулся и подумал: «Нет, я не хочу быть из камня, не хочу потом стоять на площади — я хочу быть вот так, как они».





Интеллигент

Вовка пришел из школы, свалил рюкзачок в прихожей рядом с миской Барсика, скинул кроссовки и пошел в свою комнату, буркнув на ходу бабушке: «Приветик».

— Ей, ты, чучело огородное, иди мой руки и давай обедать, — донеслось ему вслед.

— Ша, ба, — ответил он, разделся и приковылял на кухню.

— Чего такой смурной сѣдни? — спросила «ба», ставя перед Вовкой тарелку с горячими оладьями.

— Ничѣ, — Вовка почесал масляные волосы и взял пальцами олашку.

— А все же? — не унималась бабушка.

— Да так — обидели.

— И как же?

— Обозвали — интеллигентом, да еще гнилым. Слушай, ба, а вообще-то, в натуре, кто такой интеллигент?

Бабушка задумалась.

— Ну... этот... который в очках, умный, книжки читает, всем «здрасьте» говорит. Чего пристал, иди вон у отца спроси.

Вовка доел оладьи, вытер руки о штаны и пошел спрашивать. Образ, предложенный бабушкой, его не устраивал: очков Вовка не носил, книжек не читал, а насчет «здрасьте» всем подряд — это уж дудки.

— Па! — он стал перед отцом, который впал в послеобеденную дрему и лежал на диване мохнатым пузом кверху. — Па! Кто такой интеллигент?

— Кто-кто? — удивился отец.

— Ну, этот, интеллигент, значит?

— А-а... — начал вспоминать отец, — ну, этот... (от напряжения он даже привстал с дивана). — Ну, в общем, это мужик такой, который только башкой работает, а больше ничего делать не умеет. Да! Ничего — даже гвоздя вбить. Башка у него большая, а руки из жопы растут.

Вовка попытался представить соответствующую картинку. Образ получался жутковатый.

— А еще, — продолжил отец, — сколько бы твой интеллигент своей башкой ни работал, жрать дома у него все равно нечего, а выпить — тем более.

— Почему? — удивился Вовка.

— А потому что умный больно. У нас таких не любят. У нас надо, чтобы руки были. А голова — лучше вообще без нее.

— Как без головы-то? — удивился Вовка.

— А вот так. Придет, значит, интеллигент к себе домой, засядет в кресло и думать начнет про то да сё. И все-то ему не нравится: и власти, и работа, и бабы, и жизнь вообще. А от этого он нервничает и худеет, а то и вообще чокнуться может — это у них запросто.

— А зачем же он думает столько, раз чокнуться может? — еще больше удивился Вовка.

— Устроен он так: поначитался книжек да научился в институтах, вот и не может остановиться. К тому же на его зарплату только думать и остается.

— А почему он гнилой? — спросил Вовка.

— Кто?.. А... этот. Я же тебе сказал: башка у него гнилая: всю мысли, как червяки, изъели. У меня вон видишь (он постучал себя по лбу) — кость! А у него — мысли.

Вовка тоже стукнул себя по лбу. Лоб был крепким, и он подуспокоился.

— Слышь, па, а меня обозвали интеллигентом, гнилым.

— Кто?! За что?! — чуть не закричать отец.

— Машка Сидорова. Я ей сказал, что не буду за нее доску мыть — пачкаться не охота. Она и фыркнула, что я этот... интеллигент. А что, они, интеллигенты, никогда ничего не моют?

— К-хе... — еще раз почесался отец, чувствуя пробел в знаниях насчет повадок интеллигенции. — Нет... они вообще-то чистенькие. Ты лучше иди к маме — это по ее части.

И Вовка пошел к маме.

— Ма! А кто такой интеллигент?

— О-о-о... — мечтательно ответила мама, забыв про посуду, и повернулась к Вовке: — Интеллигент — это когда цветы дарят, и вперед пропускают, и место в автобусе... И говорят, ах, как говорят на свиданиях! Говорят, а не мычат (она бросила взгляд в комнату, где лежал отец). В общем, интеллигент — это красиво. Понял?



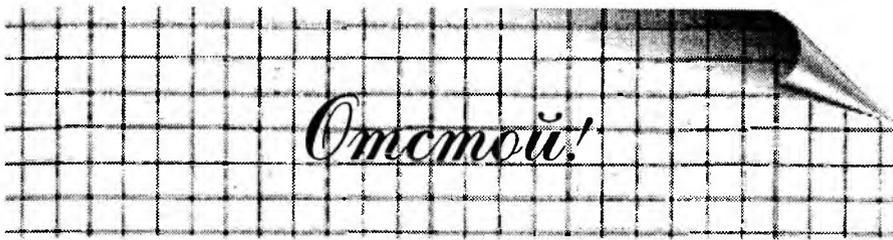
— Ма, а я — интеллигент?

— Ты?! — она фыркнула. — Какой ты, к черту, интеллигент: непричесанный, руки и штаны вечно грязные, в дневнике двойки. За собой не убираешь, «спасибо» от тебя не дождешься. Пожрал — и убежал. Вон, даже Барсик интеллигентнее тебя: и тарелку вылизывает, и мяукнет. Мусор вынести — не допросишься. Интеллигент...

Вовка посмотрел на Барсика, который умывался возле своей миски, потом — на свои ладошки и подумал: «Не похож».

«Фу-ф... — облегченно вздохнул Вовка уже во дворе. — Точно — не похож. Слава богу: это же одна морока — быть интеллигентом. Нет, лучше останусь человеком».





Отстой!

Когда-то давным-давно бородатый классик философии почесал плешивый затылок и вывел один из главных законов бытия — единство и борьба противоположностей. А говоря нашим, понятным языком, это когда плохое и хорошее в одной авоське — как муж с женой, ученик с учителем или Россия с Чечней: один другого мултузит, а вот жить друг без друга не могут. И не понять, кто плохой, а кто хороший.

А современная молодежь и вовсе решила этот закон упростить, введя в обиход два понятия: «отстой» (это плохое) и прикольно (это хорошее). Причем у этих величин есть некие высшие состояния, когда, значит, дальше некуда — это «полный отстой» и «вообще прикольно». Таким образом, вышеупомянутый закон бытия приобрел новое чтение: «единство и борьба отстоя с прикольностью».

Учитывая некоторую новизну этих понятий, я решил произвести ряд наблюдений и экспериментов, из которых почерпнул, что «прикольно» — это:

1. Ездить на иномарке.
2. Иметь богатых родителей.
3. Работать в частной фирме или на «Северстали».
4. Делать покупки в «Новом веке».
5. Иметь одновременно двух подружек.
6. Ненавидеть школу.
7. Плевать на политику.
8. Ездить на пикники.
9. Пить пиво.
10. Иметь собачку типа пекинеса.
11. Любить себя.

«Отстой» же — это:

1. Вставать в семь утра.
2. Носить то, что тебе купят родители, а не то, что ты хочешь.



3. Большая часть педагогического коллектива школы.
4. Домашние задания.
5. Ложиться спать раньше часа ночи.
6. Сохранение невинности после 15 лет.
7. Работать на даче.
8. Выносить мусор.
9. Курить «Балканку».
10. Встречать Новый год с родителями.
11. Ездить на «Москвиче».
12. Внутренняя политика России.
13. Все вокруг, кто с тобой не согласен.

Помню, как первоклассник, кусая мордашку, тыкал пальчиком в сторону манной каши: «Это отстой», как парни лет семнадцати, смотря репортаж из «Норд-Оста», качали головами: «Отстой!»; как двое подростков — недавних заложников — признавались с телеэкрана, что было страшно и... прикольно; как две девицы шептались: «Так прикольно — предки уехали, а у нас ни одного трезвого и все голые!»; как мой сын, увидев меня в старой, но еще вполне респектабельной ушанке образца девяностого года, протянул: «Полный отстой...»

После этих наблюдений я вдруг понял, что мудрец был прав, и хорошее с плохим на самом деле где-то рядом, если не одно в другом. И моя хорошая шапка — дрянь, и подержанная иномарка — хорошо, а новенькая «Волга» — плохо, и люди, погибшие в октябрьской Москве, дадут жизнь новой политике, которая, может быть, спасет всю страну. А мы говорим, что подрастающее поколение поглупело, выбрав себе в качестве доминирующей идеи «Фанту» вместо красного флага. И ничего оно не поглупело: вон как все правильно, по-философски.

...Стою на остановке. Семь утра. Автобуса нет. Холодно. Вокруг утренние похмельные рожи, недокрашенные сонные женщины и семечная шелуха. Через пять остановок работа. В Москве Чубайс. В Чечне Басаев. На ужин гречневая каша и последние хреновости по телеку. И невольно где-то там, внутри, шепчется: «Отстой!»





Письма Деду Морозу

1. От «новорусского» мальчонки

Слышь, дед! Помоги мне захотеть чего-нибудь. Посмотришь вокруг: блин, все вроде, есть, а вроде — еще чего-то хочется. А чего — не знаю. Во! Сделай так, чтобы сам президент Путин тобой нарядился, Хакамаду Снегуркой с собой взял и ко мне с мешком приехал. А в мешке... А в мешке... Знаю! Пусть из мешка мне танк настоящий достанет, но чтобы в танке этом был бар с лимонадами и всякими там сладстями, и кресло мягкое, и тапочки мои любимые. Я как в танк залезу, как на педали, в натуре, нажму, как рычагами задергаю — и по улице, и по улице! А всякие там «ниссаны», «мерсы» и прочие букашки на обочины шарахаются, а кто не успел — я их вот так! вот так! — под гусеницы! Здорово! А потом я как к школе подъеду, как пушку наведу прямо на учительскую, как заору в мегафон: «Эй, ты, Наташка-Николашка, а ну-ка ставь мне сейчас же одни пятерки — и по чтению, и по арифметике, и по всему остальному!» А она как заохает, как за ручку схватится и ну мне пятерки ставить. А когда все поставит, я на кнопочку нажму — ба-бах! Лети, Наташка-Николашка-вверхтормашка: ты мне уже не нужна: пятерочки-то поставила — вот и лети.

А еще, дед, ты такой закон напиши, чтобы мой папа всех пап папее был, чтобы всех самых самее. И чтобы со мной в танке ехал и палил во всех, в кого захочет.

А еще я такой мобильник хочу, чтобы по нему думать можно было. Разговаривать, в натуре, уже не клево — надоело. А так: подумал в него — и всем все ясно. Ну, чё, понял?

Давай, дед, действуй — за мной не заржавеет. А чуть что — за базар ответишь.

Колян

2. От полурусского малышка Деда Мороза!

Запрети русский язык, а то меня в школе «ишаком» и Бен-Ладе-



ном называют. И скажи, чтобы побольше плова в столовой давали. Свинину я есть уже научился, а почему надо писать «хорошо», а не «харашё» — не пойму. А еще в нашем городе местные пусть побольше водки пьют, чтобы их квартиры дешевле были, а то у меня всего одна комната — больше хочу, да. И еще хочу, чтобы девочка беленькая ко мне сама в гости приходила и подержаться за себя давала.

А еще — чтобы тебя не было, а было жарко и в рубашке ходить можно было. А еще лучше, Деда Мороза, возьми эти елки, снег и лед и забрось куда подальше, а сюда перенеси горы, море и виноград. Но местных с елками не уноси: кто же тогда у папы арахис и курагу покупать будет? Нет, пусть пока остаются, побольше работают и побольше покупают. Они хоть вредные, но полезные.

И последнее: деда, отрежь от моего носа половинку и приставь ее к Витьке Сидорову — пусть поносит, курносина. Очень тебя прошу. А за это я в твой мешок изюму и орехов насыплю так, бесплатно. Это бакшиш. Я тебя уважаю, да.

Иван Ибрагимов

3. От вечнорусского мальчика

Здравствуй, Дедушка Мороз!

Я много раз видел копченую колбасу и даже как-то нюхал ее. Принеси мне целый мешок такой колбасы, я тогда буду есть только ее и без хлеба. Есть, радоваться и тебя вспоминать. И еще, убери на один день последнюю цифру в ценниках, только на один день — я тогда мерзнуть не буду, мама мне ботиночки новые и шапку-ушанку купит, как раз еёных денег и хватит — мы с ней считали.

А еще прошу: возьми с собой отвертки и всякие там разные инструменты — отремонтируй нам телевизор, в нем лампы уже год как перегорели, а новых, говорят, таких уже лет двадцать не делают. Может, у тебя есть?

А также набей за меня морду Вовке Петрову, а еще лучше посади его в мешок и подари другой школе (но не говори, что от меня). Это для того, чтобы он при всем классе у меня ребра не щупал и «скелетиком» не обзывал.

И сделай так, чтобы все дети на всей земле, когда захотят, чупа-чупсы в палатках брали. По одному в день. Ну, по два... Ну, хоть раз в неделю... Ладно?

Ваня Облачко

4. От среднерусского пацана

Привет, дедушка!

Сделай так, чтобы после осенних каникул сразу же шли зимние, а за ними (не забудь — сразу!) — весенние, а потом летние. И чтобы Татьяна Ивановна разбила свои очки, сломала указку, громко заругалась матом при всем классе, плюнула и ушла навсегда пить чай с другими учителями (не забудь: на-все-гда!).

И чтобы папа достал из чулана лыжи, смазал их, подмигнул мне и сказал: «Айда, Вовка, в Городище! Прямо сейчас!» А потом, когда бы мы вернулись, играл бы со мной в шашки и пил только чай с мамой на кухне и весело смеялся. Сделай так, чтобы я мог, когда захочу, нырнуть в телевизор и брать там все, что душа пожелает, или гулять по Америке, джунглям, стоять рядом со слонем или президентом.

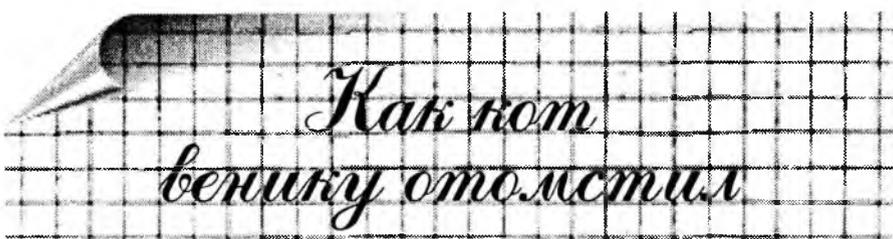
И — помоги: разлюби Светку и Петьку, посади его подальше, к дверям; а ее — рядом со мной, у окна. И пусть всегда так приятно пахнут ее волосы... Нюхал бы нюхал и ничего больше не надо.

А маминого начальника к нам домой больше не пускай, а еще лучше убери его с работы, а начальником сделай папу — он хороший, когда не пьяный.

И пусть Муська никогда не умирает и спит со мной «калачиком» ночью. И бабушка не умирает, а печет мне пироги и моет ботинки. И пусть всегда будет хорошо на душе: как мама с тортом, как я у папы на коленях, как последний звонок с урока.

Вовка из 5-А





Как кот веннику отомстил

1.

В доме жило два венника: один просто веник, другой же был «обидным» венником. Просто-веник мел пол, «обидным» гоняли Ваську за малые и великие прегрешения. Какие? Да что ни на есть самые безобидные и даже невинные. Кусок обоев когтями зацепишь — гоняют, котлету из миски вытащишь и посреди ковра ее разложишь, чтобы удобно и красиво покушать, — гоняют; чашку на пол сронишь — тут уж дай Бог лапы: летит веник и изо всех щелей достает, хоть из-под дивана, хоть из-под шкафа. Тогда и вовсе кранты: по заду, по бокам, по морде — только уворачивайся. А крику-то! «Мешала тебе чашка?! Зачем ты, котяра гадкий, собака ты этакая, на полку влез?!»

В общем, обидный веник был личным врагом Васьки. А личных врагов боятся и ненавидят, и еще ждут подходящего момента, чтобы отомстить. Вот и Васька ждал. Но так как веник после расправы отправлялся в туалет, где проживал и ждал приказа обрушиться на Ваську, то не было никакой возможности застать его беззащитным, не вооруженным бабушкой или мамой, — дверь в туалет всегда была закрыта, и сколько ни пробовал Васька поддеть ее когтем — ничего не получалось.

Но всем известно: как веревочка ни вьется... Однажды, когда все ушли на работу, свершилось! Васька заметил, что туалетная дверь пустила щелочку. Ага!.. Васька поддел щелочку лапой и — в полумраке перед его ликующим взором предстал он — обидный веник, беззащитный, неподвижный, пахнущий пылью и Васькиным позором.

Вытащить его из туалетной темноты было делом одной минуты. Пятясь задом, Васька выволок обидчика зубами и положил на пол перед собой. Веник лежал перед ним своей желтой тушей и не рыпался.

Не зная, с чего начать, Васька на пробу дерганул когтем за соломенную дужку, которая ойкнула и разлетелась. Первая удача открылила: Васька распушил рукоятку веника в мгновение ока. Он



драл, драл, драл податливую сухую тушу, пока не разметал обидчика по всему коридору, лишь в воздухе кружился соломенный дух, как будто душа веника, оставившая растерзанное тело.

Месть свершилась, но хотелось продолжения. Раз веника не было, можно было всё! С удовольствием отодрав от стены три длинные лоскута обоев, Васька погнал их по дому, смешивая с останками веника. Потом, шалея от безнаказанности, он совершил смелый рейд по бабушкиной комнате: разбросал иконки, свечи и какие-то стеклянные шарики на ниточке.

Когда блестящее и священное было вполне перемешано с соломенной трухой и клочками обоев, Васька вспомнил о кухне. О! Работы там было невпроворот. Фарфоровая чашечка, из которой мама пила кофе, стала первой жертвой: чуть качнувшись, она головой вниз грохнулась на пол и разлетелась мелкими брызгами. Хорошо! За ней пришел черед тяжелой хрустальной салатнице. Подвинуть ее лапой оказалось не так-то просто — она сопротивлялась и никак не хотела умирать. Но Васька наступил на ее край лапами — и салатница с тяжелым «кок!» распалась на три половинки.

Погуляв по верхним полочкам и уронив еще какую-то ерунду, Васька увидел на занавеске муху, которая суежилась вокруг солнечного зайчика. Охотничий инстинкт вмиг вскипел в Ваське, и через мгновение занавески вместе с карнизом ухнули вниз, накрыв собой полкухни, довершив картину погрома.

В кабинете дедушки пахло книжной пылью и строгостью. Побродив по письменному столу, аккуратно переступая через стопки бумаг, пепельницу, Васька и тут хотел было отомстить венику, но священный ужас, который жил в нем перед этой заповедной комнатой, сковал лапы, мешая им насытиться. Чувствуя, что вещи здесь сильнее его, Васька спрыгнул со стола и потрусил в детскую.

Но тут в замке шевельнулся ключ, и в Ваське проснулось нехорошее чувство, даже предчувствие, что он сделал что-то не так и... всякое бывает. Нырнув под шкаф и выставив из-под него один глаз для наблюдения и выводов, Васька решил выждать.

— Ох, мать моя! Да что же это такое?! — из коридора донесся голос бабушки, и Ваське сразу в нем что-то не понравилось — предчувствия поднялись к горлу.

— Ой, родненькие? Что ж тут было?!

Голос бабушки ходил из комнаты в комнату и удивлялся все больше и больше. Особого удивления он достиг в кухне.



— Ах, ты, гад! Ах, скотина! Где ты, а?..

Васька услышал свое имя и спрятался глубоко в угол.

— Кис-кис... Иди сюда... Кис-кис... — звал голос бабушки, но что-то не верилось в это «кис-кис» — голос дрожал и срывался.

— Ах, вот ты где! — и Васька увидел перед собой лицо бабушки и свою судьбу. — А ну-ка иди сюда!

Ваську выковыряли из угла, взяли за шкурку и понесли над полем битвы. Он висел мохнатой тушей, выставив хвост между лапами и не сопротивляясь.

Стряхнув кота на балкон и заперев за ним на щеколду дверь, бабушка, причитая, принялась за уборку.

2.

Суд состоялся вечером того же дня, когда вся семья была в сборе. Подсудимого на заседание приглашать не стали, определив ему место временной изоляции на балконе.

— Ну? — строго спросил дедушка, обедя взглядом, полным значительности, присяжных заседателей. — Что будем делать?

Заседатели с минуту молчали, борясь с противоречивыми чувствами. Запятая из известной формулы «казнить нельзя помиловать» бегала в них от слова к слову и никак не могла найти места.

— Сволочь, конечно... Мою любимую чашку... — наконец произнесла мама, покачав головой. — Но не выгонять же...

— А по мне так за ушко и на солнышко. Что теперь, все двери запирать, когда уходим, или на балконе его держать. Это не жизнь. — Бабушка явно брала на себя роль обвинителя.

— Не надо за ушко! — почти закричала Леночка. — Он случайно. Он больше не будет. Не надо...

Петя-семиклассник умно нахмурился:

— Еще Экзюпери говорил, что мы в ответе за тех, кого приручили.

— Вот пускай твой Экзюпери за ним и убирает, а мне это вот где сидит! — бабушка ребром ладони показала — где. Сидело на самом деле высоко.

— Да-а... — протянула мама, — теперь не отучишь, одно слово — животное, зверь.

— Ну и что, что животное? — чуть не ревела Леночка. — Я сама за ним убирать буду, не надо его... — Она запнулась, слова задохнулись в ней.



— Я думаю, что все дело в венике, — сказал дедушка. — Вы, мама, использовали именно тот, старый веник как орудие наказания. Второй-то не тронут. Если бы меня оставили один на один с моим мучителем и сказали бы: «Вот он, беззащитный, делай с ним, что захочешь, — я бы, пожалуй, не удержался и...

— А иконки зачем? А салатницу? А занавески? — не унималась бабушка.

— А это заодно — инерция мести. По-моему, Ваське надо дать шанс. Давайте попробуем не запирать двери ни в одну из комнат, и туалет оставим приоткрытым, чтобы он знал — нет угрозы. Тогда и мстить будет некому.

— Ур-ра! — захлопала в ладоши Леночка. — Давайте!

— Ну, я не знаю, — развела руками бабушка. — Ладно, но если еще раз...

3.

Васька бродил по комнатам. Полежал на диване, вспрыгнул на подоконник и долго разглядывал жизнь за окном: медленное движение прохожих, промельк машин, небо в клочьях весенних облаков. Было скучно, из жизни исчезло что-то злое, но приятное, которое делало существование интересным. Теперь можно было просто быть и ничему не противиться, и оттого скука скучная разливалась вокруг. Не было врага. Дверь в туалет приглашала широкой щелкой. Васька отковырнул ее «на полную» и вошел в темноту, еще пахнущую утренними людьми. Большой просто-веник стоял, прислонившись к стенке, и знать не знал Ваську. «Обидный» был растерзан, и его не хватало.

Васька вышел в коридор, хотел наскочить на стенку, чтобы сползти с нее, приятно ощущая на когтях податливые обои, но и этого не хотелось. Не хотелось бродить по полкам, катать по полу всякий вздор из бабушкиной комнаты, даже есть не хотелось. Из жизни исчез смысл.

Васька улегся посередине комнаты и закрыл глаза: спать! спать! — во сне случаются удивительные вещи — такие, что и просыпаться не стоит.





☺☺☺ ... Такой быстрый, что его не только хулиганы, но и милиция догнать не могут.

☺☺☺ А у меня такой ловкий, что третий год нигде не работает, а денег куры не клюют. Он мне говорит, что в карманах их выращивает. Дал бы хоть рублик на рассаду.

☺☺☺ А мой такой выдумщик, что мама о нем говорит: «Тебе бы не в семье жить, а книжки писать».

☺☺☺ А мой — тихий. Если бабушка спит, то он на цыпочках ходит и шепчет: «Хоть бы эта змея спала подольше».

☺☺☺ А мой — умный: у него очки и пять морщин на лбу, и он уже шестую выращивает.

☺☺☺ А у меня такой смелый: как посмотрит «новости», начинает руками размахивать и грозить: «Я бы всем этим на голову атомную бомбу сбросил» или «Раздепутатить их всех да к нам на завод чернорабочими!» И мне страшно за него становится: а если и вправду бомбу где-нибудь достанет или в Москву поедет.

☺☺☺ А мой — медленный: только мама на работу — он за спичками к соседке тете Вере. И сидит там целый час. Спички что ли пересчитывает?

☺☺☺ А мой — непредсказуемый: еще позавчера говорил: «Теперь точно — ни грамма», а сегодня опять пьяный.

☺☺☺ А мой наивный. Мама ему говорит: «Я к Тане посидеть пошла», а он газету читает и кивает: «Сходи, сходи, поболтай, поболтай...»

☺☺☺ А у меня принципиальный и грамотный. Когда мама просит: «Вынеси мусор», он головой качает и говорит: «Не пойду — и точка».

☺☺☺ А мой умеет глаза вытаскивать. Даже мама заметила: «Ты, я вижу, на Лариску глаз положил».

☺☺☺ А мой любит говорить: «Из г... конфетку сделаем». Когда он с полочки приносит мне конфеты, я беру, но не ем — мало ли что...

☺☺☺ А мой музыкальный: ночью то храпит, то пукает.

☺☺☺ А мой — блестящий: у него лысина как зеркало.

☺☺☺ А моего папу мама где-то выкопала. Вот так и бабушка говорит.

☺☺☺ А моего папу по телевизору показывали. Сначала спереди, потом сбоку.

☺☺☺ А у меня папа — самый-пресамый, самоее не бывает. Одно слово — самец!

☺☺☺ А мой папа самый высокий — он монтажником-высотником работает.

☺☺☺ А мой — пронырливый: когда мы с ним были на речке, он 50 метров под водой пронырнул.

☺☺☺ А мой воздушный. Так мама про него говорит: «Облако в штанах».

☺☺☺ А мой настойчивый — вон у него на кухне пять бутылей с настойкой булькают.

☺☺☺ А мой — Секонд Хенд: он во второй раз женат.

☺☺☺ А мой самый покладистый: когда приходит домой пьяным, где его положит, там и спит.

☺☺☺ А мой пронзительный. Он так маме и говорит: «Я тебя насквозь вижу!»

☺☺☺ А мой — писюн. Так мама про него и сказала: есть писатели, есть писаки, а ты — писюн. Он у меня стихи пишет.

☺☺☺ А мой двухместный: он даже в автобусе на одном сидении не помещается.

☺☺☺ А моего папу мама, наверное, выбирала в зоопарке: он весь мохнатый.

☺☺☺ А мой трудноуловимый и редковстречающийся: он на трех работах работает, я его почти не вижу.

☺☺☺ А мой — калека, да еще и с того света. Так про него бабушка говорит: «Черт безрукий».

☺☺☺ А мой — найденьш. Тетя Оля так и сказала маме на кухне: «И где ты его нашла?»

☺☺☺ А мой — несуществующий. Когда телефон звонит, он говорит мне: «Скажи, что меня нет».





☺☺☺ Моя мама — японка. Когда папа приходит с работы, он так и говорит: «Япона мать, где обед?»

☺☺☺ А моя зависливая. Она у подружки до ночи «зависает».

☺☺☺ А моя самая добрая. Даже папе говорит: «Теперь все можно».

☺☺☺ А моя пристальная. Как пристанет: ешь кашу! ешь кашу! — приходится всю тарелку съесть.

☺☺☺ А мою маму назначили в доме папой. Она у нас главная.

☺☺☺ А моя экспортная. Она все мечтает мне папу за границей найти по объявлениям.

☺☺☺ А моя самая бесполезная — от нее бесполезно что-нибудь прятать.

☺☺☺ А моя «скоробабушка» — у сестры Ленки во-он какой живот.

☺☺☺ А моя беспробудная, особенно по выходным.

☺☺☺ А моя — динамит. Смотрит на меня, смотрит, а потом как руки в боки поставит и страшным таким голосом: «А ну-ка садись сейчас же за уроки, а то я сейчас взорвусь!»

☺☺☺ А моя — коза. Сидит на кухне с тетей Верой и вздыхает: «И где это мой козел шляется?»

☺☺☺ А моя — королева. Папа так ей и сказал: «Ух ты, какая королева: новую шубу ей подавай!»

☺☺☺ Моя — душераздирающая. Когда они с папой ругаются, она так плачет и кричит, что у меня душа на части.

☺☺☺ А моя самая беспечная: ничего сама не печет, все из кулинарии таскает.

☺☺☺ А моя — историческая. Так папа и сказал: «Ну и влип я с тобой в историю».

☺☺☺ А моя — птичка божья. Ее так папа называет, когда с работы приходит, а есть нечего.

☺☺☺ А моя — труднопроходимая. Мы с ней вместе самые сложные задачки по арифметике решаем.

☺☺☺ А моя — яйцекладущая. Она на птицефабрике работает, весь холодильник яйцами забит.

☺☺☺ А моя «чреватая разводом».

☺☺☺ А моя — самая тяжелая. Так папа говорил: «Двадцать лет ее ташу — сил больше нет».

☺☺☺ А моя — домонаседка.

☺☺☺ А моя людоедка. Смотрит телевизор, вдруг увидит какого-то дяденьку да как застонет: «Ух-х, так бы и съела».

☺☺☺ А моя безбабушкая. Вот я и сижу один дома.

☺☺☺ А моя бесконечная. Выйдет из кухни, рухнет на кресло и говорит: «Господи, никогда это не кончится!»

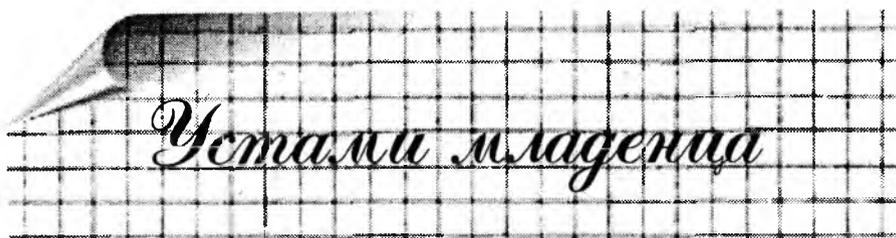
☺☺☺ А моя — двухсменная. Днем — в школе, вечером — уборщицей.

☺☺☺ А мою маму даже сам президент боится. Ей бабушка сказала, что она беспутина.

☺☺☺ Моя мама — мамазонка.

☺☺☺ У меня самая законная мама — она в суде работает.





☺☺☺ Я знаю, почему по-английски СЛИП — это «спать». Это потому что глаза СЛИПаются.

☺☺☺ — Мама, а ты папина любовница?

— Нет, я его жена.

— Жаль: «любовница» — звучит красивее.

☺☺☺ Вовочка: «Не хочу выносить мусор! Не хочу учить уроки! Не хочу мыть пол — я родился для себя, а не для вас.

☺☺☺ Витя за столом обиженно:

— Нет, пап, ты не глава семьи, ты — главарь!

☺☺☺ Папа, а половые органы названы так потому, что близко к полу?

☺☺☺ Вова рассуждает после урока по теме «Библия»: — В Самаре живут только хорошие люди, их так и называют — «самаритяне».

☺☺☺ — Мама, а что такое «на худой конец»?

— Спроси у папы — ему это ближе.

☺☺☺ Я сегодня сам с собою поспорил и целые два часа не разговаривал.

☺☺☺ Мама, а как размножаются юридические лица?

☺☺☺ Мы сегодня на уроке проходили развратно-поступательные движения.

☺☺☺ Я сегодня так подумала, что все вокруг покраснели.

☺☺☺ У меня бывает маленькое и большое вдохновение.

☺☺☺ Юра после урока физики: «Дожили — физические ВЕЛИЧИНЫ должен объяснять крупный мужик, а не худенькая Марь Палпа».

☺☺☺ Леночка жалуется маме: «Вовка как ударит меня по левой попе!».

☺☺☺ Он послал меня на три буквы на все четыре стороны.

☺☺☺ Юра, включая телевизор после московских событий с «Норд-Остом»: «Так-так, посмотрим, какие там у нас хреновости».

☺☺☺ — Саша, ты почему так рано из школы?

— У нас последний урок был распушенным.

☺☺☺ Бабушка читает Сашеньке сказку: «И девочка со всех ног побежала ...» Саша перебивает: «Со всех ног? — это полноприводная что ли?»

☺☺☺ Вова смотрит на пузо отца и качает головой: «Да, папы у нас очень много».

☺☺☺ Какой у нас зависливый компьютер!

☺☺☺ Витенька рассуждает после разбора драки с сестренкой: «Так, девочек по лицу бить нельзя, только по попе... А раз так, тогда сильно!»

☺☺☺ Саша смотрит мультфильм «Золушка» и делает выводы: «Здесь самый плохой не мачеха, а отец — почему он дочку не защищает? — и вздыхает: — Эх, и обмелчали мужики...»

☺☺☺ Леночка, посмотрев «Русалочку» Андерсена, вздыхает: «Да, любовь — это когда ты любишь того, кто не любит тебя».

☺☺☺ Шепот на уроке: — Вовка, что же ты не скажешь, что Анна Петровна за нами наблюдает и видит, как мы списываем?» Шепот в ответ: «Я тебе об этом уже пять минут молчу».

☺☺☺ А стервятник — это мужчина, который любит стерв?

☺☺☺ — А «бабушка» — это звание?

— Нет, внучок, — это работа...

☺☺☺ — А твоя мама кем работает?

— Женой моего папы.

☺☺☺ А у нас папа вместо полочки несет чушь.

☺☺☺ Мама: «Петенька, давай вместе с тобой от тебя кота спасем».

☺☺☺ Сегодня ночью я присню себе каникулы.

☺☺☺ Вова рисует человечков. Мама спрашивает:

— Это кто у тебя?

— Это — женский человечек, это — мужской.

☺☺☺ Бактерии размножаются очень быстро — как кролики.

☺☺☺ Дашенька: «Я вчера упала в обморок. Пришла в себя, а там... никого».

☺☺☺ Папа, а дерматолог, это врач по животу?

☺☺☺ А как кошки целуются, у них же рот в рот не влезает?

☺☺☺ — Стас, а почему у тебя на лбу шишка?

— Я об Колькин кулак ударился.

☺☺☺ Рембрандт — это дедушка Рембо?



☺☺☺ Я — искусственник, у мамы в моем детстве молоко убежало.

☺☺☺ Не люблю есть фигурки из шоколада — разве правильно Деду Морозу в Новый год голову откусывать?

☺☺☺ Учительница: — Ты себя больно-то умным не мни.

Вовочка: — А я и не мну.

☺☺☺ Мы сегодня поведем нашего кота к гастроэнтерологу.

☺☺☺ Электричество — оно желтого цвета.

☺☺☺ Папа меня сегодня обзывал увеличительно-ругательными суффиксами, а мама защищала уменьшительно-ласкательными.

☺☺☺ А что будет черной кошке, если я перейду ей дорогу?

☺☺☺ Таня рассматривает старый фотоальбом и качает головой:
— Странно, у бабушки, оказывается, было прошлое.

☺☺☺ Петька вспоминает лето:

☺☺☺ В дедушкином огороде летом хорошо росли черви.

☺☺☺ Валечка рассуждает: — Бабушки просто так жить не могут, они всегда живут для кого-нибудь. Они подвигини.

☺☺☺ Танечка: — Я не умею за... за... запугивать шубку. Мне ее перед прогулкой запугивает бабушка. А после прогулки — распугивает.

☺☺☺ Толя, готовясь к уроку истории, спрашивает у мамы: «Ты случайно не помнишь: крепостное право уже отменили или еще нет?»

☺☺☺ Коля рассуждает:

— Когда мы играем с Димкой — у нас димократия. А когда с Наташкой — наталитарный режим.

☺☺☺ Семилетний Вова гневается на бабушку:

— Я как сейчас встану на твою точку зрения и как начну по ней ногами, ногами!

☺☺☺ Юрочка обращается к маме:

— А сколько стоит наша квартира?

— Ну, тысяч шестьсот.

— А можно, я вам с папой продам свою часть?

— И где же ты после этого будешь жить?

— А мне бабушка по наследству свою часть оставит.

☺☺☺ Вовочка плачет:

— Папа, почему наша черепашка умерла, ведь ты говорил, что черепахи живут двести лет?

Папа успокаивает:

— Не плачь, понимаешь: это была... русская черепашка.

☺☺☺ Мне сегодня на уроке хотели поставить пятерку, но забыли вызвать к доске.

☺☺☺ Папа возвращается после командировки. Дочка Леночка подходит к нему и просит:

— Папочка, можно тебя погладить по головке?

Папа умиленно:

— Ну погладь.

Леночка гладит и удивленно качает головой:

— Странно — не растут... Странно...

☺☺☺ А я ему как дам по морде между ног!

☺☺☺ Жоналунгма — это такая большая... гора.

☺☺☺ Зимой — вечернее утро. А летом — утренний вечер.

☺☺☺ Мама, а как это любить по-настоящему: больше целовать или больше покупать?

☺☺☺ Мама, а джин-тоник — это волшебник-пьяница?

☺☺☺ Танечка спрашивает:

— Мама, а коза с семерыми козлятами получала элементы со своего козла?

— Нет, доченька, сама их тянула.

Танечка зло:

— Вот козел!

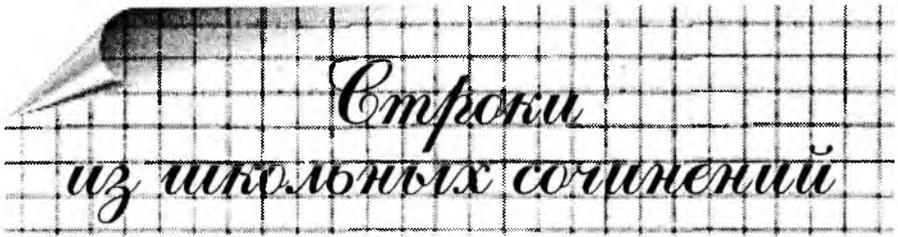
☺☺☺ Маша после школы играет с куклой: «Не вертись за партой! Сиди прямо! Давай дневник! Ну ты и глупая! Вытащи изо рта жвачку! Марш в угол!» Ставит куклу в один угол, а мишку — в другой: «Как вы мне все надоели!»

☺☺☺ Мама, а почему наш котик перестал мяукать, носиться по комнатам и стал таким тихим и добрым?

— Мы его кастрировали.

— Да?.. Слушай, а давай и папу тоже, он тогда и кричать не будет, и... успокоится.





Строчки из школьных сочинений

☺☺☺ Царевна-лягушка держала стрелу обеими руками, чтобы не упустить Ивана-царевича.

☺☺☺ Положительные герои имеют право разрушать и убивать. Они делают эти безобразия для того, чтобы всем было хорошо.

☺☺☺ Первого сентября, в День Знаний, немцы начали Вторую мировую войну, преподав хороший урок Европе.

☺☺☺ Затмение солнца стало на пути войска Игоря и говорит: «Мужики, дальше не ходите — убьют!».

☺☺☺ В поэме «Руслан и Людмила» у Черномора длинная только борода, а все остальное маленькое.

☺☺☺ В 19 веке русские женщины периодически входили в горящие избы и ловили на скаку лошадей.

☺☺☺ Мать в романе Горького бегала по вокзалам и бросалась листовками.

☺☺☺ При дубе был цепной кот, направо и налево говорящий стихами.

☺☺☺ Устное народное творчество пришло к Пушкину вместе с няней и начало учить его писать сказки.

☺☺☺ В Гражданскую войну победили красные, но через 75 лет пришел Б. Н. Ельцин и, встав на танк, прогнал их, сказав, что они поступили нехорошо.

☺☺☺ Окружающая Онегина среда была точно такой же, как и в четверг, и в пятницу.

☺☺☺ Онегин — настоящий советский человек.

☺☺☺ Гамлет — сын покойника — был нелюдимым человеком.

☺☺☺ Лермонтов родился у бабушки, когда его родители жили в Петербурге.

☺☺☺ Элен наставила Пьеру Безухову рога, а князь Курагин сделал из него дойную корову.

☺☺☺ Из своего дома Петя Ростов вынес много хорошего.

☺☺☺ Петр I взял топор и прорубил окно в Европу, а оттуда полезли немцы, французы, голландцы.



☺☺☺ Пьер и Андрей встретились на 265 странице.

☺☺☺ Если бы Софья переспала с Чацким, он бы не умничал и ни с кем не ссорился.

☺☺☺ Как отличить стихотворение от поэмы? Стихотворение читаешь до конца, на поэму не хватает сил.

☺☺☺ Магеллан совершил три кругосветных путешествия, во время одного из них он умер. Во время какого — не помню.

☺☺☺ Немецкие псы-рыцари поскользнулись на льду Чудского озера и не сумели завоевать Советский Союз.

☺☺☺ Человек — продукт скоропортящийся.

☺☺☺ Моя бабушка рассыпчатая и хрустящая.

☺☺☺ В стихотворении Пушкина «Я вас любил» поэт хочет, чтобы его бывшую любовницу любили так же хорошо, как и он.

☺☺☺ Вот где собака зарыта — показывает нам Булгаков в своей повести.

☺☺☺ Аннушка пролила масло, и голова отскочила от Берлиоза.

☺☺☺ Чехов писал короткие рассказы и умер в 44 года, а Толстой — большие романы и умер в 82 года. К чему бы это?

☺☺☺ Русское самодержавие «заказало» Лермонтова Мартынову.

☺☺☺ В историю России проще влипнуть, чем войти.

☺☺☺ Чтобы Анна Каренина не мучилась, Толстой положил ее под паровоз.

☺☺☺ Пушкин и его няня распивали спиртные напитки из кружек и вместе писали стихи о юности.

☺☺☺ Белые груди берез выпирают из пространства есенинского стиха.

☺☺☺ Совершив преступление против человечества, Гитлер навсегда вошел в его историю.

☺☺☺ Американцы вооружаются против нас самолетами, потому что знают: по нашей земле им не пройти.

☺☺☺ Гоголь писал «Мертвые души» в Италии. Оно и понятно — издали виднее.

☺☺☺ Германн щелкнул курком, и старуха раскололась.

☺☺☺ Белоснежка жила с семьей гномами за их счет.

☺☺☺ Трудно найти в нашей литературе что-то острее гоголевского «Носа».

☺☺☺ В поэме «Русские женщины» Некрасов показывает баб дворянского происхождения.



☺☺☺ Пугачев сначала повесил Гринева, а потом отпустил.

☺☺☺ Иван-царевич так упрашивал бабу-ягу, что ей трудно было отказать.

☺☺☺ Чичиков покупал мертвые души и складывал их в свою бричку.

☺☺☺ Катерина была честной женщиной, поэтому и призналась в измене мужу.

☺☺☺ Цветы размножаются пчелами и бабочками.

☺☺☺ Березка — символ русской девушки, дуб — русского парня.

☺☺☺ В поэме «Двенадцать» большевики идут за Иисусом Христом, постреливая по сторонам.

☺☺☺ Князь Игорь сказал своим воинам: «Лучше быть убитым, чем плененным», и попал в плен. Даже в те времена начальство умело обманывать народ.

☺☺☺ В плаче Ярославны мы слышим вой ветра и плеск Днепра.

☺☺☺ В биографии Пушкина было много непечатного.

☺☺☺ Волга выпадает из России и впадает в Каспийское море.

☺☺☺ С оторванными руками капитан продолжал вести бой, вгоня в пушку снаряд за снарядом.

☺☺☺ Гвардейцы подняли Елизавету на штыки и посадили на трон.

☺☺☺ Обвязав себя гранатами, он схватил саперную лопатку и кинулся на танки, которые не выдержали и побежали.

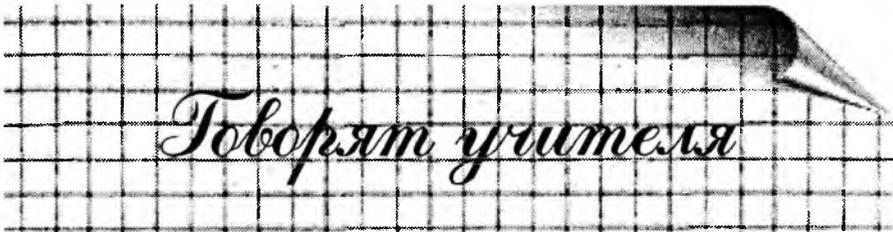
☺☺☺ Образ Пьера Безухова был женат на образе Элен.

☺☺☺ Он шел, боря жажду и диких зверей.

☺☺☺ Рыцари были по-настоящему благородными мужчинами: они спасали женщин и ничего потом с ними не делали.

☺☺☺ Колумб открыл Америку по ошибке.





Говорят учителя

☺☺☺ А теперь все хором заткнемся!

☺☺☺ Все остальные предметы — потом, а без географии вы не будете знать, куда в случае чего бежать отсюда.

☺☺☺ Мы все подвергаемся защите государства.

☺☺☺ Еще одно слово, Петров, и я выйду из себя и пойду к директору.

☺☺☺ Александр Сергеевич Пушкин вошел к нам в душу еще в детском садике и до сих пор там остался.

☺☺☺ Учтите: математика — царица наук, а я — учитель математики...

☺☺☺ Загинашвили, за такую домашнюю работу я объявляю тебе кровную месть.

☺☺☺ Реабилитация, Сидорова, это когда государство расстреляло тебя по ошибке, а потом извинилось.

☺☺☺ Строительство Петербурга доказало, что лучший строительный материал — кости.

☺☺☺ Разгром под Полтавой навсегда отбил у шведов охоту воевать, они стали мирными и с той поры живут сыто и спокойно. А мы под Полтавой победили, нам это понравилось, и с той поры у нас ничего не клеится, кроме танков и ракет.

☺☺☺ Борисова, когда я проверяю твои тетради, то начинаю понимать Раскольникову.

☺☺☺ Коля Петров, не приставай к Тане Кониной, — у нее пока ничего нет.

☺☺☺ Нет-нет, Витя, ты принеси мне не свой синяк, а справку от врача.

☺☺☺ Смотрю на тебя, Деточкин, и все больше верю в то, что человек произошел от обезьяны.

☺☺☺ Иванова! Не гинекологическое, а генеалогическое древо. Ты все о своем.

☺☺☺ Если будете мешать друг другу, я пересажую вас всех.



☺☺☺ Нет, Юра, источник питания — это не родители, а аккумулятор.

☺☺☺ А сегодня мы повесим наших отличников на доске почета.

☺☺☺ Наши мальчики становятся все тяжелее и тяжелее, зато девочки все легче и легче.

☺☺☺ Петя, ты уже запутался в своих соплях.

☺☺☺ — Петров, ты напоминаешь мне князя Мышкина.

— Чем, Татьяна Петровна?

— Названием романа.



Содержание

Ницшенка	6
Колечко	51
Гном (по материалам уголовного дела)	62
Невольник чести	78
Не королева	111
Ябеда	132
Вася (лирический детектив)	140
Поросёнок	159
Не ветер бушует над бором	165
Червяк	172
Золушка	176
Обыкновенное чудо	179
Герой	183
Письмо из лагеря	187
Голая тётка	190
Депутат	193
Политинформация	197
Как Вовка справедливым был	200
Пятница, тринадцатое	204
Террорист	207
Один	209
Женька	211
Очки	215
Как Вовка своё мнение имел	219
Паучок	223
Памятник	225
Интеллигент	230
Отстой!	233
Письма Деду Морозу	235
Как кот венику отомстил	238
А у меня папа... ..	242
А у меня мама... ..	244
Устами младенца	246
Строки из школьных сочинений	250
Говорят учителя	253

Александр Михайлович Сидоренко
НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ
Рассказы

Компьютерная верстка – Я.А. Гагушичевой

Сдано в набор 10.03.2005 г. Подписано к печати 20.05.2005 г.
Зак. 453. Тир. 999. Уч.-изд. л. 8,5. Усл. п. л. 16.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнитура Петербург. Печать офсетная.

ООО «Полиграфист»
160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.
Тел.: (8172) 72-55-31, 72-61-75, факс (8172) 72-60-72.
E-mail: form.pfp@votel.ru
[http: // www.vologda/~pfpv](http://www.vologda/~pfpv)